

ALZAC

ALZAC

ALZAC



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ФРАНЦИЯ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ОНОРЭ ДЕ БАЛЬЗАКА

HONORÉ DE BALZAC

1799 — 1850



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОНОРЭ ДЕ БАЛЬЗАК

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА



ПЕРЕВОД Б. ГРИФЦОВА
ПОД РЕДАКЦИЕЙ И
С ПРЕДИСЛОВИЕМ
= М. ШАГИНЯН =



ПЕТЕРБУРГ — М С М Х Х І І І — МОСКВА

121-42

Государственный Трест
„ПЕТРОПЕЧАТЬ“
Типография имени Ивана Федорова
Звенигородская 11.

*Господину Савари,
члену Академии Наук*

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

LA PEAU DE CHAGRIN

1831

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Шагреновая Кожа» должна была формулировать текущий век, нашу жизнь, наш эгоизм; воспроизведения наших типов не были признаны; но я черпаю утешение, сударыня, в искренних одобрениях критики, подобной вашей, — дружелюбно и чистосердечно сделанных», — так писал Бальзак 5-го октября 1831 года герцогине де-Кастри, имени которой он, впрочем, еще не знал, в ответ на ее анонимное письмо. Эти несколько напыщенные строки не являются одним только непосредственным авторским суждением; Бальзак повторяет здесь мнение той самой «утешительной критики», на которую он ссылается; это мнение было предпослано второму изданию романа в предисловии Филарета Шаля; это же мнение было высказано критиком Бернаром на страницах провинциальной газеты (*Gazette de Franche-Comté*, 13 août 1831). С течением времени оно становится даже классическим. И это справедливо.

«Шагреновая Кожа» Бальзака по отношению ко всему плану его «Человеческой Комедии» — как бы микрокосм, целиком предваряющий собою макрокосм. Ее легко можно разбить на рубрики, и каждую рубрику подвести под ту или иную часть оглавления «Человеческой Комедии»; и это — при очень ясной, гегелиански логической и детски простой фабуле, которая ставит и разрешает себя без уклонений в побочные повествования. Ни один из романов Бальзака не может похвалиться столь широким диапазоном Париж общественный, политический и литературный; сцены из частной жизни; из жизни салонной; из жизни академической; город, курорт и деревня; наука, искусство и мистика; мансарда поэта, лаборатория ученого, дворец банкира, избушка пастуха, игорный дом, лавка старьевщика, — все это вовлечено в рассказ. В этом смысле «Шагреновая Кожа» воистину «формулирует текущий век».

Но не одна только широта замысла продиктовала критике подобное определение. Нужно знать Париж 29-го и 30-го годов девятнадцатого столетия, чтоб оценить всю дерзкую современность «Шагреновой Кожи», современность, похожую на литературный скандал. Достаточно напомнить хотя бы следующее: еще до выхода романа, в мае 1830 года, журнал *Revue des Deux Mondes* помещает небольшой его отрывок под заглавием «Кутёж». В этом отрывке дается знаменитая сцена оргии у банкира Тайфера,

при чём опьяневшая молодежь, свободно и насмешливо говорящая о корифеях своего времени, называет имена действительные, а не вымышленные; между ними, среди политических намеков, произносится и имя Виктора Гюго (позже замененное именем Каналиса). Отрывок этот сопровождался авторским примечанием: „Вынужденный сделать свою книгу как можно более современной, автор заставляет присутствующих на банкете говорить со всею свободою, какую предполагают вино и добрая компания; но он надеется, что его мнение о людях, чьи произведения он искренно уважает, не будет заподозрено“.

Не остановившись перед вовлечением живых современников в круг своего романа, Бальзак, разумеется, еще откровенней черпал из той сокровищницы фактов, которая именуется „злобою дня“. Косвенное указание на что-нибудь немцы называют игривым словом *Anspielung*; подобной *Anspielung* не признает Бальзак, — он прямо указывает на явление пальцем, со всем простодушием своего гения. Если вы внимательно просмотрите французские газеты за оба вышеупомянутые года (1829 — 30), вам станет осязаемо-ясным тематический материал „Шагреновой Кожи“, материал, даже не затушеванный автором, без упрятывания „концов в воду“.

Век, который Бальзаку пришлось „формулировать“, был веком лавочки. Все, что только можно было вынести на продажу, выносилось на продажу, — начиная с воспоминаний прошлого и кончая голосом будущего (депутатским голосом в парламенте). Две страсти поглощали общество: мемуары и коллекционерство. Чуть ли не в каждом газетном номере вы можете встретить объявление о вышедших из печати мемуарах; нет эпизода революции или реставрации, нет, кажется, ни единого исторического человека или человека, которые не пригодились бы для составления мемуаров. Вспоминать стало так выгодно, что некоторые начали вспоминать то, чего никогда даже не переживали. Обилие спроса вызывает подделку. Появились поддельные мемуары.

Герой „Шагреновой Кожи“, оставшись без гроша, встречается в ресторане с вылощенным молодым человеком, который известен тем, что скупает чужие труды и печатает их под своей фамилией. На вопрос, как идут его дела, он отвечает: „Ни хорошо, ни плохо... Я завален работой. У меня в руках все нужные материалы, чтобы составить очень любопытные исторические мемуары, а я не знаю, кому их приписать. Это раздражает меня; надо торопиться, а то еще мемуары выйдут из моды“. Рафаэль (герой романа) берется написать их для него, от имени своей покойной тётки, по сто экю за том.

Этот маленький эпизод отнюдь не сочинен Бальзаком. В начале 1830-го года на только-что вышедшие мемуары Бриссо, изданные его сыном, посыпались обвинения в подделке. Сын покойного принужден был поместить в „*Journal des Débats*“ длинное оправдательное письмо, в котором он ссылается на такие-то авторитеты, французские и английские, „своими глазами“ видевшие рукопись его отца. В конце письма он патетически настаивает на подлинности этого литературного наследства, „единственного, которое ему

было оставлено". Подделал или нет Анахарсис Бриссо мемуары своего отца, — для нас достаточно характерен уже самый факт обвинения. Оно, разумеется, не было исключительным событием; о подделках говорилось и печаталось не однажды. Бальзак, создавая свою сценку, беспощадно и точно „формулирует век“.

Второй господствующей страстью этой продажной эпохи было коллекционерство. Прочтите описание комнат Федоры, где коллекционируются даже стили, где готический будуар входит в комнату стиля *moderne*, а эта последняя переходит к *empire*, к неподдельному великолепию Людовика XIV-го. Прочтите чудесные пропилеи к роману, длинные сени, сквозь которые вы вступаете в его действие, — описание обширной лавки старого антиквария. Здесь Бальзак опять „формулирует век“.

Речи ученых — физиолога, механика и химика — почти сплошь взяты из академических сенсаций того времени; они должны были задеть читателя за живое, сообщить ему тот особый интеллектуальный интерес, который умеет возбудить в публике лишь очередная научная проблема, ставшая общедоступной благодаря своему изложению. Еще живее и злободневнее выступают фигуры трех врачей, созданных на консультацию к больному Рафаэлю. Здесь опять „формула“: встреча трех направлений, — строго материалистического, объясняющего душевную жизнь при помощи телесной (школа Кабаниса); виталистического, действующего в обратном порядке (школа Ван-Хельмонта), и эклектизма, умеющего сочетать то и другое. Все они в точности воспроизводят медицинские теории эпохи Бальзака. Органицист Кабанис, чье сочинение о взаимоотношении физического и душевного начала было издано в эпоху написания „Шагреневой Кожы“, был особенно близок Бальзаку, и нет никакого сомнения в том, что романист многим обязан ему в обретении своего „физиологического метода“.

Отразив науку с равномерной объективностью, Бальзак отражает и суеверие своего времени. „Шагреневая Кожа“, это — талисман Соломона, до конца остающийся необъяснимым. Он внесен в роман, как в сказку, — со всем своим наивным волшебством и без всяких попыток истолковать его в духе „причины и следствия“. Талисман не покоряется ничему; Рафаэль хочет его уничтожить или растянуть, но гидравлический пресс ломается, не растянув кожи; огонь доменной печи не приносит ей никакого вреда, а самые едкие кислоты остаются перед ней бессильными.

Когда критик Бернар в своей статье о романе объяснил этот фантастический элемент влиянием Гофмана (тогда уже переведенного на французский язык и входившего в моду), Бальзак очень взволновался. Он пишет Бернару письмо, где снимает с себя это подозрение: „Я, право же, не был вдохновлен Гофманом, с которым познакомился, когда уже обдумал свою работу...“. Но в замечании Бернара он усматривает нечто „еще более важное“ — недостаток патриотизма, недостаток национального чувства, подрывание превосходства французской литературы в этом способе обвинять писателей в подражании иностранцам. Несмотря на эту отповедь, читатель и критик неминуемо вспоминают о Гофмане, когда вступают вместе

с Рафаэлем в лавку антиквария. Но Бальзак прав; сходство с Гофманом остается случайным и внешним; вся эпоха была насыщена тою выдуманной искусственной жутью, той властью вещей над людьми, той недоброй антикварностью, которая нашла своего поэта в Гофмане, но несомненно нравилась и Вальтер-Скотту, заразила Бальзака, заразила даже Диккенса („Лавка древностей“), выродилась у Теофиля Готье и его школы в религию вещи. Современное Бальзаку общество жило суевериями. Исторические катастрофы сдвинули с места и пустили в обращение множество предметов, которые, утратив прежнее свое место и хозяина, приобрели цыганский оттенок безнравственного и необычайного; в их бродяжничестве был уже элемент таинственности.

„Талисман Соломона“ ничем не лучше „Кольца Пророка“, в которое, однако, уверовал сам автор с комизмом, доказывающим все фантастическое вещелюбие и вещеверие его века. Я не могу удержаться от желания привести здесь весь этот эпизод с кольцом Пророка, как его рассказал друг Бальзака, Леон Гозлан, в своей книжке „Balzac en Pantoufles“ („Бальзак в туфлях“). Это произошло спустя семь лет по выходе „Шагреневой Кожи“. В одну из зимних ночей Бальзак прибегает к своему другу, Лоран-Жану, на улицу Наваррэн; было около двух часов, весь дом спал. Бальзак начинает неистово стучать, будит всех жильцов, будит швейцара и, сопровождаемый всеобщими проклятиями, добирается наконец до комнаты своего друга. Лоран-Жан мирно поживает. Бальзак стаскивает его с кровати, крича: „Вставай, одевайся, едем!“ Лоран-Жан протирает глаза, узнает Бальзака и, разобрав в чем дело, спрашивает, куда же это нужно ехать в два часа ночи. „Радуйся, мы едем в Монголию“, кричит Бальзак. „Зачем?“ — „Не теряй времени, ты с каждой секундой утрачиваешь миллионы!..“ Наконец Лоран-Жану удается узнать от Бальзака, что они едут в Монголию за ожидающими их бесчисленными миллионами. Он скрепя сердце одевается, но просит у Бальзака более подробных объяснений.

„Бальзак взял Лоран-Жана за руку и таинственно подвел его к лампе. „Взгляни на это кольцо“. — „Вижу, оно стоит четыре су“. — „Молчи! взглядишь в него внимательней“. — „Ну, пусть будет шесть су, — и кончено дело“. — „Знай“, продолжает Бальзак, „что это кольцо мне было подарено в Вене знаменитым историком Гаммером, во время моего последнего путешествия по Германии“. — „Что же дальше?“ — „Далее — Гаммер улыбнулся и сказал мне: придет время, когда вы узнаете всю важность подарка, который я вам сейчас делаю... Я носил это кольцо, не думая над его словами...“ — „Ну, и что же?“

Тут Бальзак пространно рассказывает своему другу, что вчера он присутствовал на балу у неаполитанского посланника, где был и турецкий посланник, которого ему вздумалось расспросить о тех арабских письменах, что были инкрустированы на его кольцо. Турок рассмотрел кольцо, глубоко поклонился Бальзаку и заявил, что это кольцо Пророка, украденное у Великого Могола англичанами и проданное в Германию; Великий Могол предлагал тому, кто возвратит его, целые бочки с брильянтами и золотом. „Едем, бочки нас поджидают!“ — закончил Бальзак.

Выслушав все это, Лоран-Жан снова разделся и лег спать. Бедный Бальзак осыпал его неистовыми криками и проклятиями, но кончил тем, что, утомившись, лег на ковре у кровати своего друга и заснул.

Вот какие предметы и связанные с ними легенды ходили тогда по Парижу. Бальзак, до конца своих дней оставшийся ребёнком, стихийно передает здесь умостояние своего века, чьей „формулировкой“ должна была служить „Шагреновая Кожа“.

Разбираясь в сырых материалах этого замечательного романа, мы не можем не обратить внимание еще на одну его особенность, дорогую уже не критику, но биографу. „Шагреновая Кожа“, во всей ее юношеской гениальности, содержит, подобно гётевскому „Вертеру“, богатый автобиографический вклад. Бальзак вложил в нее немало от себя самого, своей жизни, своих духовных брожений, своих житейских бедствий. На мой взгляд, автобиографичность „Шагреновой Кожки“ превышает даже таковую „Луи Ламберта“; правда, она не столь внешне доказуема, но зато внутренне живее и непосредственнее. Мы имеем драгоценное свидетельство в словах его сестры, Лоры Сюрвиль: „Он уверял меня, что в те времена им много раз овладевали головокружения и искушения, подобные тем, каким он наделил героя... „Шагреновой Кожки“. Головокружения — от голода и подавленных желаний; искушения — самоубийства. Измученный долгами, заточенный в мансарде, Бальзак походил на своего Рафаэля горячечной лихорадкой работы; он так же высчитывал каждый су на топливо и молоко; он так же тратил больше денег на масло, горевшее в лампе, чем на то, которое шло в пищу; так же, как Рафаэль, глядел из окна своей вышки, изучая поэзию крыш, несравненно переданную им в романе. Даже работа, которую в течение трех лет писал Рафаэль, имеет автобиографическое значение. Это — „Трактат о воле“, тот самый, о котором идет речь и в „Луи Ламберте“. Замечательно, что мальчиком Бальзак во время своего пребывания в коллеже написал именно „Трактат о воле“, который был сожжен разгневанным учителем, получившим его вместо заданного урока. „Брат мой всегда сожалел об этом сочинении, как о памятнике своей тогдашней разумности“, говорит в воспоминаниях о нем сестра Бальзака.

Проблема воли влекла его к себе с детских лет. Задачей воли сделалось все его существование, с непрерывною работой, с нечеловеческими трудами, которыми, по надгробному слову Гюго, „жизнь Бальзака была насыщена более, нежели днями“. И „Шагреновая Кожа“, самый расточительный из его романов по затраченному на него таланту, остроумию и блеску, — во главу угла ставит также вопрос о воле.

Тема романа диалектически разлагается на тезис жизни и антитезис воли; отношение между ними обратно-пропорционально: чем больше волеаний, тем короче жизнь, чем меньше волеаний, тем длиннее жизнь. Эта мысль, кажущаяся такой простой и обычной, представляет собою, в сущности, одну из глубочайших литературных тем; подобное же соотношение может быть вскрыто и в „Фаусте“, с которым у „Шагреновой Кожки“ вообще много внешнего сходства. Разуверившийся в науке ученый и молодой

келейник, измученный наукой и голодом, — оба хотят могущества и оба покупают его ценою договора с дьяволом. Но дальнейшее течение их судьбы разработано изумительно несхоже. Фауст жаждет не самой жизни, но того, что придает ей смысл и цену; он не перестает желать и стремиться, при чем этим он побеждает дьявола и приводит Гёте к классической формуле оправдания человечества (Wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen). Но Рафаэль — только „воспроизведение наших типов“, „формулировка нашей жизни“, „нашего эгоизма“. Обернемся назад, на первую половину прошлого века.

Только-что отзвучали громы наполеоновских войн, перестала пугать Революция, героическое, самозабвенное, жестокое и чудесное умерли. Лицемерная смена правительств и министерств, страшное обогащение и развращение города, приход новой аристократии, которая больше всего боялась не походить на старую, купленные предки, умышленная терпимость к темному и часто даже кровавому прошлому, падение всех нравственных критериев за счет „критерия видимости“, снисхождение к пороку и неизбежное презрение к человечеству, — вот что принесла с собой Реставрация. Физическая жизнь менее всего ценится тогда, когда она бывает полна нравственного смысла. Разуверившись во всем, кроме денег и наслаждения, люди вспоминали об эпохе самопожертвования и героизма, как о школьных дурачествах; им оставалась только жизнь, и они стали ценить ее больше всего на свете; та самая жизнь, которую, как пустой чулок, приходилось набивать денежными бумажками и чувственными сладостями. Трагедия Рафаэля и превращается в это упорное сохранение пустого чулка, который уже ничем нельзя набивать из опасения, что он порвется. Лучшего символа эпохи, лучшей „формулировки века“ нельзя и придумать.

М. Шагинян

20/VI — 1921

Петербург



ТАЛИСМАН

В конце октября некий молодой человек вошел в Палэ-Рояль, в час, когда открываются игорные дома, в согласии с законом, покровительствующим страсти, по самому существу своему подлежащей обложению. Не колеблясь слишком, он поднялся по лестнице притона, обозначенного номером 36.

— Шляпу позвольте, сударь, — крикнул ему голосом сухим и ворчливым бледный старичок, который сидел, согнувшись в тени, за решеткой, и затем внезапно поднявшись, показал свое лицо, отлитое по неказистому образцу.

Когда вы входите в игорный дом, действие закона начинается с того, что вас лишают вашей шляпы. Что это? Притча евангельская и провиденциальная? Или скорее способ заключить с вами адский договор, потребовав с вас некий залог? Или это делается для того, чтобы принудить вас почтительно держаться с теми, кто обыграет вас? Или то полиция, которая прокрадывается во все сточные ямы общества и хочет знать имя вашего шляпника или ваше собственное, если вы начертали его за подкладкой? Или это для того, чтобы снять мерку с вашего черепа — на предмет составления поучительных статистических таблиц объема мозга у игроков? На этот счет администрация хранит полное молчание. Но знайте: едва вы приблизились на шаг к зеленому полю, ваша шляпа принадлежит вам не больше, чем вы сами принадлежите себе, вы отданы игре, — вы, ваше состояние, ваша шляпа, ваша трость и ваш плащ. При выходе, жестокой действенной эпиграммой игра докажет вам, возвращая вам ваши вещи, что кое-что она вам все-таки оставляет. Однако, если у вас новый головной убор, за ваш собственный счет узнаете вы, что игроку нужно завести себе особый костюм.

Недоумение, проявленное когда молодой человек в обмен на шляпу (поля которой, по счастью, слегка были

потерты) получил номерок, он изумился, и это достаточно ясно показывало, что душа его невинна; так что старичок, без сомнения, еще с юных лет косневший среди кипучих наслаждений жизни игрока, бросил на него взгляд тусклый и холодный, в котором философ прочел бы беды госпиталя, бродяжничество разорившихся людей, протоколы о целой толпе удавившихся, бессрочные каторжные работы, ссылку в Гуазакоальхо. Старик, с продолговатым белым лицом, питавшийся, очевидно, только клейкими супами Дарсэ, являл собою бледный образ страсти, доведенной до своего простейшего выражения. Следы застарелых мучений были в его морщинах, свой скудный заработок он проигрывал, должно быть, в день получки. Ничто не могло заставить его вздрогнуть; он подобен был клячам, на которых уже не действуют удары бича. Вполне бесчувствен был он к глухим стонам игроков, которые выходили уже разоренные; бесчувствен он был к их немым проклятиям, к их тупым взглядам. Это была воплощенная Игра. Если бы молодой человек пригляделся к этому жалкому церберу, он, быть может, сказал бы себе: „Ничего, кроме колоды карт, нет в этом сердце!“ Незнакомец не внял этому живому совету, помещенному здесь, конечно, самим провидением, которое ставит отвращение у ворот всех гнусных мест. Он решительно вошел в залу, где звон золота простирает ослепительное очарование на чувства, исполненные алчности. Вероятно, этого молодого человека толкала сюда логичнейшая из всех красноречивых фраз Жан-Жака Руссо, печальный смысл которой, думаю, таков: „Да, я допускаю, чтобы человек стал играть, но лишь тогда, когда между собою и смертью он видит лишь свое последнее эю“.

По вечерам поэзия игорных домов грубовата, но ей обеспечен успех так же, как кровавой драме. Залы полны зрителями, игроками, стариками, из-за бедности притащившимися сюда погреться, взволнованными лицами, оргиями, начавшимися с вина, готовыми окончиться в Сене. Страсти здесь налицо в изобилии, но все же слишком большая численность актеров мешает вам созерцать демона игры лицом к лицу. По вечерам это настоящий ансамбль, в котором голосит вся труппа и каждый инструмент оркестра выводит свою фразу. Вы увидите здесь множество почтенных людей, пришедших сюда в поисках за развлечениями, оплачиваемыми ими, как они платили бы за удовольствие от спектакля или от лакомства или как взобрались бы в мансарду купить себе по дешевой цене жгучих сожалений на трехмесячный срок. Но понимаете ли вы, какой бред, какое мужество

должны владеть душою человека, нетерпеливо ожидающего открытия притона? Между игроком утренним и вечерним такая же разница, как между беспечным супругом и любовником, замирающим под окном своей красавицы. Только утром появляется трепетная страсть и нужда с ее непокрытым ужасом. В это время вы сможете полюбоваться на настоящего игрока, игрока, который не ел, не спал, не жил, не думал, — так жестоко иссечен он бичом своих постоянно удваиваемых ставок, так он исстрадался, замученный подобным зуду ожиданием, когда выпадет *trente-et-quarante*. В этот проклятый час вы встретите глаза, спокойствие которых ужасает, лица, которые вас обвораживают, взгляды, которые приподнимают карты и пожирают их. Да, люди, готовые пустить себе пулю в лоб после того, как в последний раз придут сюда попытать счастья, — торгуют своими страданиями до обеда. После восьми часов здесь происходят лишь единичные вспышки, обязанные случайностям карточной игры: красное или черное, например, выпадут десять раз под ряд. Итак, игорные дома прекрасны только при начале игры. Если в Испании есть бои быков, если в Риме были гладиаторы, — Париж гордится своим Палэ-Роялем, в котором возбуждающая рулетка дает насладиться зрелищем крови, текущей потоками и не грозящей замочить ноги тех, кто сидит в партере. Попробуйте бросить беглый взгляд на эту арену, войдите! Что за убожество! На стенах, оклеенных засаленными обоями, в рост человека, нет ничего, что могло бы освежить душу. Нет даже гвоздя, который облегчил бы самоубийство. Паркет истерт, неопрятен. Продолговатый стол занимает середину зала. Простота соломенных стульев, столпившихся вокруг этого протертого золотом сукна, обнаруживает любопытное безразличие к роскоши у людей, приходящих сюда погибать ради богатства и роскоши. Такие противоречия обнаруживаются в человеке всякий раз, когда душа властно воздействует на самое себя. Влюбленный хочет облечь свою возлюбленную в шелк, одеть ее в мягкие ткани Востока, тогда как всего чаще обладает ею на дрянной постели. Честолюбец мечтает о вершине власти, распластываясь в грязи угодничества. Торговец прозябает в глубине лавки, сырой и нездоровой, воздвигая обширный особняк, откуда его сын, скороспелый наследник, будет изгнан тяжбой с собственным братом. Существует ли, наконец, что-нибудь более отвратительное, чем дом наслаждений? Странная проблема! Всегда в противоречии с самим собой, обманывая надежды сегодняшними бедами, а беды — непринадлежащим ему будущим, человек всем своим действиям сообщает свой-

ственные ему непоследовательность и слабость. Здесь на земле нет ничего совершенного, кроме несчастья.

В ту минуту, когда молодой человек вошел в залу, там находилось уже несколько игроков. Три плешивых старика небрежно расселись вокруг зеленого поля; их гипсовые лица, бесстрастные как у дипломатов, обнаруживали душу пресыщенную, сердца, давно уже разучившиеся трепетать, даже когда они ставят на карту неприкосновенные имения жены. Молодой итальянец, с черными волосами, с оливковым цветом лица, спокойно облокотился на край стола и, казалось, прислушивался к тем тайным предчувствиям, которые роковым образом кричат игроку: да—нет! От этой южной головы веяло золотом и огнем. Семь или восемь зрителей стояло выстроившись в ряд, как в театре, и ожидало сцен, подготовляемых для них прихотью судьбы, лицами актеров, передвижением денег и лопаточек. Эти праздные люди стояли здесь молчаливые, недвижимые, внимательные, как народ на Гревской площади, когда палач отрубает голову. Высокий, сухой господин, в потертom платье, держал в одной руке записную книжку, а в другой булавку, которой он отмечал, сколько раз выпадало красное или черное. То был один из современных Танталов, живущих на полях книги наслаждений своего века, один из скупцов без сокровища, играющих на воображаемую ставку; подобие рассудительного сумасшедшего, который утешается в своих бедствиях, лелея химеру, который обращается с пороком и опасностью как молодые священники с евхаристией, когда они служат белую мессу. Напротив банкомета один—два из тех похожих на бывших каторжников, которых не испугаешь галерами, сошлись, чтобы рискнуть тремя ставками и немедленно унести верный выигрыш, на который они жили. Двое стариков-служителей небрежно прохаживались, скрестив руки, и по временам поглядывали из окон в сад, точно для того, чтобы показать прохожим свои плоские лица вместо вывески. Кассир и банкомет только-что бросили на понтеров свой взгляд, тусклый и убийственный, произнеся пронзительным голосом: „Ставьте!“ — когда молодой человек отворил дверь. Молчание как-будто стало еще глубже, и головы из любопытства повернулись к новому посетителю. Неслыханное дело! Отупелые старики, окаменелые служители, зрители, даже фантастический итальянец,—все, увидав незнакомца, ощутили какое-то ужасное чувство. Не надо ли быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость, очень слабым, чтобы вызвать симпатию, или очень мрачным на вид, чтобы заставить вздрогнуть души в этой зале, где скорбь должна быть мол-

чалива, где горе весело и отчаяние благопристойно? Так вот, из всех этих чувств сложилось новое ощущение, расшевелившее ледяные сердца, когда вошел молодой человек. Но разве палачи не роняли порой слёз на девушек, чьи белокурые головы они должны были отсечь по сигналу, данному революцией?

При первом же взгляде игроки прочли на лице новичка какую-то страшную тайну; его юные черты были запечатлены туманной прелестью, его взгляд свидетельствовал о тщетных усилиях, о тысяче обманутых надежд! Мрачная бесстрастность самоубийцы придавала его челу бледность, матовую и болезненную, горькая улыбка обрисовывала легкие складки в углах рта, лицо выражало покорность, которую было больно видеть. Что за тайный гений сверкал в глубине этих глаз, затуманенных, быть может, усталостью от наслаждений? Или то разгул отметил своим нечистым клеймом это благородное лицо, прежде чистое и сияющее, а теперь лишенное достоинства? Доктора, без сомнения, приписали бы пороку сердца или грудной болезни желтые круги, окаймлявшие веки, и лихорадочный румянец щек; тогда как поэты пожелали бы угадать в этих знаках опустошения, произведенные наукой, — следы бессонных ночей, просиженных при свете рабочей лампы. Но страсть более смертоносная, чем болезнь, болезнь более безжалостная, — труд и гений изменили эту юную голову, напрягли живые мускулы, изломали сердце, которых едва коснулись оргии, научная работа и болезнь. Когда знаменитый преступник прибывает на каторгу, каторжане встречают его с большим почтением. Так и эти демоны в образе человеческого, испытанные в мучениях, приветствовали неслыханную скорбь, глубокую рану, которую измерял их взор, и признали в нем одного из своих владык по величию его молчаливой иронии, по изысканной и нищенской его одежде. На молодом человеке был отличный фрак, но связь между жилетом и галстуком поддерживалась слишком заботливо: едва ли под ними было белье. Его руки, изящные как у женщины, были сомнительной чистоты: уже два дня как на них не было перчаток! Если банкомет и даже служители вздрогнули, так это оттого, что очарование невинности цвело еще в этом сложении, хрупком и тонком, в волосах, белокурых и редких, вьющихся от природы. Лицу этому было всего двадцать пять лет, порок для него был еще случайностью. Свежая жизнь юности еще сопротивлялась опустошениям бессильной похоти. Мрак и свет, уничтожение и бытие боролись здесь, производя одновременно впечатление прелести и ужаса. Молодой человек предстал здесь как ангел без сияния, сбившийся с пути. И вот все эти заслуженные наставники порока и

позора, подобно беззубой старухе, проникшейся жалостью к красавице девушке, отдающей разврату, готовы были крикнуть новичку: „Уйдите отсюда!“ Он подошел прямо к столу, стал около него, бросил наудачу на сукно золотую монету, которую он держал в руке и которая покатилась на черное; потом, как все сильные души, презирая мелочные тревожнения неуверенности, он взглянул на банкомета вызывающе и спокойно. Ход этот вызвал такой интерес, что старики ставки не сделали, но итальянец с фанатизмом страсти ухватился за улыбнувшуюся ему мысль, и поставил всю свою массу золота против ставки незнакомца. Кассир забыл произнести свои фразы, которые с течением времени обратились в крик хриплый и непонятный: „Ставьте!—Ставка сделана!—Больше не ставят!“ Банкомет снял карты и, казалось, желал успеха новому пришельцу, безразличный к проигрышу или выигрышу поставщиков этих мрачных наслаждений. Каждый зритель в участи этой золотой монеты готов был видеть драму, последнюю сцену благородной жизни; остановившись на вещих картах, их глаза блеснули; но, несмотря на внимание, с которым они следили поочередно за молодым человеком и картами, они не могли заметить и признака волнения на его лице, холодном и покорном.

— Красная, четная, пасс, — официально провозгласил банкомёт.

Что-то в роде глухого хрипа испустил итальянец, увидав, как один за другим падают сложенные банковые билеты, которые бросал ему кассир. А молодой человек только тогда постиг свою гибель, когда лопаточка протянулась за его последним наполеондором. Слоновая кость сухо стукнулась о монету, которая быстро как стрела присоединилась к куче золота перед кассой. Незнакомец тихо закрыл глаза, его губы побелели; но он тотчас же поднял веки, вновь алыми, как коралл, стали его губы, он принял вид англичанина, для которого в жизни уже не существует тайн, и исчез, не выпрашивая милостыни утешения теми раздирающими взглядами, которые отчаявшиеся игроки часто бросают на зрителя. Сколько событий столпилось на протяжении одной секунды, каково значение одного взлёта костей!

— Вот и последний его заряд, — сказал, улыбнувшись, крупье после минуты молчанья, в течение которой он держал эту золотую монету между большим и указательным пальцами, показывая ее присутствующим.

— Это обреченный, он бросится в реку, — ответил за-всегда, оглядев игроков, которые все были знакомы между собой.

— Ба! — воскликнул лакей, вынимая щепотку табаку.

— Если бы мы последовали примеру этого господина! — сказал старик своим товарищам, показывая на итальянца.

Все оглянулись на счастливого игрока, руки которого дрожали, пока он считал банковые билеты.

— Я услышал, — сказал он, — голос, шептавший мне на ухо: „Ставка против отчаяния этого молодого человека будет иметь смысл“.

— Разве это игрок? — вставил кассир. — Игрок разделит бы свои деньги на три ставки, дабы увеличить свои шансы.

Молодой человек, уходя, не спросил своей шляпы; но старик швейцар, заметив жалкое состояние этого отрепья, подал ему ее, не произнося ни слова; игрок машинально возвратил номерок и спустился по лестнице, насвистывая „Di tanti palpiti“¹⁾ так тихо, что сам едва мог расслышать чудесную мелодию.

Он очутился вскоре под аркадами Пале-Рояля, прошел до улицы С.-Онорэ, двинулся по направлению к Тюильри и нерешительным шагом пересек сад. Он шел точно по пустыне, его толкали люди, которых он не видел, сквозь уличный шум он слышал один только голос, голос смерти; наконец он весь ушел в поглощающее раздумье, похожее на то, которым бывали охвачены преступники, когда их везли от Дворца Правосудия на Гревскую площадь, к эшафоту, покрасневшему от всей той крови, что излилась на него, начиная с 1793 года.

Есть что-то великое и ужасное в самоубийстве. Падение большинства людей безопасно, как у детей, которые падают с такой малой высоты, что не ранят себя; но когда разбивается великий человек, ему приходится падать с большой высоты; он поднялся до небес, он узрел какой-то недоступный рай. Беспощадны должны быть ураганы, что заставляют просить пистолетное дуло о мире души. Сколько молодых талантов, загнанных в мансарду, чахнет и гибнет из-за отсутствия друга, женщины-утешительницы среди миллиона живых существ, перед лицом толпы, скучающей, усталой от золота! При этой мысли самоубийство принимает гигантские очертания. Между добровольной смертью и плодоносной надеждой, чей голос звал молодого человека в Париж, бог один знает, сколько столпилось оставленных замыслов, брошенных поэм, отчаяния, заглушенных криков, бесплодных попыток, недоношенных шедевров. Всякое самоубийство — возвышенная поэма меланхолии. Где в океане литературы

¹⁾ „Столько трепета“ — старая итальянская ария.

найдете вы выплывшую книгу, которая поспорит по гениальности с такой газетной заметкой:

„Вчера, в 4 часа, молодая женщина бросилась в Сену с Моста Искусств“.

Перед таким парижским лаконизмом все бледнеет, — драмы, романы, даже старинное заглавие: „Плач славного короля Каэрнаванского, заточенного в тюрьму своими детьми“, — последний фрагмент затерянной книги, заставивший плакать Стерна, который сам бросил свою жену и детей.

Незнакомца осаждали тысячи подобных мыслей, обрывками проносясь в его душе, подобно тому, как разорванные знамена развеваются в битве. Иногда на мгновение он сбрасывал с себя бремя своих мыслей и воспоминаний, останавливаясь перед цветами, головки которых мягко колыхал ветерок среди зелени, затем, охваченный порывом жизни, все еще упиравшейся против тягостной мысли о самоубийстве, он подымал глаза к небу: но там серые облака, отягощенные печалью порывы ветра, тяжелая атмосфера вновь советовали ему умереть. Он направлялся к Королевскому мосту, думая о последних прихотях своих предшественников. Он улыбался, вспоминая, что лорд Кастльри удовлетворил низменнейшую из наших потребностей, прежде чем перерезать себе горло, и что академик Ожэ, идя на смерть, принялся искать табакерку, чтобы взять понюшку. Он разбирался в этих странностях, вопрошал самого себя, когда вдруг поймал себя вот на чем: он прижался к перилам моста, чтобы пропустить носильщика с рынка; носильщик слегка запачкал чем-то белым рукав его платья, и он тщательно отряхнул с себя пыль. Дойдя до середины моста, он мрачно посмотрел на воду.

— Плоха погода, чтобы топиться, — с усмешкой сказала ему старуха, одетая в лохмотья. — Сена такая грязная, холодная!

Он ответил ей улыбкой, исполненной простодушия, изобличавшей безумие его решимости; но внезапно вздрогнул, увидав издали, на Тюильрийской пристани, барак с вывеской наверху, где следующие слова были начертаны буквами с фут вышиной: „Спасание на водах“. Г-н Даше явился ему во всеоружии своей филантропии, подымая во имя добродетели весла, которыми разбивают головы утопленников, если они на свою беду покажутся из воды; он видел, как тот собирал вокруг себя зевак, выискивал доктора, готовил окуриванье; он читал изъявления скорби, написанные журналистами между пирушкой и улыбкой танцовщицы; слышал, как звенят экую, отсчитываемые префектом полиции лодочникам в награду за его голову. Мертвый он стоил пятьдесят франков, но живой он был только талантливым человеком.

без покровителей, без друзей, без барабанного боя рекламы, настоящий социальный нуль, бесполезный государству, которое и не заботилось о нем нисколько. Смерть среди бела дня показалась ему отвратительной, он решил умереть ночью, чтобы обществу, презревшему величие его жизни, оставить неузнанный труп. Итак, он продолжал свой путь и направился к Вольтеровой набережной, стараясь идти беспечной походкой гуляки, которому нужно убить время. Когда он спускался по ступенькам, которыми оканчивается тротуар моста, на углу набережной его внимание было привлечено старыми книгами, разложенными на парапете; он едва не стал прицениваться к ним. Он посмеялся над собой, философически засунул руки в жилетные карманы и вновь пошел своей беззаботной походкой, в которой сквозило холодное презрение, — и вдруг с изумлением услышал, как поистине фантастично звякнули в кармане несколько монет. Улыбка надежды осветила его лицо, с губ скользнула по всем его чертам, по лбу, зажгла радостью его глаза и потемневшие щеки. Эта искра счастья была похожа на те огоньки, которые пробегают по остаткам бумаги, уже испепеленной пламенем, но судьба черного пепла постигла его лицо; оно вновь стало печальным, как только он быстро вытащил руку из кармана и увидел три медяка по два су.

— Добрый господин, *la carità, la carità!* Catarina! Хоть один су на хлеб!

Мальчишка - трубочист с черным одутловатым лицом, с телом черным от сажи, весь в лохмотьях, протянул руку к этому человеку, чтобы вырвать у него последний су.

В двух шагах от маленького савойца старый нищий, стыдливый, болезненный, страдавший, одетый в отвратительную дырявую шаль, сказал ему грубым глухим голосом:

— Сударь, подайте хоть что-нибудь, буду за вас молить бога...

Но когда молодой человек взглянул на старика, тот замолчал и больше не просил; он, может быть, увидел на этом мертвенном лице признаки нужды более острой, чем его собственная.

— *La carità! la carità!*

Незнакомец бросил свою мелочь мальчишке и старику и сошел с тротуара, чтобы продолжать путь вдоль домов, так как он был уже не в силах выносить пронзающего душу вида Сены.

— Мы будем молить бога о продлении ваших дней, — сказали ему оба нищих.

Подойдя к выставке торговца эстампами, этот почти мертвый человек встретил молодую женщину, которая выходила из блестящего экипажа. Он с восхищением созерцал очаровательную особу, чье белое лицо было гармонично окаймлено атласом нарядной шляпы. Он был обольщен ее стройным станом, ее красивыми движениями. Опускаясь с подножки, она слегка приподняла платье, и это позволило ему увидеть ногу, тонкие контуры которой обрисовывал белый, отлично сидевший чулок. Молодая дама вошла в магазин и занялась покупкой альбомов коллекций литографий; она накупила их на несколько золотых, которые блеснули и звякнули на конторке. Молодой человек, как-будто занятый у входа рассматриванием гравюр на выставке, обменялся с прекрасной незнакомкой взглядом, самым пронизывающим из всех, какие только способен метнуть человек, — в ответ он получил один из тех беззаботных взоров, которые случайно бросаются прохожим. С его стороны то было прощанье с любовью, с женщиной! Но этот последний, могучий вопрос не был понят, не взволновал сердце у легкомысленной женщины, не заставил ее ни покраснеть, ни опустить глаза. Что он для нее значил? Лишний восторг, еще одно возбужденное ею желание, которое вечером заставит ее сказать с торжеством: „Сегодня я была хороша“. Молодой человек быстро перешел к другому окну и не обернулся, когда незнакомка садилась в экипаж. Лошади тронули, этот последний образ роскоши и изящества исчез, как исчезнет и его жизнь. Он пошел меланхолической походкой вдоль магазинов, без особого интереса рассматривая образцы товаров. Когда кончились лавки, он стал изучать Лувр, Академию, башни Собора Богоматери, башни Дворца Правосудия, Мост Искусств. Все эти памятники, казалось, принимали скорбный вид, отражая серые тона неба, слабые отсветы которого придавали угрожающее выражение Парижу, подчиненному, как хорошенькая женщина, необъяснимо-капризным сменам уродства и красоты. Так сама природа задумала погрузить умирающего в скорбный экстаз. Весь во власти этой тлетворной силы, чье расслабляющее действие находит себе посредника в токе, обращающемся в наших нервах, он чувствовал, как его организм нечувствительно переходит к явлениям текучести. Муки этой агонии сообщили ему движение, подобное движению волн, и он видел уже здания, людей сквозь туман, где все колыхалось. Он хотел стряхнуть с себя раздражение, производимое в его душе воздействием мира физического, и направился к лавке древностей, чтобы дать пищу своим чувствам или чтобы дожидаться там ночи, при-

цениваясь к произведениям искусства. Это значило, так сказать, набираться бодрости, спросить подкрепляющий напиток, как делает идя на эшафот преступник, не доверяющий своим силам.

Сознание близкой смерти на мгновение вернуло молодому человеку самоуверенность герцогини, имеющей двух любовников, и он вошел в лавку редкостей с видом независимым, с той застывшей улыбкой на устах, какая бывает у пьяниц. И не был ли он поистине пьян от жизни или, может быть, от смерти! Вскоре его вновь охватило головокружение, и он стал видеть вещи окрашенными в странные цвета, оживленными легким движением, начало которого, несомненно, заключалось в его неправильном кровообращении, то бурлившем как водопад, то спокойном, вялом как тепловатая вода. Он заявил просто, что хочет осмотреть склад, поискать, не найдется ли там чего-нибудь особенного, на свой вкус. Молодой приказчик со свежим лицом и полными щеками, с рыжей шевелюрой, в шапочке из меха выдры, поручил присмотреть за лавкой старухе-крестьянке, своего рода Калибану женского пола, занятой чисткой печки, чудеса которой были произведением гения Бернара Палисси¹⁾; потом с беззаботным видом он сказал незнакомцу:

— Взгляните, сударь, взгляните. Внизу у нас только вещи заурядные, но если вы возьмете на себя труд подняться в верхний этаж, я могу показать вам прекраснейшие мумии из Каира, несколько ваз с инкрустациями, резьбу по черному дереву, подлинный ренессанс,— все это только-что получено, высшего качества.

При том ужасном состоянии, в котором был незнакомец, болтовня его чичероне, глупо торгашеские фразы, были для него чем-то в роде тех мелочных дрызг, которыми умы ограниченные убивают человека гениального. Неся свой крест до конца, он делал вид, что слушает проводника, и отвечал ему короткими словами или жестами; но понемногу он сумел отвоевать себе право итти молча и мог безбоязненно отдаться последним своим размышлениям, которые были страшны. Он был поэтом, и душа его случайно нашла себе обильную пищу; он должен был заранее увидеть прах двадцати миров.

На первый взгляд склады явили ему беспорядочную картину, в которой столпились все творения божеские и человеческие. Чучела крокодилов, обезьян, боа улыбались церковным витражам, порываясь, казалось, укусить бюсты, погнаться за лакированными вещами, вскарабкаться на люстры. Севр-

¹⁾ Французский самоучка — естествовед и изобретатель XVI века.

ская ваза, на которой г-жа Жакото нарисовала Наполеона, находилась рядом со сфинксом, посвященным Сезострису. Начало мира и вчерашние события сочетались здесь с чудовищным благодушием. Вертел лежал на ковчежце, республиканская сабля на средневековой пищади. Г-жа Дюбарри, нарисованная пастелью Латуром, со звездой на голове, нагая и окруженная облаками, казалось, сладострастно рассматривала индийский чубук и старалась угадать назначение его спиралей, змеившихся по направлению к ней. Смертоносные предметы, кинжалы, диковинные пистолеты, оружие с секретными затворами были брошены вперемежку с предметами житейского обихода: фарфоровыми мисками, саксонскими тарелками, прозрачными китайскими чашками, античными солонками, феодальными шкатулками для сластей. Корабль из слоновой кости на всех парусах плыл по спине неподвижной черепахи. Пневматическая машина лезла в глаз императору Августу, царственно бесстрастному. Несколько портретов французских старшин, голландских бургомистров, таких же бесчувственных, какими они были и при жизни, возвышалось над этим хаосом древностей, бросая на него взгляд бледный и холодный. Все страны, казалось, принесли сюда какой-нибудь обломок своих знаний, образчик своих искусств. То было подобие философского навоза, где ни в чем не было недостатка, ни в трубке мира дикаря, ни в зеленой с золотом тувельке из сераля, ни в мавританском ятагане, ни в татарском идоле. Здесь было все, вплоть до солдатского кисета, вплоть до церковной дароносицы, вплоть до перьев с какого-то трона. К тому же, благодаря причудливому множеству отражений, возникавших из смешения оттенков, из резкого контраста света и тени, — эти чудовищные картины представляли собою тысячи разнообразнейших световых явлений. Ухо, казалось, слышало прерванные крики, ум схватывал неоконченные драмы, глаз различал не вполне погашенный свет. Наконец, упорная пыль набросила свой легкий покров на все эти предметы, и их многообразные углы, их изгибы производили живописнейшие эффекты.

Эти три залы, захлебнувшиеся в цивилизации, в культах, божествах, шедеврах, в царственности и бесчинствах, в разгуле и безумии, незнакомец сравнил сперва с многогранным зеркалом, каждая грань которого отображает целый мир. После этого туманного впечатления ему захотелось выбрать чем полюбоваться, но, заставив себя смотреть, думать, мечтать, он подпал под власть лихорадки, которая происходила, может быть, от голода, рыкавшего у него во внутренних органах. Вид стольких существований национальных или лич-

ных, засвидетельствованных этими пережившими их залогом человеческими, погрузил, наконец, молодого человека в полное оцепенение; желание, толкнувшее его в магазин, исполнилось: он нашел выход из реальной жизни, по ступеням поднялся в мир идеальный, дошел до волшебных дворцов экстаза, где вселенная явилась ему в осколках и огненных чертах, как некогда грядущее прошло пылая перед очами святого Иоанна на Патмосе.

Множество образов страдальческих, грациозных и ужасных, темных и сияющих, отдаленных и близких, встало перед ним массаи, мириадами, поколениями. Египет, окостеневший, таинственный, поднялся из песков в образе мумии, обвитой черными повязками; за ней последовали фараоны, погребавшие целые народы, чтобы построить себе гробницу, и Моисей, и евреи, и пустыня, и вот он прозревал мир, древний и торжественный. Свежая и сладостная мраморная статуя на витой колонне, блистая белизной, говорила ему о сладострастных мифах Греции и Ионии. Ах! Кто не улыбнулся бы, как улыбнулся он, увидев на красном фоне юную смуглую девушку, пляшущую на тонкой глине этрусской вазы перед богом Приапом, которого она приветствовала радостным лицом! Напротив латинская царица любовно ласкала химеру. Все причуды императорского Рима дышали здесь, вызывая в воображении термы, ложе, туалет беспечной мечтательной Юлии, ожидающей своего Тибулла. Обладая силой арабских талисманов, голова Цицерона вызывала воспоминания о свободном Риме и раскрывала перед ним страницы Тита Ливия. Молодой человек созерцал *Senatum populumque romanum*¹⁾: консул, ликторы, тоги, окаймленные пурпуром, борьба на форуме, разгневанный народ проходили перед ним как туманные видения сна. Наконец, Рим христианский одержал верх над этими образами. Живопись отверзла небеса, и он узрел деву Марию, парящую в золотом облаке, на лоне ангельском, затмевая славу солнца, выслушивая стенания несчастных, которым тихо улыбалась эта возрожденная Ева. Коснувшись мозаики, сложенной из кусочков лавы Везувия и Этны, его душа единым порывом перенеслась в теплую и золотистую Италию: он присутствовал на оргиях Борджиа, скитался по Аbruццким горам, томился по любви итальянок, проникался страстью к бледным лицам с длинными черными глазами. При виде средневекового кинжала с рукоятью, отделанной как кружево, с ржавчиной, похожей на следы крови, его волновала развязка,

¹⁾ Римский сенат и народ.

ночного приключения, прерванная холодной шпагой мужа. Индия с ее религиями оживала в идоле, одетом в золото и шелк, с остроконечным головным убором, построенным из ромбов, украшенных колокольчиками. Возле этого божка все еще испускала запах сантала цыновка, красивая как некогда покоившаяся на ней баядерка. Китайское чудовище с раскосыми глазами, кривившимся ртом и искривленными членами волновало душу зрителя измышлениями народа, который, устав от красоты, всегда однообразной, находит несказанное удовольствие в размножении безобразного. Солонка, вышедшая из мастерской Бенвенуто Челлини, переносила незнакомца на лоно Ренессанса, когда процветали искусства и распушенность, когда государи развлекались пытками, когда декреты, предписывавшие целомудрие простым священникам, исходили от прелатов, покоившихся в объятиях куртизанок. Он увидал победы Александра на камее, бойни Пизарро в аркебузе с фитилем, религиозные войны, неистовые, кипучие, жестокие — на дне шлема. Потом смеющиеся образы рыцарских времен ключом забили из миланской стали с превосходной насечкой и полировкой, из-под которой еще блестели глаза паладина.

Этот океан мебели, выдумок, мод, созданий, руин слагал для него бесконечную поэму. Формы, краски, мысли — все оживало здесь, но ничего законченного не открывалось душе. Поэт должен был довершать набросок великого живописца, который приготовил огромную палитру, бросив на ней щедро и пренебрежительно неисчислимые случайности человеческой жизни. Овладев миром, закончив обозрение стран, веков, царств, молодой человек вернулся к индивидуальным существам. Он находил в себе их олицетворение, овладевал частностями, отстраняя жизнь наций, подавлявшую отдельного человека.

Вот дремал восковой ребёнок, уцелевший от музея Рюиша, и это восхитительное создание напомнило ему о радостях юных лет. При волшебном виде девичьего передника какой-то таитянки, его пылкое воображение рисовало ему картины простой, естественной жизни, чистую наготу истинного целомудрия, очарование лени, столь свойственной человеку, все спокойствие участи, уготованной человеку на берегу ручья, свежего и мечтательного, под банановым деревом, дарующим ему без трудов свою сладкую манну. Но вдруг он становился корсаром, облакался в грозную поэзию, запечатлевшую роль Лары, вдохновленный перламутровыми отливами тысячи раковин, воодушевленный видом звездчатого коралла — еще пахнувшего морской травой, водорослями и атлантиче,

скими бурями. Восхищаясь затем тонкими миниатюрами, лазоревыми и золотыми арабесками, богато украшавшими драгоценный рукописный требник, он забывал смятение моря. Тихо убаюкиваемый мирными помыслами, он обручался вновь с изучением и наукой, желал себе сытной монашеской жизни, лишенной печали, лишенной наслаждений, ложился спать в глубине кельи, любясь в стрельчатое окно на луга, леса и виноградники своего монастыря. Перед Тенирсом он накидывал на себя солдатский плащ или лохмотья рабочего; ему хотелось носить засаленный и прокуренный колпак фламандцев, он напивался пивом, играл с ними в карты и улыбался толстой, заманчиво-дебелой крестьянке. Он дрожал от стужи, видя как падает снег у Мьериса, и сражался, смотря на битву Сальватора Розы. Он любовался иллинойским томагавком и ощущал, как ирокезский скальпель совлекает у него кожу с черепа. Увидав чудесную лютню, он вручал ее владетельнице замка, наслаждался мелодическим романсом, изъясняясь ей в любви вечером у готического камина, в сумерках, скрывавших ее ответный взгляд. Он хватался за все радости, обнимал все скорби, овладевал всеми формулами бытия, перед этими призраками природы, образной и пустой, расточал, рассеивал свою жизнь столь щедро, что стук собственных шагов раздавался в его душе как отдаленный отзвук другого мира, — как парижский шум достигает башен Собора Парижской Богоматери.

Подымаясь по внутренней лестнице, которая вела в залы, расположенные в верхнем этаже, он видел, что против каждой ступеньки лежат и висят на стене „воотивные щиты“¹⁾, доспехи, украшенные скульптурой дарохранительницы, деревянные фигуры. Преследуемый формами самыми странными, чудесными созданиями, возникшими на границе смерти и жизни, он шел среди очарований грезы. Усомнившись в своем существовании, он стал наконец подобным этим диковинным предметам: он стал не вполне умершим, не вполне живым. Когда он вошел в новые залы, день начинал бледнеть; но, казалось, свет и не нужен для тех богатств, блистающих золотом и серебром, которые были там свалены в груды. Самые дорогие причуды расточителей, проживших несколько миллионов и умерших на чердаках, были собраны на этом обширном торжище человеческих безумств. Чернильница, за которую было заплачено сто тысяч франков и которая потом была куплена за сто су, лежала

¹⁾ Вешавшиеся в храмах, в благодарственную память об оказанной божеством помощи.

возле замка с секретом, стоимости которого было бы некогда достаточно для выкупа короля. Род человеческий являлся там во всей пышности своей нищеты, во всей славе своей гигантской мелочности. Стол эбенового дерева, настоящий предмет поклонения для художника, резанный по рисункам Жана Гужона, стоивший некогда нескольких лет работы, был, быть может, куплен по цене дров. Драгоценные шкатулки, мебель, сделанная руками фей, были здесь пренебрежительно навалены друг на друга.

— Да у вас тут миллионы! — воскликнул молодой человек, дойдя до комнаты, которой заканчивалась безмерная амфилада зал, украшенных золотом и резьбой, — труды художников минувшего века.

— Вернее миллиарды, — отвечал толстый полнощекый приказчик. — Но это еще пустяки, поднимитесь в третий этаж, вот там вы увидите!

Незнакомец последовал за своим проводником и достиг четвертой галлерей, где поочередно прошли перед его усталыми глазами несколько картин Пуссэна, восхитительная статуя Микель Анджело, несколько прелестных пейзажей Клод Лоррэна, подобный странице Стерна Герард Доу, Рембрандты, Мурильо, Веласкесы, мрачные и красочные, словно поэма лорда Байрона; потом античные барельефы, агатовые чаши, удивительные ониксы!.. Словом то были работы, способные вселить отвращение к труду, нагроможденные здесь шедевры могли внушить ненависть к искусствам и убить энтузиазм. Он дошел до Девы Рафаэля, но ему надоел Рафаэль. Голова Корреджо, требовавшая внимания, так и не добила его. Бесценная ваза из античного порфира, рельефы которой изображали самую причудливую, самую вольную из всех римских приапей, утеха какой-нибудь Коринны, едва вызвала у него улыбку. Он задыхался под обломками пятидесяти исчезнувших веков, он чувствовал себя больным от всех этих человеческих мыслей, он был убит роскошью и искусствами, подавлен этими воскресающими формами, которые, подобно чудовищам, рождающимся под ногами какого-то злого гения, вызывали его на нескончаемый поединок.

Похожая своими прихотями на современную химию, которая сводит все сотворенное к газу, не вырабатывает ли душа ужасных ядов быстрым сосредоточиванием своих радостей, сил и идей? И многие люди не гибнут ли пораженные нравственными кислотами, внезапно разлившимися во всем их существе?

— Что в этом ящике? — спросил он, войдя в большой кабинет — последнее нагромождение славы, человеческих

усилий, причуд, богатств, среди которых он указал пальцем на четырехугольный ящик красного дерева, подвешенный на гвоздь серебряной цепью.

— О! Ключ от него у хозяина, — сказал толстый приказчик с таинственным видом. — Если вам угодно видеть этот портрет, я готов рискнуть и побеспокоить хозяина.

— Рискнуть! — удивился молодой человек. — Разве ваш хозяин какой-нибудь князь?

— Да я право не знаю, — ответил приказчик.

Минуту смотрели они друг на друга, оба удивленные в равной мере. Потом, сочтя молчание незнакомца за пожелание, приказчик оставил его одного в кабинете.

Пускались ли вы когда-нибудь в бесконечность пространства и времени, читая геологические сочинения Кювье? Уносимые его гением, парили ли вы над безграничной пропастью прошлого, точно поддерживаемые рукой волшебника? Открывая в различных разрезах и различных слоях под монмартрскими ломками и в уральском сланце ископаемых, чьи останки относятся к допотопным цивилизациям, душа устрешена, провидя миллиарды лет, миллионы народов, о которых слабая память человечества и даже ненарушимое божественное предание забыли, и пепел которых, скопившийся на поверхности нашего шара, образует почву в два фута глубиной, дающую нам цветы и хлеб. Кювье — не величайший ли поэт нашего века? Конечно, лорд Байрон воспроизвел в словах некие волнения нравственные; но наш бессмертный естествоиспытатель восстановил миры при помощи побелевших костей, подобно Кадму выстроил города из зубов, вновь населил тысячи лесов всеми тайнами зоологии при помощи кусочков каменного угля, вновь обрел поколения гигантов при помощи ноги мамонта. Эти образы восстают, растут и наполняют страны, отвечающие их колоссальному строению. В своих цифрах он — поэт; приставляя нуль к семи, он великолепен. Не произнося искусственно магических слов, он воскрешает небытие. Он откапывает частицу гипса, замечает на ней отпечаток и восклицает: „Смотрите!“ И вдруг мрамор становится животным, смерть — жизнью, открывается целый мир! После неисчислимых диастий гигантских созданий, после рыбных рас и моллюсковых кланов появляется, наконец, род человеческий, выронок грандиозного типа, сраженного, быть может, создателем. Согретые его взглядом, устремленным в прошлое, эти жалкие люди, рожденные вчера, могут проникнуть в хаос, затянуть бесконечный гимн и начертать себе прошлое вселенной в подобии апокалипсиса, вспять обращенного. При виде та-

кого ужасающего воскресения, которым мы обязаны голосу одного только человека, кроха, пользование которой предоставлено нам в этой общей всем сферам безымянной бесконечности, названной нами Временем, — эта минута жизни возбуждает в нас жалость. Как бы раздавленные под развалинами стольких вселенных, мы вопрошаем себя: к чему наша слава, наша ненависть, наша любовь; если суждено нам стать в будущем неосязаемой точкой, должны ли мы принять бремя бытия. С корнем вырванные из настоящего, мы мертвы до тех пор, пока не войдет лакей и не скажет:

— Ее сиятельство просили передать, что ждут вас.

Чудеса, вид которых явил молодому человеку все ведомое нам творение, вселили в душу его подавленность, какая у философа возникает вследствие научного рассмотрения творений неведомых; сильнее, чем когда бы то ни было, пожелал он умереть и упал в курульное кресло, предоставив своим взорам блуждать по фантасмагориям этой панорамы прошлого. Картины озарились, головы Девы ему улыбнулись, статуи окрасились обманчивой жизнью. Под покровом тени, втянутые в плясовое движение тревогой, бродившей в его разбитом мозгу, эти произведения оживились и теперь вихрем проносились перед ним; каждый фарфоровый уродец строил ему гримасу, веки особ, изображенных на картинах, опустили на их глаза, освежая их. Каждая из этих форм вздрогнула, подпрыгнула, сошла со своего места, важно, легко, грациозно или неуклюже, согласно своим нравам, характеру и строению. То был таинственный шабаш, достойный чудес, увиденных доктором Фаустом на Брокене. Но эти зрительные явления, порожденные усталостью, напряжением взгляда или причудливостью сумерек, не могли устроить незнакомца. Ужасы жизни были бессильны над душой, свыкшейся с ужасами смерти. Он своим насмешливым соучастием скорее даже поощрял странности этого нравственного гальванизма, чудеса которого соединились с последними мыслями, даруемыми чувством бытия. Вокруг него царил столь глубокое молчание, что вскоре он отважился отдаться сладостным мечтам; впечатления постепенно темнели; оттенки их менялись в некоем магическом соответствии с медленным угасанием дня. Свет, покидая небо, зажег в борьбе с ночью последний красноватый отблеск; он поднял голову, увидал слабо освещенный скелет, который с сомнением качнул своим черепом справа налево, как бы желая сказать: „Мертвецы еще не ожидают тебя“. Проведя рукой по лбу, чтобы отогнать сон, молодой человек отчетливо ощутил свежее дуновение, произведенное каким-то

косматым предметом, коснувшимся его щек, и вздрогнул. Стекла отозвались глухим звуком: он подумал, что эта холодная, достойная гробовых тайн ласка исходила от летучей мыши. Еще мгновение смутные отблески заката позволили ему неясно различать окружавшие его призраки; потом вся эта мертвая природа была поглощена сплошной мглою. Внезапно наступила ночь, час, когда он должен был умереть. С этого момента прошел известный промежуток времени, в течение которого он не воспринимал с ясностью земных вещей, потому ли, что он похоронил себя в глубокой мечтательности, потому ли, что он отдался сонливости, вызванной утомлением и множеством мыслей, раздиравших ему сердце. Вдруг ему почудилось, что его окликнул какой-то грозный голос; он задрожал, как если бы среди горячего кошмара он был единым прыжком низринут в глубины пропасти. Он закрыл глаза, лучи живого света ослепляли его: он увидел, что на фоне мрака загорелся красноватый круг, в центре которого находился старичок, стоявший прямо и направлявший на него свет лампы. Он не слышал как тот вошел, заговорил, как двигался. В его появлении было нечто магическое. Если захватить так, врасплох, среди сна, даже человека самого бесстрашного, — так и он, без сомнения, задрожал бы перед этим старичком, вышедшим, казалось, из соседнего саркофага. Странная молодость, оживлявшая неподвижные глаза у этого подобия призрака, не давала нашему незнакомцу оснований думать о сверхъестественных влияниях; тем не менее, в течение краткого промежутка, отделившего его жизнь сомнамбулическую от жизни реальной, он остался в рекомендованном Декартом состоянии философского сомнения и помимо воли подпал под власть тех неизъяснимых галлюцинаций, тайны которых осуждены нашим высокомерием и которые тщетно пытается анализировать наша наука.

Представьте себе сухого, худощавого старичка, одетого в черный бархатный халат, схваченный у поясницы толстым шелковым шнуром. На голове у него была бархатная ермолка, также черная, из-под которой по обе стороны лица выбивались длинные космы седых волос; она облежала череп, строго окаймляя лоб. Халат окутывал тело наподобие просторного савана; видно было только лицо, узкое и бледное. Если бы не костлявая, похожая на палку, обернутую в материю, рука, которую старик вытянул, направляя на молодого человека весь свет лампы, можно было бы подумать, что это лицо повисло в воздухе. Бородка с проседью, подстриженная клинышком, скрывала подбородок этого странного суще-

ства, придавая ему сходство с теми еврейскими головами, которыми, как типами, пользуются художники, когда они хотят изобразить Моисея. Губы его были столь бесцветны, столь тонки, что требовалось особое внимание для того, чтобы различить линию, начертанную ртом на его белом лице. Его широкий морщинистый лоб, его щеки, поблекшие и впалые, неумолимая строгость его зеленых глазок, безбровых и лишенных ресниц, — все это могло внушить незнакомцу мысль, что Взвешиватель золота Герарда Доу вышел из рамы. Лукавство инквизитора, изобличаемое извилинами его морщин и складками, расходившимися от его висков, свидетельствовало о глубоком знании жизни. Невозможно было обмануть этого человека, обладавшего, казалось, даром достигать мысли в глубине самых скрытных сердец. Нравы всех наций земного шара и их мудрость сосредоточились на его холодном лице так же, как произведениями целого мира были завалены пыльные залы его лавки. Вы прочли бы на его лице светлое спокойствие всевидящего бога или горделивую силу все видевшего человека. Живописец, придав ему то или другое выражение, двумя ударами кисти мог бы обратить это лицо в прекрасный образ вечного отца или насмешливую маску Мефистофеля, ибо одновременно начертаны были: на его лбу — возвышенная мощь, а на его губах — мрачное издевательство. Стерев своей огромной силой все горести человеческие, он должен был убить и земные радости. Умиравший вздрогнул, предчувствуя, что этот старый гений обитал в сферах, чуждых миру, и жил там один, без радостей, ибо у него не было больше иллюзий, без скорби, ибо он не ведал больше наслаждений. Старик держался прямо, недвижимый, неколебимый, как звезды среди светозарного облака. Его зеленые глаза, исполненные какого-то спокойного лукавства, казалось, освещали мир нравственный так же, как его лампа светила в этом таинственном кабинете.

Таково было странное зрелище, врасплох захватившее молодого человека в тот момент, когда он открыл глаза, перед тем убаюканный мыслями о смерти и причудливыми образами. Если он был ошеломлен, если он позволил мгновенно овладеть собою помыслу, достойному детей, наслушавшихся сказок, — это заблуждение следует приписать тому покрову, который простерли над его жизнью, над его рассудком его размышления, возбуждению его раздраженных нервов, жестокой драме, сцены которой только-что доставили ему мучительное наслаждение, подобное тому, какое заключено в частице опия. Это видение имело место в Па-

риже на Вольтеровой набережной, в XIX веке — в таких местах и в такие времена, где магия должна быть невозможной. Находясь по соседству с тем домом, где скончался бог французского неверия, будучи учеником Гэ-Люссака и Араго, презиравая все фокусы, выделяемые людьми, стоящими у власти, незнакомец очевидно поддался лишь тем поэтическим наводнениям, которым мы часто предаемся как бы для того, чтобы избежать приводящих в отчаяние истин, как бы для того, чтобы бросить вызов всемогуществу божию. И вот он задрожал перед этим светом, перед этим стариком, волнуемый необъяснимым предчувствием какой-то странной власти; но его волнение было похоже на то, которое мы все ощущали перед Наполеоном или в присутствии какого-нибудь великого человека, блистающего гением и облеченного славою.

— Вам угодно видеть портрет Иисуса Христа, написанный Рафаэлем? — учтиво спросил его старик, в голосе которого, в самой его звучности, ясной и краткой, было нечто металлическое.

И он поставил лампу на увенчание обломанной колонны так, что весь ее свет падал на темный ящик.

При святых именах Иисуса Христа и Рафаэля, у молодого человека вырвался жест любопытства, на которое и рассчитывал купец. Он надавил пружину, и тотчас же створка красного дерева бесшумно опустилась в выемку, открывая восхищению незнакомца картину. При виде этого бессмертного творения он забыл все диковины лавки, капризы своего сна, вновь стал человеком, признал в старике творение плоти, вполне живой, нисколько не фантастической, вновь стал жить в мире реальном. Нежная озабоченность, тихая ясность божественного лика тотчас же повлияли на него. Некое благоухание пролилось с небес, рассеивая те адские муки, которые жгли мозг его костей. Голова Спасителя, казалось, выступала из мрака, переданного черным фоном; лучистый ореол сверкал вокруг его волос, от которых как-будто и исходил этот свет; красноречивая убежденность, присущая его челу, его плоти, сквозила и в каждой черте. Алые губы готовы были произнести слово жизни, и зритель искал его священного отзвука в воздухе, вопрошал молчание о восхитительных притчах, слышал его в будущем, обретал его в уроках прошлого. Евангелие было выражено в спокойной простоте тех божественных очей, где искали себе прибежища смятенные души. Словом, всю католическую религию можно было прочесть в сладостной и прекрасной улыбке, выражавшей, казалось, то изречение, в котором заключен ее смысл: Любите друг друга! Эта картина

вдохновляла на молитву, учила прощению, заглушала эгоизм, пробуждала все уснувшие добродетели. Обладая преимуществами, свойственными очарованиям музыкальным, произведение Рафаэля подчиняло вас властным чарам воспоминаний, и торжество его было полным, о художнике можно было забыть. Обаяние света воздействовало еще более на это чудо; мгновениями казалось, что голова движется вдалеке, на лоне какого-то облака.

— Я покрыл все это полотно золотыми монетами, — холодно сказал торговец.

— Ну что ж, придется умереть! — воскликнул молодой человек, очнувшись от своих мечтаний, последняя мысль которых привела его к его роковой судьбе, путем незаметных выводов заставляя его удалиться от последней надежды, за которую он цеплялся.

— Ага! не даром опасался я тебя, — ответил старик, схватив обе руки молодого человека и сжимая их запястья одной своей рукой, как бы в тисках.

Незнакомец печально улыбнулся такому недоразумению и сказал кротким голосом:

— Сударь, не бойтесь. Речь идет о моей жизни, не о вашей... Почему не сознаться мне в невинном обмане? — продолжал он, взглянув на обеспокоенного старика. — Ожидая ночи, когда я смогу утопиться без помехи, я пришел взглянуть на ваши богатства. Кто не простил бы этого последнего наслаждения человеку науки и поэзии?

Недоверчивый торговец окинул пронзительным взором унылое лицо своего мнимого покупателя, продолжая его слушать. Разубежденный вскоре тоном его скорбного голоса, или, может быть, прочитав в его поблекших чертах мрачные судьбы, которые перед тем заставили вздрогнуть игроков, он отпустил его руки; но свидетельствовавшая о столетней, по меньшей мере, опытности подозрительность не совсем у него исчезла; небрежно протянув руку к шкафу, как-будто без задней мысли, лишь для того, чтобы на него опереться, он вынул оттуда стилет и сказал:

— Что же вы? Три года служите сверх штата в казначействе и все еще без жалованья?

Незнакомец не мог удержаться от улыбки, сделав отрицательный жест.

— Ваш отец слишком резко попрекал вас за то, что вы появились на свет? Вы потеряли честь?

— Если б я хотел потерять честь, я жил бы.

— Вас освистали в театре канатных плясунов? Или вы принуждены сочинять куплеты, чтобы заплатить за похо-

роны вашей любовницы? Или вы больны безденежьем? Или вы хотите победить скуку? Что за ошибка толкает вас на смерть?

— Не ищите основания для моей смерти среди тех будничных причин, которыми объясняется большинство самоубийств. Чтобы избавить себя от обязанности открывать вам неслыханные мучения, которые трудно передать человеческим языком, скажу вам, что я впал в самую глубокую, самую гнусную, самую язвительную нищету. И — добавил он тоном, дикая гордость которого противоречила его предшествующим словам, — я не собираюсь вымаливать ни помощи, ни утешений.

— Эге!

Эти два слога, произнесенные стариком вместо всякого ответа, похожи были на звук трещотки. Потом он продолжал:

— Не принуждая вас умолять меня, не заставляя вас краснеть, не подавая вам ни французского сантима, ни левантинского парата, ни сицилийского тарэна, ни немецкого крейцера, ни русской копейки, ни шотландского фартинга, ни единого сестерция, ни единого обола мира древнего, ни пиастра мира нового, не предлагая вам ничего ни золотом, ни серебром, ни медью, ни бумажками, ни билетами, я хочу вас сделать богаче, могущественнее, влиятельнее любого конституционного короля.

Молодой человек подумал, что старик впал в детство; ошеломленный, он не знал, что ответить.

— Оглянитесь, — сказал торговец, хватая вдруг лампу и направляя ее свет на ту стену, что была против портрета, — и взгляните на эту шагреневую кожу, — добавил он.

Молодой человек порывисто встал и выразил некоторое изумление, заметив над креслом, в котором он сидел, повешенный на стене кусок шагрени, размерами не больше лисьей шкурки; но по необъяснимой на первый взгляд причине кожа эта, среди глубокого мрака, царившего в лавке, испускала лучи, столь блестящие, что вы сочли бы ее за маленькую комету. Недоверчивый юноша приблизился к мнимому талисману, который должен был предохранить его от несчастий, и в уме посмеялся над ним. Но все же, движимый любопытством вполне законным, он наклонился, чтобы рассмотреть кожу последовательно со всех сторон, и открыл естественную причину ее странного блеска. Черные зерна шагрени были так отполированы и отшлифованы, прихотливые полосы на нем были столь чисты и отчетливы, что, подобно граням граната, каждая выпуклость этой восточной

кожи образовывала светящуюся точку, с силой отражавшую лучи. Он математически доказал причину этого явления старику, который вместо ответа лукаво улыбнулся. Эта улыбка превосходства внушила молодому ученому мысль, что он стал в это мгновение жертвой какого-то шарлатанства. Он не хотел уносить с собой в могилу лишнюю загадку и быстро перевернул кожу, как ребенок спешит разгадать секрет своей новой игрушки.

— Ага! — воскликнул он: — тут оттиск печати, которую на Востоке называют Соломоновой.

— Вам она известна? — спросил торговец, выпустив из ноздрей две—три струи воздуха, которыми передал больше мыслей, чем мог бы передать самыми выразительными словами.

— Существует ли на свете простак, способный поверить этой химере? — воскликнул молодой человек, задетый немой и полным горького издевательства смехом старика. — Знаете ли вы, что суевериями Востока освящены мистическая форма и лживые знаки этой эмблемы, будто бы дающей сказочное могущество? Укорять в простодушии по этому поводу меня приходится не более, чем если бы я говорил о сфинксах и грифах, существование которых в мифологическом смысле до некоторой степени допускается.

— Раз вы ориенталист, — продолжал старик, — вы, может быть, прочтете это изречение?

Он поднес лампу к самому талисману, который молодой человек вывернул наизнанку, и обратил его внимание на знаки, оттиснутые на клетчатой ткани этой чудесной кожи так, точно они были порождены тем животным, которому она когда-то принадлежала.

— Должен сознаться, я не сумею объяснить, каким образом можно было оттиснуть так глубоко эти буквы на коже онагра.

И, живо обернувшись к столам, заваленным всякими редкостями, он, казалось, искал чего-то глазами.

— Что вам нужно? — спросил старик.

— Какой-нибудь инструмент, чтобы надрезать кожу и выяснить, оттиснуты или вделаны эти буквы.

Старик подал свой стилет незнакомцу, который взял его и попытался надрезать кожу в том месте, где были написаны буквы; но когда он снял тонкий слой кожи, буквы вновь появились, совершенно отчетливые, совершенно совпадающие с теми же, которые были отпечатаны на поверхности, и ему на мгновение показалось, что кожа совершенно цела.

— Левантское производство владеет тайнами, известными только ему одному, — сказал он, взглянув на восточное изречение с каким-то беспокойством.

— Да, — ответил старик, — лучше винить людей, чем бога. Таинственные буквы были расположены следующим образом:

لومكنتنى ملكت آلكت
ولكن عرك ملكى
واراد الله هكذا
اطلب وستننال مطالبك
ولكن قسن مطالبك على عرك
وهي هاهنا
فبكل مرامك استسفرل أيامك
أتريد في
الله عجيبك
آمين

Что означало:

Если ты обладаешь мною, ты будешь обладать всем. Но жизнь твоя будет принадлежать мне. Богу угодно так. Желай, и твои желания будут исполнены. Но соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она — здесь. При каждом желании я буду убывать, как твои дни. Желает ли меня? Бери. Бог тебе внемлет. Да будет так.

— А! вы бегло читаете по-санскритски, — сказал старик. — Быть может, вы путешествовали по Персии или в Бенгалии?

— Нет, сударь, — ответил молодой человек, с любопытством ощупывая эту символическую кожу, по своей малой гибкости довольно похожую на металлический лист.

Старый торговец опять поставил лампу на колонну, откуда он ее снял, бросив на молодого человека взгляд с оттенком холодной иронии, как бы говоривший: „Теперь он больше не собирается умирать“.

— Это шутка? Или тайна? — спросил молодой незнакомец.

Старик покачал головой и сказал серьезным тоном:

— Не сумею вам ответить. Грозную силу, даруемую этим талисманом, я предлагал людям, видимо одаренным большей энергией, нежели ваша; но, посмеиваясь над загадочным влиянием, какое она должна иметь на их будущие судьбы, никто не захотел рискнуть заключить договор, столь роковым образом предлагаемый неведомой мне властью. Я согласен с ним, я усомнился, я воздержался, и...

— И вы даже не попытались? — прервал его молодой человек.

— Попытаться! — ответил старик. — Если бы вы стояли на Вандомской колонне, попытались ли бы вы броситься в воздух? Можно ли остановить бег жизни? Мог ли когда-нибудь человек разделить смерть на доли? Прежде чем войти в этот кабинет, вы приняли решение покончить с собой; но вдруг вас начинает занимать эта тайна и отвлекает вас от смерти. Дитя! Всякий ваш день разве не предложит вам загадку, более занимательную, чем вот эта? Послушайте меня. Я видел беспутный двор регента. Как вы, я был тогда в нищете, я просил милостыню; тем не менее я достиг возраста в сто два года и стал миллионером: несчастье подарило мне состояние, невежество научило меня. Открою вам в немногих словах великую тайну жизни человеческой. Человек истощает себя двумя инстинктивно выполняемыми действиями, благодаря которым иссякают источники его существования. В двух глаголах выражены все формы этих двух причин смерти: желать и мочь. Между этими двумя пределами человеческой деятельности существует иная формула, коей обладают мудрецы, которой я обязан счастьем и моим благоденствием. Желать нас сжигает, а мочь нас разрушает; но знать дает нашему слабому организму возможность пребывать в постоянном состоянии спокойствия. Итак, желание или хотение мертво во мне, убитое мыслью; движение или мощь разрешилось в естественной игре моих органов. Коротко говоря, я сосредоточил свою жизнь не в сердце, которое может быть раз-

бито, не в чувствах, которые притупляются, но в мозгу, который не изнашивается и переживает все. Никакое излишество не измяло ни моей души, ни тела. Между тем я обзрел весь мир. Мои ноги попирали высочайшие горы Азии и Америки, я изучил все языки человеческие, жил при всяких правительствах. Я ссужал деньги китайцу, взяв в залог труп его отца. Я спал в палатке араба, доверившись его слову, я подписывал договоры во всех европейских столицах и без боязни оставлял свое золото в вигваме дикарей; наконец, я добился всего, ибо я сумел всем пренебречь. Моим единственным честолюбием было — видеть. Видеть — не значит ли это: знать?... А знать, молодой человек, не значит ли это: непосредственно наслаждаться? Не значит ли это открывать самую субстанцию совершающегося и обладать самым ее существом? Что остается от обладания материального? Только мысль. Судите же, сколь прекрасна должна быть жизнь человека, который, имея силу запечатлеть в своей мысли все реальности, в свою душу переносит источники счастья и извлекает из них тысячу идеальных наслаждений, очистив их от всех земных скверн. Мысль есть ключ ко всем сокровищницам, она одаряет вас радостями скупца, но без его забот. Так я парил над миром, где мои наслаждения всегда были радостями умственными. Мои оргии заключались в созерцании морей, народов, лесов, гор! Я все узрел, но спокойно, не зная усталости; я никогда ничего не желал, я всего ожидал. Я прогуливался по вселенной, как по саду своего имения. Что люди зовут печалью, любовью, честолюбием, неудачей, огорчением, — все это для меня — мысли, превращаемые мною в мечтания; вместо того, чтобы их ощущать, я их выражаю, я их истолковываю вместо того, чтобы позволить им пожирать мою жизнь, я превращаю их в драму, я сообщаю им развитие; я забавляюсь ими как романами, которые я как бы читаю своим внутренним зрением. Никогда не утомляя своих органов, я пользуюсь еще крепким здоровьем. Моя душа унаследовала все силы, не истраченные мною, моя голова снабжена лучше, чем мои склады.

Здесь, — сказал он, ударяя себя по лбу, — вот здесь настоящие миллионы. Я провожу свои дни восхитительно, устремляя взгляд разума в прошлое; я вызываю целые страны, ландшафты, виды океана, образы, исторически прекрасные! У меня воображаемый сераль, где я владею всеми женщинами, которыми я не владел. Часто я вновь вижу ваши войны, ваши революции, и размышляю о них. О! как предпочесть лихорадочное, поверхностное восхищение каким-нибудь телом той или иной окраски, какими-

нибудь формами более или менее округлыми; как предпочесть все бедствия ваших обманутых желаний — этой высокой способности заставить вселенную являться мне, беспредельному наслаждению движения без опутывающих уз времени, без помех пространства, наслаждению все обнять, все видеть, наклониться над краем мира и вопрошать другие сферы, и внимать богу? Здесь — сказал он громким голосом, указывая на шагреновую кожу, — соединены мочь и желать. Тут ваши социальные идеи, ваши чрезмерные желания, ваша невоздержанность, ваши радости, которые убивают, ваши скорби, которые заставляют жить слишком напряженной жизнью; ибо боль, может быть, есть не что иное, как неистовое наслаждение. Кто мог бы определить ту точку, где сладострастие становится болью, и ту, где боль остаётся еще сладострастием? Живейшие лучи мира идеального не ласкают ли взора, нежнейший мрак мира физического не ранит ли его постоянно? Мудрость не от знания ли происходит? И что есть безумие, как не избыток желания или могущества?

— Так вот, я хочу жить не зная меры! — сказал незнакомец, хватая шагреновую кожу.

— Остерегайтесь, молодой человек! — воскликнул старик с невероятной живостью.

— Я посвятил свою жизнь науке и мысли; но они даже не прокормили меня, — отвечал незнакомец. — Не хочу быть обманутым ни вашей проповедью, достойной Сведенборга, ни вашим восточным амулетом, ни сострадательными усилиями, направляемыми вами, сударь, к тому, чтобы удерживать меня в этом мире, где мое существование более невозможно. Посмотрим! — добавил он, конвульсивно сжимая талисман в руке: — хочу обеда царственно роскошного, вакханалии, достойной века, в котором, говорят, все усовершенствовалось! Пусть мои собутыльники будут юны, остроумны и лишены предрассудков, веселы до сумасшествия! Пусть сменяются вина, одно другого крепче, искрометнее, пусть будут в силах опьянить нас на три дня! Пусть эта ночь будет украшена пылкими женщинами! Хочу, чтобы бред и вопль наслаждения увлек нас на колеснице с четырьмя конями за пределы мира и сбросил нас на берегах неведомых! Пусть души всходят на небеса или ныряют в грязь. Не знаю, возносятся ли они тогда или опускаются. Не все ли равно? Итак, я приказываю этой мрачной силе слить для меня все радости воедино. Да, мне нужно обнять все наслаждения земли и неба последним объятием, и умереть от него. Желая я также и

античных приапей после пьянства и песен, пробуждающих мертвецов, и тройных поцелуев, неисчислимых поцелуев, чтобы звук их пронесся над Парижем как треск пожара, разбудил бы супругов, внушил бы им жгучий пыл, молодой всех, даже семидесятилетних!

Взрыв смеха, вырвавшийся из уст старичка, раздался в ушах молодого безумца подобно адскому гаму, остановив его столь деспотически, что он умолк.

— Вы думаете, — сказал торговец, — половицы у меня сейчас расступятся, пропуская роскошно убранные столы и гостей с того света? Нет, нет, безрассудный молодой человек. Вы подписали договор, этим все сказано. Теперь все ваши желания будут выполняться в точности за счет вашей жизни. Круг ваших дней, очерченный этой кожей, будет сжиматься соответственно силе и числу ваших желаний, от самого легкого до самого непомерного. Брамин, которому я обязан этим талисманом, объяснил мне некогда, что таинственная связь установится между судьбами и желаниями его владельца. Ваше первое желание пошло, я мог бы его удовлетворить; но я предоставляю заботиться об этом событиям вашего нового существования. В конце концов, вы хотели умереть? Что же? Ваше самоубийство только отложено.

Удивленный, почти раздраженный тем, что этот странный старик, чьи полуфилантропические намерения обнаружили в этой последней насмешке, повидимому продолжал глумиться над ним, незнакомец воскликнул:

— Посмотрим, изменится ли моя судьба в течение того времени, пока я буду пересекать набережную. Но если вы не смеетесь над несчастным, желаю, во имя мщения за столь роковую услугу, чтобы вы влюбились в танцовщицу. Вы поймете тогда счастье кутежа и, может быть, расточите все блага, которые вы берегли столь философически.

Он вышел, не услышав тяжкого вздоха старика, миновал залы лавки и спустился по лестнице этого дома, в сопровождении толстого, полнощекого приказчика, который напрасно пытался посветить ему; он бежал с поспешностью вора, пойманного на месте преступления. Ослепленный каким-то бредом, он даже не заметил невероятной податливости шагреновой кожи, которая стала мягкой как перчатка, свернулась в его неистовых пальцах и смогла поместиться в кармане его фрака, куда он сунул ее почти машинально. Стремительно бросившись из двери лавки на улицу, он столкнулся с тремя молодыми людьми, которые шли рука об руку.

— Скотина!

— Дурак!

Таковы были изысканные приветствия, которыми они обменялись.

— Эх! Да это Рафаэль.

— Здорово, а мы-то тебя искали.

— Как, это вы?

Эти три дружественные фразы последовали за бранью тотчас же, как-только свет раскачиваемого ветром фонаря упал на лица изумленной группы.

— Милый друг, — сказал Рафаэлю молодой человек, которого он едва не сбил с ног, — ты пойдешь с нами.

— В чем дело?

— Двигайся, по дороге я тебе расскажу.

Волей или неволей, но Рафаэль был окружен друзьями, которые, приковав его под руки к своему веселому кругу, повлекли его к Мосту Искусств.

— Милый мой, — продолжал оратор, — уже целую неделю мы разыскиваем тебя. В твоей почтенной гостинице Сен-Кантэн, на которой — замечу мимоходом — всё та же неизменная вывеска с буквами поочередно красными и черными, как во времена Жан-Жака Руссо, твоя Леонарда сказала нам, что ты уехал за город. Между тем, право же, мы не имели вида людей, пришедших по денежным делам, судебных приставов, заимодавцев или понятых при коммерческом суде и тому подобное. Но не беда! Растиньяк накануне приметил тебя в итальянской опере, мы приободрились, для нас стало вопросом самолюбия установить, не засел ли ты где-нибудь на дереве в Елисейских полях, не отправился ли ночевать за два су в одно из тех благотворительных учреждений, где нищие спят, опершись на натянутые веревки; или, может быть, тебе повезло, и ты раскинул свой бивак в каком-нибудь будуаре. Нигде мы не встретили тебя, ни в списках заключенных в тюрьму Сен-Пелажа, ни среди арестантов в Ла Фор. Министерства, Опера, монастырские дома, кафэ, библиотеки, списки префектов, бюро журналистов, рестораны, театральные фойе — словом, все имеющиеся в Париже места хорошие и дурные мы подвергли ученому обследованию, мы оплакивали потерю человека, одаренного достаточным гением, чтобы с равным основанием оказаться при дворе и в тюрьме. Мы поговаривали о том, не канонизировать ли тебя, как героя июльской революции! И, честное слово, мы жалели о тебе.

В это время Рафаэль проходил со своими друзьями, не слушая их, по Мосту Искусств и смотрел на Сену, в шумных водах которой отражались огни Парижа. Над этой рекой, куда так недавно хотел он броситься, испол-

нялись предсказания старика, час смерти его был отсрочен судьбою.

— И мы жалели о тебе по-настоящему! — продолжал его друг развивать ту же тему. — Дело идет об одной комбинации, в которую мы включили тебя в качестве человека высшего порядка, то-есть такого, который умеет не считаться ни с чем. Фокус, благодаря которому конституционный орех исчезает из-под королевского кубка, продлевается нынче, милый мой, с большей торжественностью, чем когда бы то ни было. Позорная монархия, свергнутая народным героизмом, была женщиной дурного поведения, с которой можно было посмеяться и попить; но отечество — супруга, сварливая и добродетельная, хочешь — не хочешь, принимай ее размеренные ласки. Ведь ты знаешь, власть перешла из Тюильри к журналистам так же, как бюджет переехал в другой квартал — из Сен-Жерменского предместья в Шоссэ д'Антэн. Но вот чего ты, может быть, не знаешь! Правительство, т.-е. банкирская и адвокатская аристократия, составляющая теперь отечество так же, как священники некогда составляли монархию, почувствовало необходимость проводить добрый народ французский новыми словами и старыми идеями, по образцу философов всех школ и сильных людей всех времен. Итак, дело идет о том, чтобы внедрить в нас взгляды по-королевски национальные, доказав, что люди гораздо счастливее, платя тысячу двести миллионов тридцать три сантима отечеству, в лице его представителей — господ такого-то и такого-то, чем платя тысячу сто миллионов девять сантимов королю, который вместо мы говорил я. Словом, основывается газета во всеоружии добрых двух или трех сотен тысяч франков, в целях создания оппозиции, способной удовлетворить неудовлетворенных, без особого вреда для национального правительства короля-гражданина. И вот, раз мы смеемся над свободой столько же, сколько над деспотизмом, над религией так же, как над неверием, раз для нас отечество, это — столица, где идеи поступают в обмен и в продажу по столько-то за строку, где каждый день приводит собою вкусные обеды и многочисленные зрелища, где кишат беспутные прелестницы, где ужины оканчиваются только назавтра, где любовь сдается напрокат по часам, как городские экипажи; раз Париж всегда будет самым пленительным из всех отечеств, отечеством радости, свободы, ума, хорошеньких женщин, негодаев, доброго вина, и отечеством, где жезл правления никогда не даст себя слишком почувствовать, потому что мы здесь возлещем, у кого он в руках; мы истинные последователи бога

Мефистофеля, подрядились перекрашивать общественное мнение, переодевать актеров, прибавать новые доски к правительственному бараку, подносить лекарства доктринарам, подогреть старых республиканцев, подновлять бонапартистов, снабжать провиантом центр, но с тем, чтобы нам было позволено смеяться *in petto* ¹⁾ над королями и народами, по вечерам не держаться утреннего мнения, вести веселую жизнь по образу Панурга или *more orientali* ²⁾ возлежа на мягких подушках. Бразды правления этого макаронического и шуточного царства предназначили мы тебе; а посему мы ведем тебя немедленно на обед, который дает основатель вышепоименованной газеты, банкир на покое, который, не зная, что ему делать с его золотом, хочет разменять его на остроумие. Ты будешь принят там как брат, мы провозгласим тебя королем-мыслителем фрондёров, которых ничто не страшит, чья прозорливость открывает намерения Австрии, Англии или России прежде, чем Россия, Англия или Австрия возымеют какие бы то ни было намерения! Да, мы назначаем тебя верховным повелителем тех умственных сил, которые поставляют миру Мирабо, Талейранов, Питтов, Меттернихов, наконец, всех тех ловких Криспенов, которые играют друг с другом на судьбы государства так же, как простые смертные играют в домино на рюмку киршвассера. Мы выдали тебя за самого страшного борца, когда-либо схватывавшегося в рукопашную с тем удивительным беспутевым чудищем, с которым хотят сразиться все смелые умы; мы утверждали даже, что ему не удавалось еще тебя победить. Надеюсь, ты не разуверишь его в наших похвалах. Тайфер, наш амфитрион, обещал нам затмить жалкие сатурналии наших крохотных современных Лукуллов. Он достаточно богат, чтобы придать величие пустякам, элегантность и изящество — пороку. Слышишь, Рафаэль? — прерывая свою речь, спросил оратор.

Да, — ответил молодой человек, менее дивившийся исполнению своих желаний, чем тому, как естественно сцеплялись события.

Хотя для него возможно было уверовать в магическое влияние, он изумлялся случайностям человеческой судьбы.

— Но ты произносишь да таким тоном, точно думаешь о смерти своего дедушки, — заметил ему один из соседей.

— Ах! — ответил Рафаэль с оттенком такой наивности, что эти писатели, надежда молодой Франции, рассмеялись. — Я ду-

¹⁾ Втайне.

²⁾ По восточному способу.

мал, друзья мои, что мы на пути к тому, чтобы стать большой руки плутами! До сих пор мы творили беззаконие между двумя выпивками, взвешивали жизнь в пьяном виде, оценивали людей и события, переваривая пищу. Девственники на деле, мы были дерзки на слова; но заклеянные теперь раскаленным железом политики, мы отправляемся на великую каторгу, чтобы там утратить наши иллюзии. Когда веришь уже в одного дьявола, тогда разрешается оплакивать юношеский рай, время невинности, когда мы набожно протягивали язык патеру, чтобы принять от него святое тело господина нашего Иисуса Христа. Ах! добрые мои друзья, если нам доставляло такое удовольствие совершать наши первые грехи, так это потому, что у нас были еще угрызения совести, чтобы их украсить и придать им остроты и смаку; тогда как теперь...

— О! теперь — вставил первый собеседник — нам остается...

— Что? — спросил другой.

— Преступление...

— Вот слово, высокое как виселица и глубокое как Сена, — заметил Рафаэль.

— О! ты меня не понял... Я говорю о преступлениях политических. С самого сегодняшнего утра я завидую одной только жизни заговорщиков. Не знаю, доживет ли эта моя фантазия до завтра; но сегодня вечером, при мысли о бледной жизни нашей цивилизации, однообразной как рельсы на железной дороге, за сердце хватает отвращение! Я охвачен страстью к невзгодам московского отступления, к волнениям Красного Корсара, к жизни контрабандистов. Раз нет больше во Франции монахов картезианцев, я жажду, по крайней мере, Ботани-Бея, лазарета для маленьких лордов Байронов, которые скомкали жизнь как салфетку после обеда и которым делать больше нечего, разве только поджечь свою страну, застрелиться, учинить республиканский заговор или требовать войны...

— Эмиль, — с жаром сказал собеседнику сосед Рафаэля, — честное слово, не будь июльской революции, я сделался бы священником, чтобы пожить животной жизнью где-нибудь в деревенской глуши, и...

— И ты каждый день читал бы требник?

— Да.

— Хвастун.

— Читаем же мы газеты.

— Недурно для журналиста! Но замолчи, мы проходим посреди толпы подписчиков. Журнализм, видишь ли, это — религия современного общества, но тут достигнут прогресс.

— Каким образом?

— Первосвященники не обязаны верить, и народ не больше того.

Продолжая беседу в этом духе, подобающем добрым малым, которые давно уже изучили „*De viris illustribus*“¹⁾, они подошли к особняку на улице Жубер.

Эмиль был журналист, праздностью завоевавший себе славу большую, чем та, что приносят другим их успехи. Смелый критик, живой и язвительный, он обладал всеми достоинствами, какие связаны были с его недостатками. Откровенный, насмешливый, он бросал тысячу эпиграмм в лицо другу, которого заочно защищал смело и честно. Он смеялся над всем, даже над своим будущим. Вечно нуждаясь в деньгах, он, как все люди не лишенные способностей, пребывал погруженным в невыразимую лень, в одном метком слове бросая целую книгу в лицо господам, которые не умели ни одного меткого слова включить в свои книги. Щедрый на обещания, которых он никогда не выполнял, он сделал себе из своей удачи и славы подушку, чтобы покойнее спать, рискуя таким образом на старость проснуться в богадельне. К тому же, друг верный до плахи, фанфарон до цинизма, простой как ребёнок, он работал только по внушению прихоти или по нужде.

— Мы, следуя выражению метра Алкофрибаса, заполучим славный кусочек веселого мяса, — сказал он Рафаэлю, указывая на ящики с цветами, которые наполняли лестницу зеленью и благоуханием.

— Люблю, когда сени хорошо натоплены и убраны богатыми коврами. Роскошь, начинающаяся с самого перистилия, это — редкость во Франции. Здесь я чувствую, что возрождаюсь.

— А там наверху мы выпьем и посмеемся еще разок, бедный мой Рафаэль, о да! — продолжал он. — Надеюсь, мы будем победителями и пройдемся по всем этим головам.

И насмешливым жестом он указал на гостей; они входили в гостиную, блиставшую огнями, где их тотчас же встретили молодые люди, наиболее выдающиеся во всем Париже. Один из них только-что обнаружил новый талант и соперничал своею первой картиной с славными именами времен империи. Другой отважился накануне на книгу, полную свежести, проникнутую своего рода литературным презрением, которая открывала перед современной школой новые пути. Далее скульптор, лицо которого, исполненное суровости, свидетельствовало о мужественном гении, разговаривал с одним

¹⁾ „О знаменитых мужах“, — сочинение Петрарки.

из тех холодных насмешников, которые, смотря по обстоятельствам, то нигде не хотят видеть превосходства, то признают его повсюду. Здесь остроумнейший из наших карикатуристов со взглядом лукавым и язвительным языком подстерегал эпиграммы, чтобы передать их штрихами карандаша. Там тот молодой и смелый писатель, который лучше, чем кто бы то ни было, извлекал квинт-эссенцию из политических мыслей и умел низвести до крайности дух какого-либо плодовитого писателя, разговаривал с тем поэтом, чьи писания упразднили бы все творения прошлых времен, если бы его талант имел силу его ненависти. Оба старались не говорить правды и не лгать, обращаясь друг к другу со сладкими, льстивыми словами. Знаменитый музыкант насмешливым голосом в *si bé-mol'*е утешал молодого политика, который недавно упал с трибуны, не причинив себе никакого вреда. Молодые писатели без стилия стояли рядом с молодыми писателями без идей, прозаики, полные поэзии, рядом с прозаическими поэтами. Видя эти несовершенные существа, бедный сенсимонист, достаточно наивный для того, чтобы верить в свою доктрину, милосердно сводил их, желая без сомнения превратить их в монахов своего ордена. Наконец, здесь находились два—три ученых, имевших назначение подпускать азоту в беседу, и несколько водевилистов, всегда готовых излучать те эфемерные блески, которые, подобно искрам алмаза, не светят и не греют. Несколько парадоксалистов, втихомолку посмеиваясь над господами, которые принимают близко к сердцу свое презрительное или восторженное отношение к людям и вещам, уже занимались той обоюдоострой политикой, при помощи которой они вступают в заговор против всех систем, не становясь сторонниками ни одной из них. Мудрый судия, ничему не удивляющийся, сморкающийся среди каватины в итальянской опере, кричащий там браво прежде всех, возражающий тем, кто предупредил его суждение, был уже здесь, стараясь приписать себе словечки остроумных людей. Среди этих гостей, у пятерых была будущность, десятку суждено было добиться кое-какой пожизненной славы; что до прочих, они могли, как любая посредственность, повторить знаменитую ложь Людовика XVIII: единение и забвение. У амфитриона была озабоченная веселость человека, который расходует две тысячи экю. По временам его взор нетерпеливо обращался к дверям залы, с призывом к тому из гостей, кто заставлял себя ждать. Вскоре появился толстый человечек, который был встречен лестным шумом голосов; это был нотариус, который в то самое утро завершил создание газеты. Одетый

в черное лакей открыл двери просторной столовой, куда все двинулись без церемоний, чтобы отыскать свои места за огромным столом. Прежде чем покинуть гостиную, Рафаэль бросил на нее последний взгляд. Его желание, конечно, исполнилось вполне. Ковры из шелка и золота покрывали апартаменты. При свете богатых канделябров с бесчисленным количеством свечей блестили мельчайшие детали золоченого фриза, тонкая чеканка бронзы и роскошные краски мебели. Редкие цветы в жардиньерках, художественно сплетенных из бамбука, изливали сладостное благоухание. Всё, вплоть до драпировок, дышало не бьющим в глаза изяществом; наконец, во всем сказывалась поэтическая грация, очарование которой должно было действовать на воображение бедняка.

— Сто тысяч ливров дохода — премилый комментарий к катехизису. Они нам чудесно помогают приводить мораль в действие! — сказал он со вздохом. — О да, моя добродетель больше не ходит пешком. Для меня порок, это — мансарда, потертое платье, серая шляпа зимой и долги швейцару... Ах! Хочется пожить на лоне этой роскоши год, шесть месяцев, не все ли равно и потом умереть. По крайней мере, я изведаю, выпью до дна, поглощу тысячу жизней!

— О! — сказал ему слушавший его Эмиль, — карету менялы ты принимаешь за счастье. Поверь, скоро тебе наскучит богатство, ты заметишь, что оно похищает у тебя случай стать выдающимся человеком. Между бедностью богатства и богатством бедности колебался ли когда-нибудь художник? Не необходима ли постоянно борьба таким, как мы? Итак, приготовь твой желудок, взгляни, — сказал он, указывая героическим жестом на величественный, трижды святой и успокоительный вид столовой блаженного капиталиста. — Не потрудился ли, — продолжал он, — этот человек над собиранием денег поистине только для нас? Не вид ли это губки, пропущенной натуралистами в ряду полипов, которую пора потихоньку выжимать, прежде чем ее высосут наследники? Разве лишены стили, по-твоему, барельефы, украшающие стены? А люстры, а картины, — что за роскошь, какой вкус! Если верить завистникам и тем, кто претендует на знание пружин жизни, этот человек убил во время революции одного немца и еще несколько человек, как говорят — своего лучшего друга и мать этого друга. Можешь ли ты найти место для преступлений под седеющими волосами этого почтенного Тайфера? У него вид добрейшего человека. Посмотри, как искрится серебро, и неужели каждый блестящий луч для него это — удар кинжала?.. Оставь, пожалуйста! Так можно

бы поверить и в Магомета. Если права публика, то — вот тридцать людей сердечных и талантливых приготавливаются съесть внутренности и выпить кровь целой семьи; а мы оба молодые люди, полные чистосердия и энтузиазма, мы станем соучастниками преступления! Мне хочется спросить у нашего капиталиста, честный ли он человек...

— Не теперь! — воскликнул Рафаэль, — а когда он будет мертвецки пьян; сначала пообедаем.

Два друга со смехом уселись. Сначала каждый из гостей взглядом быстрее слова заплатил свою дань восхищения роскошному виду длинного стола, белого как только-что выпавший снег, на котором симметрически возвышались приборы, увенчанные золотистыми хлебцами. Хрусталь отражал цветы ириса своими звездными отблесками, огни свечей бесконечно скрещивались, поставленные под серебряными колпаками блюда заостряли аппетит и любопытство. Слов почти не произносилось. Соседи обменивались взглядами. Лакеи предлагали мадеру. Потом во всей славе своей появилось первое блюдо; оно оказало бы честь блаженной памяти Камбасэрэсу и Брийля. Саварэн прославил бы его ¹⁾.

Вина бордоские и бургундские, белые и красные, подавались с королевской щедростью. Эту первую часть пиршества можно было бы во всех отношениях сравнить с экспозицией классической трагедии. Второе действие оказалось немножко болтливым. Каждый из гостей благоразумно выпил, меняя вина соответственно своим капризам, так что, когда уносили остатки этого великолепного блюда, уже начались бурные споры; кое-где бледные лбы покраснели, иные носы уже становились пурпуровыми, лица загорались, глаза заискрились. В течение этой зари опьянения разговор не вышел еще из границ приличия; но шутки и остроты мало-помалу стали срываться со всех уст; потом злословие тихонько подняло свою змеиную головку и заговорило подобным флейте голосом; кое-кто из людей скрытных внимательно прислушивался, надеясь сохранить здравый ум. Второе блюдо обрело умы уже вполне согретыми. Каждый ел и говорил, говорил и ел, пил, не остерегаясь обилия жидкостей, — так они были вкусны и душисты, так заразителен был пример. Тайфер решился оживить гостей и приказал двинуть жестокие вина ронские, горячащее токайское, хмельной старый руссильон. Сорвавшись как кони почтовой кареты, тронувшиеся со станции, подстегиваемые искорками шампанского,

¹⁾ Первый — канцлер Наполеона I, прославившийся своим гурманством; второй — автор сочинения „Физиология вкуса“ (1825 г.).

нетерпеливо ожидавшегося, зато обильно налитого, они пустили свой ум галопировать в пустоте тех рассуждений, которым никто не внимает, принялись рассказывать истории, не находящие себе слушателей, сто раз задавали вопросы, так и остающиеся без ответа. Одна только оргия развернула всю силу своего голоса, составленного из сотни слитных криков, нараставших как Россиниевы крешендо. Потом появились лукавые тосты, шарлатанство, вызовы. Все стремились прославиться объемом не умственных своих способностей, но бочек, боченков и чанов. Казалось, что каждый владел двумя голосами. Настал момент, когда господа заговорили все разом, и слуги улыбнулись. Но эта смесь слов, где парадоксы, сомнительно блистающие, истины, шутовски одетые, сталкивались сквозь крики, доказательства, высшие приговоры и глупости, как посреди сражения скрещиваются ядра, пули и картечь, — она, без сомнения, заинтересовала бы иного философа особенностью мыслей, или захватила бы политика причудливостью систем. Это была разом — и картина и книга. Философии, религии, моральные учения, как ни были бы они различны под различными широтами, правительства, наконец все великие деяния разума человеческого — пали под косою, столь же длинною, как коса. Времени, и, быть может, вы с затруднением могли бы решить, в чьих руках — в руках ли опьяневшей эта коса Мудрости или у мудрого Опьянения, ставшего ясно-видящим. Уносимые подобием бури, эти умы, как море, бьющееся об утесы, хотели, казалось, поколебать все законы, между которыми плавают цивилизации; они выполняли, сами того не зная, волю бога, давшего в природе место добру и злу и лишь для самого себя хранящего тайну их постоянной борьбы. Яростный и шутовской спор был в своем роде шабашем разума. Между печальными шутками, которые были высказаны этими детьми революции при рождении газеты, и суждениями, которые высказывали радостные пьяницы при рождении Гаргантюа, можно было найти всю пропасть, отделяющую XIX век от XVI-го. Тот смеясь подготавливал разрушение, наш смеялся среди развалин.

— Как фамилия вот того молодого человека? — спросил нотариус, указывая на Рафаэля. — Мне послышалось, его называют Валантен...

— Что вы там поете о каком-то Валантене! — воскликнул Эмиль смеясь. — Рафаэль де Валантен, прошу вас. На гербе у нас начертан золотой орел в серебряной короне, с клювом и когтями красного цвета, с прекрасным девизом: *non cecidit animus!* Мы не подкидыш, но по-

томок императора Валента, родоначальника всех Валантинуа, основателя городов Валанса французского и Валенсии испанской, законного наследника Восточной империи. Если мы позволяем царить в Константинополе Махмуду, так это по нашей доброй воле и за недостатком денег и солдат.

Эмиль вилокю описал в воздухе корону над головою Рафаэля. Нотариус задумался на минуту и затем снова принялся пить, сделав выразительный жест, которым он, казалось, признавал, что ему невозможно причислить к своей клиентуре: города Валенсии, Константинополь, Махмуда, императора Валента и род Валантинуа.

— Разрушение этих муравейников, именуемых „Вавилон“, „Тир“, „Карфаген“ или „Венеция“, раздавленных ногами прохожего великана, — не предупреждение ли оно, даруемое человеку насмешливым властелином? — сказал Клод Виньон, подобие раба, купленного, чтобы изображать Боссюэ по десять су за строчку.

— Моисей, Сулла, Людовик XI, Ришельё, Робеспьер и Наполеон, может быть, все они — один и тот же человек, вновь появляющийся в различных цивилизациях, как комета на небе, — ответил некий балланшист ¹⁾.

— Зачем испытывать провидение? — сказал Каналис фабриканту баллад.

— Ну вот еще! Провидение! — воскликнул, прерывая его, знаток. — Ничего на свете не знаю я более растяжимого.

— Но Людовик XIV погубил больше народу при рытье водопроводов Ментенон, чем Конвент ради справедливого разложения податей, ради установления единства законов, национализации Франции и равного дележа наследств, — говорил Массоль, молодой человек, ставший республиканцем потому, что не доставало одного слога перед его фамилией.

— Кровь вы принимаете за вино, — ответил ему Моро, крупный собственник с Уазы, — на этот раз, по крайней мере, оставите ли вы всем голову на плечах?

— Разве это обязательно? Принципы порядка социального не стоят ли нескольких жертв?

— Биксиу! Слышишь! Эта республиканская штука полагает, что голова того помещика сойдет за жертву! — сказал молодой человек своему соседу.

— Люди и события — ничто, — продолжал республиканец развивать свою теорию, невзирая на икоту; — только в политике и в философии есть принципы и идеи.

¹⁾ Пьер Симон Балланш — мыслитель эпохи Бальзака.

— Что за ужас! Без всякого огорчения будете вы убивать ваших друзей ради единого если?..

— Э, человек, у которого угрызения совести, — настоящий преступник, ибо он имеет некоторое представление о добродетели; тогда как Петр Великий, герцог д'Альба, это — системы, а корсар Монбарт, это — организация.

— А не может ли общество обойтись без ваших систем и ваших организаций? — сказал Каналис.

— О, разумеется! — воскликнул республиканец.

— От вашей дурацкой республики меня тошнит! Нельзя спокойно разрезать каплуна и не найти там аграрного закона.

— Твои принципы превосходны, набитый трюфелями маленький мой Брут! Только ты напомнил мне моего лакея: этот дурак так жестоко одержим манией опрятности, что, позволь я ему чистить мое платье на свой лад, мне пришлось бы ходить голым.

— Все вы скоты! Вам угодно зубной щеточкой чистить нацию, — отвечал господин, преданный республике. — Повашему, правосудие опаснее воров.

— Эге! — отозвался адвокат Дерош.

— Как они скучны со своей политикой! — сказал Кардо, нотариус. — Закройте дверь. Нет знания и нет добродетели, которые бы стоили капли крови. Попробуй мы произвести ликвидацию истины, и, может быть, она окажется банкротом.

— А! Конечно, гораздо дешевле забавлять нас злом, чем порицая наставлять на благо. Поэтому все речи, произнесенные с трибуны за сорок лет, я отдал бы за форель, за сказку Перро или набросок Шарлэ.

— Вы вполне правы!.. Передайте-ка мне спаржу... Ибо, в конце концов, свобода родит анархию, анархия приводит к деспотизму, а деспотизм возвращает к свободе. Миллионы существ погибли, не сумев добиться торжества ни одной из своих систем. Разве это не порочный круг, в котором вечно будет вращаться нравственный мир? Когда человек думает, что он добивался совершенства, он на самом деле сделал только перестановку.

— Ого! — вскричал Кюрс, водевилист, — тогда, господа, объявляю тост за Карла X — отца свободы!

— Почему же нет? — сказал Эмиль. — В законах — деспотизм, в нравах — свобода, и наоборот.

— Итак, выпьем за глупость власти, которая дает нам столько власти над глупыми! — сказал банкир.

— Э, милый мой, Наполеон, по крайней мере, оставил нам славу, — кричал морской офицер, никогда не выходявший дальше Бреста.

— Ах! Слава — товар невеселый. Стоит дорого, сохраняется плохо; не эгоизм ли она великих людей так же, как счастье — эгоизм глупцов?

— Должно быть, вы очень счастливы...

— Кто первый придумал рвы, без сомнения, был слабым человеком, ибо от общества прибыль только жалким людям. Поместившись на противоположных краях мира нравственного, дикарь и мыслитель равно ужасаются собственности.

— Мило! — вскричал Кардо. — Не будь собственности, как могли бы мы совершать акты?

— Вот горошек, до фантастичности восхитительный!

— И священника нашли мертвым на его постели на следующую день...

— Кто говорит о смерти?.. Не шутите с нею. У меня дядюшка.

— И, без сомнения, вы покорны необходимости его потерять.

— Об этом и вопроса нет.

— Слушайте, господа!.. Способ убить своего дядюшку. Тсс! (Слушайте, слушайте!). Возьмите сначала дядюшку, толстого и жирного, семидесятилетнего по меньшей мере, это лучшие дядюшки (сенсация). Заставьте его под каким-нибудь предлогом съесть паштет из жирных печёнок.

— Э! мой дядя — высок, сух, скуп и трезв.

— Ах! Эти дядюшки — чудовища, злоупотребляющие жизнью.

— И, — продолжал господин с дядюшками, — и во время пищеварения объявите ему о несостоятельности его банкира.

— А если выдержит?

— Дайте ему хорошенькую девочку.

— А если он?.. — сказал другой, делая отрицательный знак.

— Тогда это не дядюшка. Дядюшка, это по существу своему живец.

— Голос Малибран потерял две ноты.

— Нет.

— Да.

— Ого! Да и нет, — разве это не история всех рассуждений, религиозных, политических и литературных? Человек — канатный плясун, танцующий над пропастью.

— Послушать вас, я — дурак?

— Наоборот, это потому, что вы меня не слушаете.

— Образование — великолепный вздор. Господин Гейнефеттермах насчитывает свыше миллиарда отпечатанных томов, а жизнь человеческая позволяет прочесть их только сто пятьдесят тысяч. В таком случае объясните мне, что

значит слово — образование. Для одних образование состоит в знании имени лошади Александра и в пренебрежении к именам тех, кому мы обязаны сплавкой леса или фарфором. Для других быть образованным — значит суметь сжечь завещание, жить человеком честным, любимым, чтимым, но отнюдь не в том, чтобы повторно украсть часы при пяти отягчающих вину обстоятельствах и отправиться среди ненависти, но без чести, умирать на Гревской площади.

— Останется ли Натан?

— Ах! его сотрудники не лишены ума.

— А Каналис?

— Это великий человек. О нем больше ни слова.

— Вы пьяны!

— Немедленное следствие конституции — опошление умов. Искусства, науки, памятники — все поглощено ужасным чувством эгоизма, нашей теперешней проказой. Триста ваших буржуа, сидя на скамьях, будут думать только о посадке тополей. Деспотизм нелегально совершает великие деяния, свобода не дает себе труда легально совершить хотя бы самые малые.

— Ваше взаимное обучение фабрикует из мяса человеческого монеты по сто су, — прервал абсолютист. — Индивидуальность исчезает у народа, сведенного к одному уровню образованием.

— Однако, не в том ли состоит цель общества, чтобы каждого обеспечить благосостоянием? — спросил сенсимонист.

— Если бы у вас было пятьдесят тысяч ливров дохода, вы и думать не стали бы о народе. Или вы охвачены прекрасной страстью к человечеству? Отправляйтесь на Мадагаскар: там вы найдете маленький, свеженький народец, сенсимонизируйте его, делите на классы, кладите в банку; а здесь всякий вполне естественно входит в свою ячейку, как гвоздь в свою дыру. Швейцарцы здесь — швейцарцы, и глупцы — глупцы, и для производства в это звание не нуждаются в коллегиях святых отцов.

— Вы карлист!

— А почему бы и нет? Я люблю деспотизм, он возвещает некое презрение к расе человеческой. У меня нет ненависти к королям. Они так забавны! Сесть на трон в комнате в тридцати миллионах лье от солнца, это что-нибудь да значит?

— Резюмируем в общих чертах ход цивилизации, — гсворил ученый, который для наставления невнимательного скульптора пустился в рассуждения о начале общества и о первобытных народах. — При зарождении наций сила была некоторым образом, материальной, единой, грубой; впослед-

ствии, с возрастанием агрегаций, произошли правительства при посредстве более или менее ловких перемещений элементов первоначальной власти. Так, в глубокой древности, сила была в теократии; жрец держал меч и кадильницу. Позже появляются два вида жречества: первосвященник и царь. Ныне наше общество, последнее слово цивилизации, распределило власть соответственно числу комбинаций, и мы пришли к силам, именуемым промышленностью, мыслью, деньгами, словом. Власть, не имея более единства, шествует безостановочно к разделению социальному, кроме интереса, не имеющего иного предела. Таким образом, мы не опираемся ни на религию, ни на материальную силу, но на разум. Равноценна ли книга мечу? Рассуждение — действию? Вот где проблема.

— Разум все убил! — вскричал карлист. — Абсолютная свобода ведет нации к самоубийству, в самом торжестве своем они скучают как англичанин-миллионер.

— Что нового скажете вы нам? Нынче вы высмеяли все власти, и это такая же пошлость, как отрицать бога. У вас нет более оправданий. И вот наш век похож на старого султана, пропадающего от распутства! Наконец, ваш лорд Байрон, в последнем поэтическом отчаянии, стал воспевать страсть преступления.

— Знаете, — отвечал ему совершенно пьяный Бьяншон, — большая или меньшая доза фосфора делает человека гением или злодеем, умницей или идиотом, добродетельным или преступным.

— Можно ли так трактовать о добродетели! — вскричал Кюрси: — о добродетели, сюжете всех театральных пьес, развязке всех драм, основе всех трибуналов.

— Молчи, пожалуйста, животное. Добродетель по-твоему Ахиллес без пятки! — сказал Биксиу.

— Пить!

— Хочешь держать пари, что я выпью бутылку шампанского в один прием?

— Умный прием! — вскричал Биксиу.

— Они перепились как ломовые, — сказал молодой человек, с серьезным видом поивший свой жилет.

— Да, правление состоит теперь в искусстве заставить царить общественное мнение.

— Мнение! Но это ведь порочнейшая из проституток! Послушать вас, господа моралисты и политики, постоянно нужно бы предпочитать ваши законы природе и мнение — совести. На деле все истинно, все ложно. Если общество дало нам пух для подушек, оно, конечно, возместило это

благоденствие подагрой, и оно завело также судебный процесс, дабы умерить правосудие, — и простуду также, как последствие кашемировых шалей.

— Чудовище! — сказал Эмиль, прерывая мизантропа. — Как можешь ты злословить цивилизацию в присутствии вин и блюд, столь восхитительных, когда и подбородок твой за столом. Кусай эту козулю с золочеными ногами и рогами, но не кусай своей матери...

— Чем же я виноват, если католицизм доходит до того, что в мучной мешок сажает тысячу богов, если республика кончается всегда каким-нибудь Наполеоном, если королевская власть находится между убийством Генриха IV и осуждением Людовика XVI, если либерализм становится Лафайетом?

— Разве вы не обнимались с ним в июле?

— Нет.

— Тогда молчите, скептик.

— Скептики — люди самые совестливые.

— У них нет совести.

— Что вы говорите! У них, по крайней мере, две совести.

— Взять на учет само небо! Вот, сударь, идея поистине коммерческая. Религии древние были счастливым развитием наслаждения физического; но мы, нынешние, мы развили душу и надежду; в том и прогресс.

— Ах, друзья мои, чего можете вы ожидать от века, насыщенного политикой? — сказал Натан. — Какова была судьба „Истории короля богемского и семи его замков“, этого восхитительного замысла?

— Что? — через весь стол крикнул знаток. — Да это пустые фразы, наудачу вытасканные из шляпы, настоящее сочинение для сумасшедшего дома.

— Глупец!

— Дурак!

— Ого!

— Ага!

— Они будут драться.

— Нет.

— До завтра, милостивый государь.

— Хоть сейчас, — ответил Натан.

— Ну, ну! Вы оба — храбрые.

— Да вы-то не храбры! — сказал зачинщик.

— Только они не могут уже стоять на ногах.

— Ах! Может быть, мне и не устоять, — ответил воинственный Натан, поднимаясь нерешительно, как бумажный змей.

Он бросил на стол тупой взгляд; потом, точно обессиленный этой попыткой, упал назад на стул, склонил голову и умолк.

— Не забавно ли было бы, — сказал знаток своему соседу, — драться мне из-за произведения, которого я совсем не видал и не читал.

— Эмиль, береги фрак, твой сосед побледнел, — сказал Биксиу.

— Кант? Еще шар, пущенный на забаву глупцам! Материализм и спиритуализм, это — отличные две ракеты, которыми шарлатаны в мантиях отбивают тот же волан. Бог ли во всем, по Спинозе, или все исходит от бога, по святому Павлу... дурачье! Открыть или закрыть дверь — не то же ли самое движение! Яйцо от курицы или курица от яйца?.. Передайте — ка мне утку!.. Вот и вся наука.

— Ах ты простак, — крикнул ему ученый, — вопрос, тобой поставленный, разрешен фактом.

— Каким?

— Разве кафедры профессорские были сделаны для философии, а не философия для кафедры? Надень очки и почитай бюджет.

— Воры!

— Дураки!

— Плуты!

— Тупицы!

— Где, кроме Парижа, найдете вы обмен мыслей столь живой, столь быстрый? — вскричал Биксиу, переходя на низкие тона.

— Ну, Биксиу, представь нам какой-нибудь классический фарс! Шарж, пожалуйста.

— Представить вам XIX век?

— Слушайте!

— Замолчите!

— Сурдину вам на рожу!

— Будешь ты молчать, китаец!

— Дайте ему вина, и пусть молчит мальчишка!

— Очередь за тобой, Биксиу.

Артист застегнул до верху свой черный фрак, надел желтые перчатки и, скосив глаза, соорудил гримасу, представляя „Revue des Deux Mondes“; но шум покрывал его голос, невозможно было уловить ни единого слова из его насмешки. Если он не сумел представить века, то, по крайней мере, представил журнал, потому что и сам себя не понимал.

Десерт был сервирован точно волшебством. Весь стол был покрыт огромным подносом из золоченой бронзы, вышедшей из мастерской Томира. Высокие фигуры, которым знаменитый

художник придавал формы, считающиеся в Европе идеально-красивыми, поддерживали на себе и несли целые леса клубники, ананасов, свежих фиников, желтого винограду, светлых персиков, апельсинов, прибывших на пакеботе из Сетубаля, гранат, плодов из Китая — словом, всяческие сюрпризы роскоши, чудеса печения, деликатесы самые лакомые, лакомства самые соблазнительные. Цвета этих гастрономических картин стали еще ярче от блеска фарфора, от искрящихся золотом полосок, от изгибов ваз. Мох, изящный как бахрома океанических растений, зеленый и легкий, увенчивал севрские копии пейзажей Пуссена. Целое княжество немецкое не оплатило бы этого наглого богатства. Серебро, перламутр, золото, хрусталь опять предстали под новыми формами; но отяжелевшие очи и многословная лихорадка пьянства едва позволили гостям вынести хотя бы смутное понятие об этой достойной восточных сказок феерии. В десертных винах появились благоухания и огоньки, пронзительные любовные зелья, волшебные пары, порождающие подобие умственных миражей, чьи могучие пути сковывают ноги, отягощают руки. Пирамиды плодов были расхищены, голоса грубели, шум рос. Больше уже не было отчетливых слов, стаканы полетели в дребезгах, жестокий хохот вырывался как ракеты. Кюрс схватил рог и принялся трубить сбор. То был как бы сигнал, поданный дьяволом. Сборище в бреду завывало, засвистало, запело, закричало, заревело, зарычало. Вы улыбнулись бы, увидев, что веселые по природе люди стали мрачны как развязки Кребильона, задумчивы как моряки в карете. Люди тонкие рассказывали свои тайны любопытным, не слушавшим их. Меланхолики улыбались как танцовщица, кончая пируэт. Клод Виньон раскачивался как медведь в клетке. Близкие друзья готовы были драться. Написанные на человеческих лицах и столь любопытно обнаруженные физиологами звериные подобию смутно начинали обнаруживаться в жестах и положениях тел. Какой-нибудь Биша, будь он трезвым и спокойным, нашел бы здесь готовую книгу. Хозяин дома, чувствуя себя пьяным, не отваживался встать, но неизменной гримасой он одобрял излишества гостей, стараясь сохранить вид приличный и гостеприимный. Его широкое лицо, ставшее красным и синим, почти лиловым, ужасным на вид, принимало участие в общем движении, но в усилиях своих оно клонилось как при боковой и килевой качке брига.

— Вы их убили? — спросил его Эмиль.

— Смертная казнь, говорят, будет уничтожена в честь июльской революции, — ответил Тайфер, подняв брови с видом одновременно хитрым и глупым.

— Но не видели ли вы их порою во сне? — настаивал Рафаэль.

— Давность уже исполнилась! — сказал убийца, набитый золотом.

— И на его гробнице, — вскричал Эмиль тоном язвительным, — содержатель кладбища вырежет: Прохожие, в память о нем пролейте слезу!.. О! — продолжал он, — сто су заплатил бы я математику, который алгебраическим уравнением доказал бы мне существование ада.

Он бросил монету в воздух, крикнув:

— Орел за бога!

— Не глядите! — сказал Рафаэль, подхватывая монету; — почем знать! Случай — такой шутник.

— Увы! — продолжал Эмиль с печально-шутовским видом, — не вижу, где поставить ногу между геометрией безбожника и „отче наш“ — папы. Впрочем, выпьем! Тринк! — Таков ведь оракул божественной бутылки, что заключает „Пантагрюэля“.

— Чему же, как не „отче наш“, — отвечал Рафаэль, — обязаны мы нашими искусствами, памятниками, может быть науками и — большее еще благодеяние — нашими современными правительствами, которых общество, обширное и плодоносное, чудесным образом представило в лице пятисот умов, чьи противоположные друг другу силы взаимно уравновешены, предоставляя всю власть цивилизации, гигантской королеве, заменившей короля, образ древний и ужасный, подобие лжесудьбы, сотворенной человеком между небом и им самим. Перед лицом стольких исполнившихся событий атеизм оказывается скелетом, который не порождает ничего. Что ты на это скажешь?

— Думаю о потоках крови, пролитых католицизмом, — холодно сказал Эмиль. — Он овладел нашими жилами и сердцами, чтобы сделать поддельный потоп. Но что делать! Всякий мыслящий человек должен идти под хоругвью Христа, он один освятил торжество духа над материей, он один поэтично открыл нам мир посредствующий, который отделяет нас от бога.

— Ты веришь? — спросил Рафаэль, бросая ему неопределенную улыбку пьяного. — Ладно, чтобы нам себя не скомпрометировать, провозгласим знаменитый тост: неизвестным богам.

И они опустошили свои чаши науки, угольного газа, благоухания, поэзии и неверия.

— Не угодно ли господам перейти в гостиную, там ждет кофе, — сказал дворецкий.

В этот момент почти все гости погрузились на лоно сладостного райского преддверия, где погасает свет духа, где тело, освободившись от своего тирана, предается бредовым радостям свободы. Одни, достигнув апогея опьянения, были омрачны, тягостно стараясь ухватить мысль, которая удостоверила бы им их собственное существование; другие, потонув в маразме, производимом отяжеленным пищеварением, отрицали движение. Неустрашимые ораторы произносили еще неясные слова, смысл которых ускользал от них самих. Кое-какие припевы еще звучали как шум механизма, принужденного довершать свою жизнь, выдуманную и бездушную. Молчание и шум сплелись причудливо. Тем не менее, услышав звучный голос слуги, который, за бессилием хозяина, возвещал им новые радости, гости поднялись, увлекаемые, поддерживаемые, даже несомые одни другими. И вся толпа остановилась на минуту на пороге двери, недвижимая и очарованная. Чрезмерные наслаждения пира побледнели перед тем возбуждающим зрелищем, которое предлагал амфитрион сладостнейшему из их чувств. Под искрившимися в золотой люстре свечами, вокруг стола, сгибавшегося под золоченым серебром, группа женщин предстала внезапно перед оцепевшими гостями, чьи глаза зажглись как бриллианты. Богаты были уборы, но еще богаче те ослепительные красоты, перед которыми исчезали все чудеса этого дворца. Страстные глаза дев, обаятельных как феи, несли в себе больше живости, чем потоки света, зажигавшие атласные отсветы обоев, белизну мраморов и нежные выпуклости бронзы. Сердце пылало при виде контрастов в их волнующихся прическах и позах, совершенно различных по своей привлекательности и характеру. То была изгородь из цветов в перемежку с рубинами, сапфирами и кораллами; цепь черных ожерелий на снежных шеях, легких шарфов, развевающихся как пламя маяков, горделивых тюрбанов, туник, бросающих вызов своею скромностью. Этот сераль всем очам открывал обольщения, всем прихотям — сладострастие. В восхитительной позе танцовщица, казалось, была без покровов под волнистыми складками кашемира. Там прозрачный газ, здесь переливающийся шелк скрывали или обнаруживали таинственные совершенства. Узенькие ножки говорили о любви, уста, свежие и алые, молчали. Хрупкие и скромные юные девушки, поддельные девы, чьи прелестные волосы дышали религиозной невинностью, предстали взору как видения, которые можно развеять одним дуновением. Потом красоты аристократические, с видом гордым, но беспечные, но слабые, худые, грациозные, склонили головы, точно было им еще что продавать из коро-

левских протекций. Англичанка, белый и целомудренный, воздушный образ, сошедший с облаков Оссиана, походила на ангела меланхолии, на голос совести, бегущей преступления. Парижанка, вся красота которой—в ее неопишущей грации, гордая своим туалетом и умом, во всеоружии всемогущей слабости, гибкая и твердая, сирена бессердечная и бесстрастная, но умеющая искусственно создавать сокровища страсти и подделывать сердечные оттенки,—и она была на этом опасном собрании, где блистали также итальянки, спокойные с виду и совестливые в минуты блаженства, пышные нормандки с великолепными формами, южные женщины с черными волосами, с прекрасным разрезом глаз. Вы сказали бы, что созданные Лебелем версальские красавицы, с утра расставив все свои ловушки, как толпа восточных рабынь, явились сюда, разбуженные голосом купца, чтобы уйти отсюда на заре. Они остановились, смущенные и стыдливые, столпившись вокруг стола, как пчелы, гудящие внутри улья. Боязливое смущение, упрек и кокетство—всё вместе было расчетливым соблазном или невольной стыдливостью. Быть может, чувство, вполне никогда не обнажаемое женщиной, приказывало им закутаться в плащ добродетели, чтобы больше придать очарования и остроты щедро расточаемому пороку. Таким образом задуманный Тайфером заговор, казалось, должен был потерпеть неудачу. Необузданные мужчины сразу покорились царственному могуществу, которым облечена женщина. Шопот восхищения пронесся как нежнейшая музыка. В компании с пьянством не странствует любовь; вместо урагана страстей гости, захваченные в минуту слабости, отдались утехам сладостного экстаза. На зов поэзии, господствующей над ними всегда, артисты принялись с блаженным чувством изучать тонкие оттенки, отличавшие эти изысканные красоты. Философ, пробужденный мыслью, которая, может быть, возникла от выделяемой шампанским угольной кислоты, вздрогнул, подумав о несчастьях, которые привели сюда этих женщин, некогда достойных, может быть, самого чистого поклонения. У каждой из них, без сомнения, имелась для рассказа кровавая драма. Почти все они несли с собою адские муки, влачили за собой неверных мужчин, обманутые обещания, радости, купленные нуждой. Гости вежливо приблизились к ним, и завязались разговоры такие же разнообразные, как и характеры. Образовались группы. Вы сказали бы, что это—гостиная в порядочном доме, где молодые девушки и дамы предлагают гостям после обеда помощь в виде кофе, сахара и ликёров, облегчающих гастрономам упорный труд пищеварения. Но вскоре кое-где вспыхнул смех, шум стал возра-

стать, голоса повысились. Оргия, на время укрощенная, грозила вновь пробудиться. Эти смены молчания и шума были отдаленно похожи на симфонию Бетховена.

Как-только два друга сели на мягкий диван, к ним тотчас подошла высокая девушка, хорошо сложенная, превосходно себя держащая, с лицом довольно неправильным, но пронзающим, но стремительным, овладевающим душой при посредстве сильных своих контрастов. Ее черные волосы, прихотливо завитые, казалось, выдержали уже любовные поединки и рассыпались легкими прядями по ее широким плечам, открывавшим привлекательные для взора перспективы. Длинные темные локоны наполовину закрывали ее величественную шею, по которой временами скользил свет, обнаруживая тонкость красивейших контуров. На матово-бледной коже выступали в теплых тонах ее живые краски. Глаза, обрамленные длинными ресницами, метали смелое пламя, искры любви! Рот, красный, влажный, полуоткрытый, призывал к поцелую. У этой девушки была сильная, но любовно-упругая талия, грудь и руки, пышно развитые, как у красавиц Каррачо; тем не менее она производила впечатление проворной и гибкой, ее мощь заставляла предполагать в ней подвижность пантеры, мужественное изящество ее форм обещало пожирающее сладострастие. Хотя эта девушка умела, должно быть, смеяться и дурачиться, ее глаза и ее улыбка ужасали мысль. Подобная пророчицам, одержимым демоном, она скорее изумляла, чем нравилась. Различнейшие выражения толпами, как молнии, проходили по ее подвижному лицу. Может быть, она восхитила бы пресыщенных людей, но юноша устранился бы ее. То была колоссальная статуя, упавшая с верху какого-нибудь греческого храма, великолепная вдали, но грубоватая при близком рассмотрении. Тем не менее, своей разительной красотой она, должно быть, возбуждала бессильных, своим голосом чаровала глухих, своим взглядом оживляла старые кости; так Эмиль туманно сравнивал ее с трагедией Шекспира, восхитительным арабеском, где радость воет, где в любви есть что-то дикое, где магия изящества и огонь блаженства сменяются кровавыми мятежами гнева; с чудовищем, умеющим грызть и ласкать, хохотать как демон, плакать как ангел, в единое объятие включить все женские соблазны, кроме только вздохов меланхолии и чарующей скромности девы; потом через мгновение взречься, разорвать себе внутренности, сломить свою страсть и своего любовника; наконец, уничтожить самое себя, как это делает возмущившийся народ. Одетая в платье из красного бархата, она небрежно топтала цветы, уже упавшие с головы ее подруг

и надменным жестом подавала двум друзьям серебряный поднос. Гордая своей красотой, гордая, может быть, своими пороками, она показывала белую руку, живо обрисовавшуюся на бархате. Она была как бы королевой наслаждения, как бы образом человеческой радости, что расточает собранные тремя поколениями сокровища, смеется над трупами, издевается над предками, растворяет жемчуг, растопляет троны, делая юношей старцами, а часто и старцев — юношами; той радости, которая дозволена только великанам, утомленным властью, испытанным мыслью, и тем, для кого война стала игрой.

— Как тебя зовут? — спросил ее Рафаэль.

— Акилина.

— Ого! Ты из Спасенной Венеции! ¹⁾ — вскричал Эмиль.

— Да, — ответила она. — Папы, возвысившись над мужчинами, дают себе новое имя, так и я взяла себе новое, превзойдя всех женщин.

— И у тебя так же, как у твоей патронессы, есть благородный и грозный заговорщик, который тебя любит и сумеет за тебя умереть? — с живостью сказал Эмиль, возбужденный этой видимостью поэзии.

— Был такой, — ответила она. — Но гильотина стала моей соперницей. И вот я всегда вплетаю в свою прическу красный лоскуток, чтобы не зарваться в своей радости.

— О! разрешите ей только начать рассказывать историю четырех молодых людей из Ла-Рошель, — она никогда не кончит. Молчи лучше, Акилина! У каждой женщины есть любовник, о котором можно поплакать; не все только имели, как ты, счастье потерять его на эшафоте. Ах! лучше знать, что мой лежит в кламарской яме, чем в постели соперницы.

Эти фразы произнес нежный и мелодичный голос, принадлежавший хорошенькому, милому, невиннейшему созданию, какое только могло выйти из волшебного яйца под палочкой феи. Она подошла неслышными шагами и явила лицо нежное, талию тонкую, глаза голубые, восхитительные своей скромностью, лоб свежий и чистый. Стыдливая наяд, поднявшись из ручья, не более робка, бела и наивна, чем эта молоденькая девушка, которой по виду было шестнадцать лет, которой неведомо зло, неведома любовь, которая не узнала еще бури жизни и пришла из церкви, где она молила ангелов до срока призвать ее на небеса. Только в Париже встречаются эти создания с целомудренным лицом,

¹⁾ „The Venice Preserved“ — трагедия Томаса Отвея (Otway, 1651 — 1685).

скрывающие самую глубокую развращенность, самую утонченную порочность под челом столь чистым, столь нежным, как цветок маргаритки. Обманутые сперва небесными обещаниями, которые были начертаны в сладостных прелестях этой юной девушки, Эмиль и Рафаэль взяли кофе, налитый ею в чашки, поданные Акилиной, и принялись ее расспрашивать. Кончилось тем, что перед глазами обоих поэтов, при посредстве мрачной аллегии, она преобразила еще какой-то лик человеческой жизни, противопоставив жесткому и страстному выражению внушительной своей подруги, образ той испорченности, холодной, сладострастно-жестокой, которая достаточно легкомысленна, чтобы совершить преступление, достаточно сильна, чтобы посмеяться над ним; своего рода бессердечный демон, казнящий души богатые и нежные волнениями, которых сам лишен, всегда обретающий продажную любовную гримасу, слезы для похорон своей жертвы и радость для прочтения вечером ее завещания. Поэт восхитился бы прекрасной Акилиной; решительно все должны были бы бежать от трогательной Евфрасии; та была душою порока, эта — пороком без души.

— Желал бы я узнать, — сказал Эмиль этому хорошенькому созданию, — думаешь ли ты когда-нибудь о будущем.

— О будущем? — ответила она смеясь. — Что называете вы будущим? К чему мне думать о том, что еще не существует? Я не заглядываю ни вперед, ни назад. Не слишком ли для меня много думать и об одном дне целиком? А впрочем, будущее — нам оно известно: больница.

— Как можешь ты заранее видеть больницу и не стараться ее избежать? — воскликнул Рафаэль.

— А что же такого страшного в больнице? — спросила грозная Акилина. — Раз мы не матери, не жены, и раз старость дарит черные чулки нам на ноги, и морщины на лоб, вянет все, что есть женского в нас, сохнет радость во взоре наших друзей, что тогда будет нам нужно? Вместо нашего убранства будете вы видеть в нас одну лишь исконную грязь, как она идет на двух лапах, холодная, сухая, разложившаяся, и шелестит мертвыми листьями. Самые красивые наши лоскутья станут отрепьями, амбра, освежавшая будуар, примет запах смерти, завоняет скелетом; к тому же, если в этом навозе есть сердце, все вы оскорбите его: ведь вы не позволяете нам даже воспоминания. Для таких, какими мы станем в ту пору нашей жизни, не будет ли наше существование одним и тем же, ухаживай мы за собаками в богатом особняке или разбирай тряпье в больнице? Будем ли мы прятать наши седые волосы под платком с красными и

голубыми клетками, или под кружевами; будем мы подметать улицы березовым веником или тюильрийские ступеньки атласом; будем сидеть у золоченых каминов или греться у глиняного красного горшка с золой, будем ли на спектакле на Гревской площади или отправимся в оперу, — велика, подумаешь, разница!

— Aquilina mia, среди твоих отчаяний никогда еще ты не была так права, — подхватила Евфрасия. — Да, кашемиры и велены, духи, золото, шелк, роскошь, все, что блестит, все что нравится, идет только молодости. Время одно справится с нашими безумствами, а счастье — нам оправдание. Вы смеетесь над моими словами, — воскликнула она бросая ядовитую улыбку обоим друзьям; — а разве я не права? Лучше умереть от наслаждения, чем от болезни. У меня нет ни жажды вечности, ни большого уважения к роду человеческому, если посмотреть, что из него сделал бог! Дайте мне миллионы, я их проем, ни сантима не отложу на будущий год. Жить, чтобы нравиться и царить, — таков приговор, произносимый каждым биением моего сердца. Общество меня одобряет; не поставляет ли оно чего угодно моему мотовству? Зачем благой бог каждое утро дает мне доход с того, что я расходую каждый вечер? Зачем вы строите для нас больницы? Не для того ведь он поставил нас между добром и злом, чтобы выбирать, что несет нам рану, а что скуку, — так дура была бы я, если бы не позабавилась.

— А другие? — спросил Эмиль.

— Другие? Ладно, это их дело! По моему лучше посмеяться над их страданием, чем плакать над своим собственным. Пусть попробует мужчина причинить мне малейшую муку.

— Сколько же ты выстрадала, чтобы думать так? — спросил Рафаэль.

— Меня покинули из-за наследства, вот что! — сказала она, принимая позу, обнаруживавшую всю ее соблазнительность. — А между тем дни и ночи проводила я за работой, чтобы прокормить моего любовника. Не обманут меня больше ни улыбкой, ни обещаниями: я хочу сделать из своей жизни сплошное наслаждение.

— Но, — вскричал Рафаэль, — не из души ль приходит счастье?

— Ну хорошо, — подхватила Акилина, — а видеть, как тобой восхищены, как тебе льстят, а торжествовать над всеми женщинами, и даже самыми добродетельными, уничтожая их нашей красотой, нашим богатством, — это все пустяки? К тому же в один день мы переживаем больше, чем честная мещанка в десять лет. Вот и все.

— Не отвратительна ли женщина без добродетели? — сказал Эмиль Рафаэлю.

Евфрасия бросила на них взор ехидны и ответила с неподражаемым оттенком иронии:

— Добродетель! Предоставляем ее уродам и горбуньям. Что делать им, бедняжкам, без нее?

— Замолчи! — вскричал Эмиль. — Не говори о том, чего ты не знаешь.

— Что? Это я-то не знаю? — возразила Евфрасия. — Отдаваться всю жизнь ненавистному существу, учиться воспитывать детей, которые вас бросят, говорить им „спасибо“, когда они поражают вас в сердце, — вот добродетели, которые вы предписываете женщине; и вдобавок, чтобы возместить ей за самоотречение, вы налагаете на нее страдания, стараясь ее обольстить; если она устоит, вы ее скомпрометируете. Миленькая жизнь! Остаться вольной, любить тех, кто нравится, и умереть молодой — право, не хуже.

— И не боишься ты за все это когда-нибудь поплатиться?

— Ладно, — ответила она, — чем перемешивать наслаждения с печалью, я поделю мою жизнь на две части: определенно счастливая молодость и уж не знаю какая неопределенная старость, во время которой я настрадаюсь сколько влезет.

— Она не любила, — сказала Акилина, и тон голоса ее был глубок. — Никогда не делала она ста верст для того, чтобы с тысячью восторгов поглотить единый взор и отказ; никогда не привязывала своей жизни к единому волоску, не пробовала заколоть несколько человек, чтобы спасти своего повелителя, своего господина, своего бога. Для нее любовь — хорошенький полковник.

— А! Ла-Рошель! — ответила Евфрасия. — Любовь — как ветер, мы не знаем откуда он дует. Да и наконец если тебя любил зверь, ты станешь опасаться и умных людей.

— Уложение запрещает нам любить зверей, — иронически ответила величественная Акилина.

— Я считала, что ты снисходительнее к военным! — со смехом воскликнула Евфрасия.

— Ужели они счастливы, что могут отречься от разума! — вскричал Рафаэль.

— Счастливы? — сказала Акилина, с улыбкой жалости и ужаса бросая на двух друзей страшный взгляд. — Ах! Вы не знаете, что значит быть обреченной на наслаждение со смертью в сердце...

Взглянуть в этот момент на гостиную значило увидеть нечто подобное Пандемониуму Мильтона. Голубоватые

огоньки пунша окрашивали адским светом лица тех, кто еще мог пить. Безумные танцы, одушевленные дикой энергией, вызывали хохот и крики, вспыхивавшие как взрывы фейерверка. Усыпанные мертвыми и умирающими будуар и малая гостиная являли вид поля сражения. Атмосфера была горяча от вина, наслаждений и слов. Опынение, любовь, бред, забвение мира были в сердцах и на лицах, были написаны на коврах, выражались в беспорядке, и на все взоры набросили они легкие покровы, сквозь которые можно было в воздухе видеть опьяняющие пары. Как в проведенных солнечным лучом светлых полосах шевелилась блестящая пыль, сквозь которую играли формы самые прихотливые, движения самые чудные. Там и сям группы тел, брошенных одно на другое, сливались с белыми мраморами, с благородными шедеврами скульптуры, украшавшими комнаты. Хотя оба друга еще сохранили в своих мыслях и органах какую-то обманчивую ясность, последний трепет, несовершенное подобие жизни, они уже не могли различить, было ли что-нибудь реальное в странных фантазиях, было ли что-нибудь возможное в сверхъестественных картинах, которые беспрерывно проходили перед их утомленными глазами. Душное небо наших сновидений, жгучая сладость, в которую сжимаются их образы, и особенно какая-то подвижность, отягощенная цепями, наконец самые необычные явления сна с такою живостью охватили их, что забавы кутежа они приняли за причуды кошмара, где движение бесшумно и где крики не доходят до слуха. В это время лакей, пользовавшийся доверием хозяина, сумел, не без труда, извлечь его в прихожую и сказал ему на ухо:

— Барин, все соседи смотрят в окна и жалуются на шум.

— Если они боятся шума, пусть положат соломы перед дверями! — вскричал Тайфер.

Рафаэль расхохотался в это время так порывисто и неуместно, что друг спросил его о причине этой дикой радости.

— Трудно тебе будет понять меня, — ответил тот. — Прежде всего нужно бы признаться тебе, что вы остановили меня на Вольтеровой набережной в тот момент, когда я собирался броситься в Сену, и ты, конечно, захочешь узнать мотивы моей смерти. Но если бы я добавил, что по сказочной почти случайности поэтичнее руины материального мира сосредоточились перед моим взором, благодаря символическому толкованию человеческой мудрости, тогда как теперь остатки всех умственных сокровищ, разграбленных нами за столом, приводят нас к этим двум женщинам, живым и оригинальным

образам безумия, и что наша полная беспечность относительно людей и вещей послужила переходом к ярко окрашенным картинам двух систем бытия, диаметрально противоположных, — больше ли ты поймешь? Если бы ты не был пьян, ты увидел бы здесь философский трактат.

— Если бы у тебя обе ноги не лежали на этой восхитительной Акилине, храп которой имеет какую-то аналогию с ревом готовый разразиться бури, ты покраснел бы и за свой хмель, и за свою болтовню, — ответил Эмиль, который сам забавлялся тем, что сматывал и наматывал волосы Евфрасии, не слишком отдавая себе отчет в этом невинном занятии. — Твои две системы могут уместиться в одной фразе и сводимы к одной мысли. Жизнь, простая и механическая, заглушая наш разум работой, приводит к некоторой бесчувственной мудрости, тогда как жизнь, проходящая в пустоте абстракций или в пропастях мира нравственного, доводит до некоей мудрости безумной. Словом, убить чувства и дожить до старости, или умереть юным, приняв мученичество страстей, — вот наша участь. Добавлю, что этот приговор вступает в борьбу с темпераментами, которыми наделил нас жестокий шутник, заготовивший выкройки для всех созданий.

— Глупец! — воскликнул Рафаэль, прерывая его. — Если ты будешь и дальше так сокращать свои рассуждения, ты создашь целые томы! Если бы у меня была претензия формулировать эти две идеи точно, я сказал бы, что человек развращается от упражнений разума и очищается невежеством. Это значит судиться с обществом! Но живи мы с мудрецами, погибай мы с безумцами — результат, рано или поздно, будет не тот же ли самый? И вот великий извлекающий квинт-эссенции выразил некогда эти две системы двумя словами: Каримари, Каримара.

— Ты заставляешь меня усомниться во всемогуществе бога, ибо твоя глупость превышает его могущества, — ответил Эмиль. — Наш дорогой Раблэ выразил эту философию словом более кратким, чем Каримари, Каримара, словом: „Быть может“, откуда Монтэнъ взял свое: „Почем я знаю?“ Эти последние слова науки нравственной не суть ли то же самое, что восклицание Пиррона, который остановился между добром и злом, как Буриданов осел между двумя мерами овса. Оставим этот вечный спор, который и теперь кончается на да или нет. Что за опыт хотел ты проделать, бросаясь в Сену? Ты позавидовал гидравлической машине на мосту Нотр-Дам?

— Ах! если бы ты знал мою жизнь.

— Ах! — вскричал Эмиль, — я не считал тебя настолько вульгарным. Фраза избита. Разве ты не знаешь, что каждый из нас имеет претензию страдать сильнее других?

— Ах! — вздохнул Рафаэль.

— Это просто шутовство — твои ах! Ну скажи мне: душевная или телесная болезнь принуждает тебя каждое утро напрягать свои мускулы и приводить коней, которые вечером четвертуют тебя, как сделал некогда Дамьен? Или ты отведал сырой собаки без соли у себя на мансарде? Или твои дети кричали „хочу есть“? Продали ли ты волосы своей любовницы, чтобы итти в игорный дом? Или, указав фальшивое местожительство, ты заплатил по фальшивому векселю, трассированному фальшивым дядюшкой, да еще боялся опоздать? В чем дело? Я слушаю. Если ты бросался в воду из-за женщины, из-за опротестованного векселя, или от скуки, я отрекаюсь от тебя. Исповедуйся, не лги; мемуаров исторических я от тебя не требую. В особенности же будь краток, насколько позволит тебе хмель; я требователен как читатель и близок ко сну как женщина вечером за молитвенником.

— Дурачок! — сказал Рафаэль. — Давно ли скорби не служат свидетельством чувствительности? Когда мы достигнем такой ступени научного знания, что сможем написать естественную историю сердец, установить их номенклатуру, классифицировать их по родам, видам и семействам ракообразных, ископаемых, ящеровидных, микроскопических и... не знаю еще каких, — тогда, добрый друг, будет доказано, что существуют сердца нежные, хрупкие как цветы и как они ломающиеся от легкого прикосновения, которого даже не почувствуют иные сердца — минералы...

— О! Ради бога избавь меня от предисловий! — сказал Эмиль, с видом наполовину смеющимся, наполовину соболезнующим взяв руку Рафаэля.

II

ЖЕНЩИНА БЕЗ СЕРДЦА

Помолчав мгновение, Рафаэль сказал с каким-то жестом беспечности:

— Не знаю, право, не приписать ли парам вина и пунша ту ясность, с которою в эту минуту я в силах охватить всю мою жизнь, как одну картину с верно переданными фигурами, красками, тенями, светом и полутенью. Эта поэтическая игра моего воображения не удивляла бы меня, если бы она не сопровождалась своего рода презрением к моим былым страданиям и радостям. Если взглянуть издали, моя жизнь точно суживается от какого-то нравственного феномена. Та долгая и медленная скорбь, что длилась десять лет, теперь может быть передана несколькими фразами, в которых самая скорбь станет только мыслью, а наслаждение — философской рефлексией. Я высказываю суждения вместо того, чтобы чувствовать...

— Ты скучен как поправка, которая развивает свои доводы! — вскричал Эмиль.

— Возможно, — безропотно ответил Рафаэль. — Потому-то, чтоб не злоупотреблять твоими ушами, я избавлю тебя от первых семнадцати лет моей жизни. До этих пор я жил как ты, как тысячи других, той гимназической или лицейской жизнью, которая дает нам выдуманные несчастья и настоящие радости — отраду наших воспоминаний. Наша гастрономическая пресыщенность тоскует по тем овощам, которые подавали нам по пятницам, точно с тех пор мы их не пробовали. Прекрасная жизнь, ее трудности не достойны и упоминания, а между тем они приучили нас к труду...

— Переходи к драме, — сказал Эмиль полу-комически, полу-жалобно.

— Когда я кончил гимназию, — продолжал Рафаэль, жестом требуя не прерывать его, — мой отец принудил меня к суровой дисциплине, он поместил меня в комнате рядом

со своим кабинетом; я ложился в девять вечера, вставал в пять утра; он хотел, чтобы я добросовестно занимался правом; я ходил одновременно и на лекции, и к адвокату; но законы времени и пространства столь сурово прилагались к моим прогулкам и работам, и мой отец за обедом требовал с меня отчета столь строгого, что...

— Какое мне до этого дело? — прервал Эмиль.

— Ах! Чорт тебя возьми! — ответил Рафаэль. — Как поймешь ты мои чувства, если я не расскажу тебе о неприметных фактах, которые повлияли на мою душу, приучили ее к робости и надолго оставили меня юношески наивным? Так до двадцати одного года я сгибался под деспотизмом столь же холодным, как монашеский устав. Чтобы стало понятно тебе, как невесела была моя жизнь, достаточно будет, может быть, описать тебе моего отца: человек высокий, сухой и худощавый, с лицом как лезвие ножа, бледный, с речью отрывистой, сварливый как старая дева, мелочный как столоначальник. Над моими шаловливыми и веселыми мыслями реяла отцовская воля, покрывая их как бы свинцовым куполом; если я хотел выказать ему мягкое и нежное чувство, он встречал меня как ребенка, который сейчас скажет глупость; я страшился его гораздо больше, чем, бывало, боялись мы наших учителей; на его взгляд, мне было все еще восемь лет. Как сейчас вижу его перед собой. В своем каштанового цвета сертуке он держался прямо, как пасхальная свеча, и был похож на копченую селедку, которую завернули в красноватую обложку брошюры. И все-таки я любил отца; в сущности, он был справедлив. Быть может, в нас нет ненависти к суровости, когда она оправдана сильным характером, чистотою нравов и когда она искусно перемешивается с добротой. Если отец не отпускал меня с глаз, если до двадцатилетнего возраста он не предоставил в мое распоряжение и десяти франков, десяти канальских, десяти беспутных франков — огромное сокровище, тщетно желанное, обладание которым заставляло меня мечтать о несказанных утехах, он все-таки старался доставить мне кой-какие развлечения. Целыми месяцами обещая мне удовольствие, он водил меня в Буффон, на концерт, на бал, где я надеялся встретить любовницу. Любовница! То было для меня независимостью. Но застенчивый и робкий, не зная салонного языка, без всяких знакомств, я уходил оттуда с сердцем все еще нетронутым и все так же обуравемым желаниями. Потом, назавтра, взнузданный отцом как кавалерийский конь, я возвращался к своему адвокату, к праву и в суд. Желать сойти с однообразной дороги, пред-

начертанной отцом, значило подвергнуть себя его гневу; он грозил при первом же проступке юнгой отправить меня на Антильские острова. Зато и трепетал же я ужасным трепетом, когда мне случалось отважиться на какое-нибудь часовое или двухчасовое развлечение. Представь себе воображение самое бродяжническое, сердце влюбчивое, душу нежнейшую и ум поэтический — беспрерывно лицом к лицу с человеком, подобным кремню, с самым желчным и холодным человеком в мире; словом, молодую девушку выдай замуж за скелета, и поймешь существование, курьёзные сцены которого я могу только перечислить: проекты бегства, исчезавшие при виде отца, отчаяние, успокаиваемое сном, подавленные желания, мрачная меланхолия, рассеиваемая музыкой. Я изливал свое горе в мелодиях. Моими скромными наперсниками часто бывали Бетховен или Моцарт. Теперь я улыбаюсь, вспоминая о всех тех предрассудках, что смущали мою совесть в ту эпоху невинности и добродетели: если бы я ступил шаг к ресторатору, я почел бы себя разорившимся; мое воображение вынуждало меня смотреть на кафе как на место кутежа, где люди лишаются чести и отдают под заклад все свое благосостояние; а чтобы рискнуть деньгами в игре, нужно было их иметь. О! хотя мне пришлось бы усыпить тебя, я расскажу об одной из ужаснейших радостей моей жизни, о радости, вооруженной когтями, вонзающейся в наше сердце как раскаленное железо в плечо преступника. Я был на балу у герцога де-Наваррен, кузена моего отца. Но чтобы ты мог в совершенстве понять мое положение, надо добавить, что на мне был потертый фрак, скверно сшитые туфли, кучерской галстук и поношенные перчатки. Я забрался в угол, чтобы вдоволь лакомиться мороженым и любоваться хорошенькими женщинами. Отец заметил меня. По причине, которой я так и не угадал, — до того изумил меня этот акт доверия, — он отдал мне на хранение свой кошелек и ключи. В десяти шагах от меня играли. Я слышал как позвякивало золото. Мне было двадцать лет, мне хотелось провести целый день, погрузившись в преступления, свойственные моему возрасту. То было умственное распутство, подобия которому не найдешь ни в капризах куртизанок, ни в сновидениях юных девушек. Уже около года я мечтал, что вот я, хорошо одетый, сижу в экипаже рядом с красивой женщиной, разыгрываю знатного барина, обедаю у Вэри, иду вечером на спектакль, решившись возвратиться к отцу только на следующий день, но предварительно запасаясь для него рассказом более запутанным, чем интрига „Свадьбы Фигаро“, и в котором ему невоз-

можно распутаться. Все эти наслаждения я расценивал в пятьдесят экю. Не был ли я еще под наивным очарованием пропущенных уроков в школе? И вот я вошел в будуар, где один, с горящими глазами и дрожащими пальцами пересчитал деньги моего отца: сто экю! Вызванные этой суммой соблазны моего побега появились передо мной танцующие как ведьмы Макбета вокруг своего котла, только молящие, трепетные, восхитительные! Я превратился в окончательного плута. Не слушая как звенело у меня в ушах, как ускоренно билось сердце, я взял две двадцатифранковые монеты, которые вижу как сейчас! На них год был стерт и гримасничало лицо Бонапарта. Положив кошелек в карман, я вернулся к игорному столу, зажав две золотые монеты в потной ладони, и стал кружиться около игроков как коршун над курятником. Во власти невыразимой тоски, я быстро бросил пронзительный взгляд вокруг себя. Уверенный, что никто из знакомых меня не заметит, я приложил свои деньги к ставке толстенького весельчака, над головой которого я произнес больше молитв и обетов, чем в течение трех бурь произнесут их на море. Затем по инстинкту преступности или маккиавелизма, столь удивительному в мои годы, я пошел и стал у двери, смотря вдоль гостиных и никого в них не видя. Моя душа и мои взоры носились вокруг фатального зеленого сукна. К этому вечеру относится мое первое физиологическое наблюдение, которому я обязан подобием ясновидения, позволившего мне постигнуть некоторые тайны нашей двойственной природы. Я повернулся спиной к столу, где решалось мое будущее счастье, тем более глубокое, что оно было преступным; между двумя игроками и мною была стена людей, шириной в четыре или пять рядов зрителей; жужжание голосов мешало мне различить звон золота, смешивавшийся со звуками оркестра; несмотря на все эти препятствия, по привилегии, дарованной страстям, благодаря которой они способны уничтожить время и пространство, я ясно слышал слова обоих игроков, я постигал их игру, я знал игру того из них, который открыл короля, точно я видел карты; словом, в десяти шагах от игры, я бледнел от ее капризов. Вдруг отец прошел передо мной, и я понял тогда слова Писания: „Дух господень прошел перед лицом его!“ Я выиграл. Сквозь толпу, наседавшую на игроков, я протискался к столу, пробираясь с ловкостью угря, скользящего из сети через порванную петлю. Чувство подавленности сменилось радостью. Я был похож на осужденного, который, идя на казнь, встретил короля. Случилось так, что какой-то господин с орденом потребовал

недостающие сорок франков. Беспокойные взоры с подозрением обратились на меня, я побледнел, и капли пота покрыли мой лоб. Преступление кражи у отца, казалось мне, было вполне отомщено. Добрый толстяк сказал тогда голосом поистине ангельским: „Все эти господа ставили“, и заплатил сорок франков. Я поднял голову и бросил на игроков торжествующий взгляд. Положив обратно в кошелек отца взятое оттуда золото, я предоставил свой выигрыш этому достойному и честному человеку, который продолжал выигрывать. Как только я стал обладателем ста шестидесяти франков, я завернул их в носовой платок таким образом, чтобы они не могли ни шелохнуться, ни звякнуть на обратном пути домой, и больше не играл.

— Что делали вы у игорного стола? — сказал отец, садясь в фиакр.

— Смотрел, — ответил я с дрожью.

— Но, — продолжал отец, — не было бы ничего необыкновенного в том, если бы самолюбие принудило вас поставить сколько-нибудь на зеленое сукно. В глазах людей светских вы в таком возрасте, что в праве уже делать глупости. А потому, Рафаэль, я извинил бы вас, если бы вы воспользовались моим кошельком...

Я ничего не ответил. Когда мы вернулись, я подал отцу его ключи и деньги. Войдя в свою комнату, он высыпал содержимое кошелька на камин, пересчитал золото, обернулся ко мне с видом достаточно благосклонным и сказал, отделяя каждую фразу паузой, более или менее долгой и значительной:

— Сын мой, вам скоро двадцать лет. Я доволен вами. Вам нужно определенное содержание, хотя бы для того, чтобы научиться быть бережливым и понимать дела житейские. С этого вечера я буду вам выдавать сто франков в месяц. Располагайте этими деньгами по вашему усмотрению. Вот за первые три месяца этого года, — добавил он, поглаживая столбик золота как бы для того, чтобы проверить сумму.

Признаюсь, я готов был броситься к его ногам, объявить ему, что я разбойник, негодяй и, хуже того, лжец! Стыд удержал меня. Я хотел обнять его, он слабо отстранил меня.

— Теперь ты — мужчина, дитя мое, — сказал он мне. — Мой поступок прост и справедлив. Тебе не за что благодарить меня. Если я имею право на признательность вашу, Рафаэль, — продолжал он тоном мягким, но исполненным достоинства, — так это за то, что я предохранил вашу молодость от несчастий, которые губят молодых людей в Париже. Отныне мы будем друзьями. Через год вы станете доктором

прав. Не без известных лишений, не без некоторого не-удовольствия вы приобрели солидные познания и любовь к труду, столь необходимые людям, призванным управлять делами. Постарайтесь, Рафаэль, понять меня. Я хочу сделать из вас не адвоката, не нотариуса, но государственного мужа, который стал бы славой бедного нашего рода... До завтра!— добавил он, таинственным жестом отпуская меня.

С этого дня отец стал откровенно посвящать меня в свои планы. Я был единственным сыном; уже десять лет назад потерял я свою мать. Когда-то мало польщенный своим правом обрабатывать землю со шпагой на боку, мой отец, глава исторического рода, почти забытого в Оверни, прибыл в Париж попытать счастья. Одаренный тонким умом, который делает выдающимися уроженцев юга Франции, если только ум соединяется у них с энергией, он без особой поддержки добился некоторого положения в самом сердце власти. Революция вскоре расстроила его благосостояние; но он сумел жениться на наследнице богатого рода и во времена империи уже видел как восстанавливается старинный блеск нашего семейства. Реставрация, вернув моей матери значительные богатства, разорила моего отца. Когда-то скупив много земель, находившихся за границей, подаренных императором его генералам, он уже десять лет боролся с ликвидаторами и дипломатами, с судами прусскими и баварскими, чтобы было признано его оспариваемое право на эти злополучные владения. Отец бросил меня в безысходный лабиринт этого пространного процесса, от которого зависело наше будущее. Нас могли приговорить к возврату доходов, а также к уплате за порубки, сделанные с 1814 по 1817 год; в таком случае имений моей матери едва хватило бы на то, чтобы спасти честь нашего имени. Итак, в тот день, когда, казалось, отец даровал мне в некотором смысле свободу, я очутился под ярмом еще более нестерпимым. Я должен был сражаться как на поле битвы, работать ночь и день, посещать государственных людей, стараться обмануть их совесть, пытаться заинтересовать их в нашем деле, соблазнять их, их самих, их жен, их слуг, их псов и маскировать это ужасное ремесло формами изящными и шутками приятными. Я понял все горести, от которых поблекло лицо моего отца. Целый год я вел, по видимости, жизнь светского человека, но эта рассеянная жизнь и мое старание завязать связи с родственниками, бывшими в милости, или с людьми, которые могли быть нам полезны, таили в себе огромные труды. Моими развлечениями были все еще тяжбы и разговоры — докладные записки. До тех пор я был добродетель-

телен по невозможности предаться страстям молодости; но с этого времени, боясь какой-нибудь небрежностью разорить отца или самого себя, я стал собственным своим деспотом и не смел разрешить себе никакого удовольствия, никакого расхода. Пока мы молоды, соприкасаясь с нами, люди и обстоятельства еще не похитили у нас нежный цветок чувства, свежесть мысли, благородную чистоту совести, не позволяющую нам никогда вступать в сделки со злом, — мы чувствуем живо наши обязанности; честь говорит в нас громко и заставляет себя слушать; мы открытвенны и не нуждаемся в уловках; таким был я тогда. Я решил оправдать доверие своего отца; когда-то я с приятностью похитил бы у него жалкую сумму; но теперь, неся вместе с ним бремя его дел, его имени, его рода, я тайком отдал бы ему мои имения, мои надежды, как жертвовал для него моими наслаждениями, даже счастливый своей жертвой! Таким образом, когда г. де-Виллель нарочно для нас откопал императорский декрет о потере прав и разорил нас, я подписал акт о продаже даже моих имений, сохранив себе только не имеющий ценности остров на Луаре, где была могила моей матери. Теперь, быть может, у меня не оказалось бы недостатка в аргументах, уловках, рассуждениях философских, филантропических и политических, которые удержали бы меня от того, что мой поверенный назвал глупостью; но в двадцать один год, повторяю, мы — одно великодушие, одна пылкость, одна любовь. Слезы, которые я увидел на глазах моего отца, были для меня тогда прекраснейшим из богатств, и воспоминание об этих слезах часто было утешением в моей нищете. Через десять месяцев после расплаты со своими кредиторами, мой отец умер от горя; он обожал меня и разорил меня! Мысль об этом убила его. В 1826 году, имея двадцать два года, в конце осени я совершенно один сопровождал гроб моего первого друга, моего отца. Не много есть молодых людей, которые очутились бы со своими мыслями за похоронными дрогами, затерянные в Париже, без будущего и состояния. Для сирот, подобранных общественной благотворительностью, есть, по крайней мере, будущее в виде поля битвы, отец — в виде правительства или королевского прокурора, убежище — в виде приюта. У меня не было ничего! Через три месяца комиссар-оценщик вручил мне тысячу сто двенадцать франков, чистый остаток от ликвидации отцовского наследства. Кредиторы принудили меня продать нашу движимость. Привыкнув с юности высоко ценить предметы окружавшей меня роскоши, я не мог не выразить удивления при виде столь скудного остатка.

— О! — сказал мне комиссар, — все это было очень уж рококо!

Ужасное слово, от которого поблекли все верования моего детства и исчезли первые, самые дорогие из всех иллюзии. Мое состояние заключалось в описи проданного, мое будущее лежало в полотняном мешечке, содержащем в себе тысячу сто двенадцать франков, представителем общества был пристав-оценщик, разговаривавший со мной, не снимая шляпы... Обожавший меня слуга, которому моя мать назначила когда-то пожизненную пенсию в четыреста франков, Ионафан, сказал мне, покидая дом, откуда так часто в детстве я выезжал в карете:

— Будьте очень бережливы, сударь.

И он плакал, добрый человек.

Таковы, милый мой Эмиль, события, что господствовали над моей судьбой, образовали мою душу и поставили меня еще юношей в самое ложное социальное положение, — произнес Рафаэль после паузы. — Семейственные связи, но слабые, соединяли меня с иными богатыми домами, куда доступ возбранила бы мне моя гордость, если бы презрение и безразличие уже не закрыли передо мною двери. Родственник особ очень влиятельных и щедро покровительствовавших чужим, я остался без родных и без покровителей. Беспредостанно встречая препятствия своей откровенности, душа моя замкнулась сама в себе. Откровенный и непосредственный, я должен был казаться холодным и скрытным; деспотизм моего отца лишил меня всякого доверия к себе; я был робок и неловок, я не верил, что мой голос будет иметь малейшую силу, я был сам себе противен, считал себя уродом, стыдился своего взгляда. Вопреки внутреннему голосу, который должен поддерживать людей талантливых в их борениях, который кричал мне: „Смелей! Вперед!“, вопреки внезапным обнаружениям силы в моем одиночестве, вопреки надежде, воодушевлявшей меня при сравнении новых сочинений, вызвавших восторг публики, с теми, что реяли в моей мысли, — как ребенок сомневался я в себе. Я был жертвою исключительного честолюбия, считал себя предназначенным для великих дел и пребывал в ничтожестве. Я ощущал потребность в людях и оказывался без друзей. Я должен был пробить дорогу в свете и оставался один скорее от стыда, чем от боязни. В течение года, когда я был брошен отцом в вихрь большого света, я посещал его с сердцем нетронутым, с душою свежою. Как все взрослые дети, я тайно вздыхал о прекрасной любви. Среди молодых людей моего возраста я встретил целую секту фанфаронов, которые

ходили подняв голову, болтали о пустяках, бестрепетно подсаживались к женщинам наиболее недоступным, жеманились, срамили самых хорошеньких женщин, уверяли, что им доступна любая постель, делали вид, что они отказываются от наслаждения, смотрели на женщин самых добродетельных и благоразумных как на легкую добычу, готовую отдаться с первого же слова, от чутью смелого жеста, от первого бесстыдного взгляда! Говорю тебе от всей души и по совести, что завоевать себе власть или крупное литературное имя казалось мне победою менее трудной, чем добиться успеха у женщины высокого положения, молодой, умной и изящной. И вот смятение моего сердца, мои чувства, мои верования были в разногласии с правилами общества. Смелость у меня была, но только в душе, а не в обхождении. Позже я узнал, что женщинам не нравится попрошайничанье; я видал много таких, кого я обожал издали, кому я отдал бы свое сердце на любое испытание, душу на любую муку, отдал бы волю, без боязни ни жертв ни страданий; а они отдавались дуракам, которых я не взял бы и в швейцары. Сколько раз, немой и недвижимый, с восхищением видел я, как женщина моих мечтаний является на бал; мысленно посвящая мою жизнь вечным ласкам, все надежды свои выражал я в едином взоре, в экстазе предлагал я ей свою юношескую любовь, бегущую навстречу обманам. В иные минуты жизнь свою я отдал бы за одну ночь. И что же? Не было ушей, готовых выслушать мои страстные признания, не было взглядов, которые дали бы покой моим взглядам, не было сердца для моего сердца, и я жил в мучениях бессильной энергии, пожиравшей самое себя, по недостатку ли смелости или случая, или по неопытности. Я отчаивался в том, поймут ли меня, или дрожал от мысли, что меня слишком поймут. А между тем я готов был разразиться бурей при первом же любезном взгляде, обращенном на меня, и несмотря на мою готовность принять этот взгляд или слова, внешне благосклонные, за зов нежности, я никогда не смел ни заговорить, ни умолкнуть кстати. Из-за силы чувства слова у меня были незначительны, а молчание становилось глупым. Конечно, я слишком был наивен для того искусственного общества, которое живет для виду, выражает свои мысли условными фразами или словами, продиктованными модой. Затем я совсем не умел молча говорить и красноречиво молчать. Наконец, хотя я таил в себе опаляющее меня пламя, хотя моя душа подобна была тем душам, которые жаждут встречи женщины, была одержима той экзальтацией, которой они так жаждут,

хотя я полон был энергии, которой хвалятся глупцы, — все женщины были со мной предательски жестоки. И вот наивно восхищался я теми, кто в дружеском разговоре славил свои победы, и не подозревал их во лжи. Конечно, я был неправ, ожидая любви наслово, желая найти великую и мощную — в сердце женщины фривольной и пустой, алчной до роскоши, пьяной суетою — ту широкую страсть, тот океан, что бурно бился в моем сердце. О! чувствовать себя рожденным для любви, чтобы сделать счастливою женщину, и никого не найти, даже смелой и благородной Марселины, даже старой какой-нибудь маркизы! Нести в котомке сокровища и не встретить ребенка или любопытной юной девушки, которые полюбовались бы ими! Часто хотел я убить себя с отчаяния.

— Как ты сегодня трагичен! — воскликнул Эмиль.

— Ах! не мешай мне осуждать мою жизнь, — ответил Рафаэль. — Если твоя дружба не в силах выслушивать мои элегии, если ты не можешь одолжить мне полчаса скуки, тогда усни! Но не требуй отчета в моем самоубийстве. Оно ропщет, становится на дыбы, зовет меня, и я приветствую его. Чтобы судить о человеке, по крайней мере, надо войти в тайну его мысли, его несчастий, его волнений; узнавать только внешние события его жизни, значит писать хронологические таблицы — историю глупцов!

Горький тон, которым были произнесены эти слова, столь живо поразил Эмиля, что с этого мгновения он отдал Рафаэлю все свое внимание, смотря на него с оступелым видом.

— Но — продолжал рассказчик — свет, окрашивающий все эти события, придает им новый вид. Тот порядок вещей, на который я некогда смотрел как на несчастье, быть может, породил прекрасные способности, которыми позже я возгордился. Философская любознательность, чрезмерные труды, любовь к чтению, которые с семилетнего возраста вплоть до вступления в свет постоянно наполняли мою жизнь, — не им ли я обязан той легкостью, с какой — если только верить вам — я умею выражать идеи и идти вперед по обширному полю человеческого познания? Одиночество, на которое я был осужден, привычка пересматривать свои чувства и жить сердцем — не они ли облекли меня способностью сравнивать и размышлять? Не тратя себя на службе у светских волнений, которые мельчат и прекраснейшую душу, доводя ее до подобия тряпки, — не сосредоточилась ли моя чувствительность так, что стала совершенным органом воли более высокой, чем страстное желание? Непризнанный женщинами, я наблюдал их, помнится, с проникательностью отвергнутой любви.

Теперь я знаю это, искренность в моем характере и не могла нравиться! Быть может, женщинам и нужно немножко лицемерия? Я в один и тот же час поочередно—мужчина и дитя, ничтожество и мыслитель, свободный от предрассудков и исполненный суеверий, часто женственный как они,—и не должны ли они были принимать мою наивность за цинизм и самую чистоту моей мысли за развращенность? Моя ученость на их взгляд была скукою, женственная томность—слабостью. А исключительная подвижность воображения, несчастье поэтов, давала без сомнения повод считать меня неспособным к любви, непостоянным в мыслях, лишенным энергии. Казавшийся идиотом, когда я молчал, я, может быть, пугал их, когда хотел им нравиться, и женщины осудили меня. В слезах и печали принял я приговор, вынесенный светом. Но эта беда принесла свои плоды. Я захотел отомстить за себя обществу, я захотел обладать душами всех женщин, подчинить себе их умы, видеть как все взгляды будут устремлены на меня, когда мое имя произнесет лакей в дверях салона. Я назначил себе роль великого человека. Уже с детства я ударял себя порою по лбу, говоря как Андре Шенье: „Кое-что здесь есть!“ Я чувствовал, казалось, в себе мысль, которую стоит выразить, систему, достойную обоснования, знания, достойные изъяснения. О, милый мой Эмиль, теперь, когда мне едва минуло двадцать шесть лет,—а я уверен, что умру безвестным, не побывав любовником женщины, об обладании которой я мечтал,—позволь же мне рассказать о моих безумствах! Мы все, в большей или меньшей степени, разве не принимали наших желаний за действительность? Ах! не желал бы я иметь другом такого молодого человека, который в мечтах не свивал себе венков, не воздвигал себе пьедестала, не одарял себя угодливыми любовницами. Я—я часто бывал генералом, императором, я бывал Байроном, потом ничем. Поиграв на вершинах дел человеческих, я замечал, что еще все горы, все трудности остается преодолеть. Это беспредельное самолюбие, кипевшее во мне, вера в судьбу, возвышенная и становящаяся, быть может, гением, если человек не допускает, чтобы душа его была ободрана от соприкосновения с делами так же легко, как овца проходя оставляет клоки шерсти на шипах кустарника,—все это спасло меня. Я пожелал покрыть себя славой и работать в молчании ради возлюбленной, которую я надеялся когда-нибудь иметь. Все женщины заключались для меня в одной единой, и эту женщину я надеялся встретить в первой же попавшейся моему взору; но хотя в каждой из них я видел царицу, все они, как царицы, обязанные первыми сделать

шаг к своему возлюбленному, должны были идти навстречу ко мне, страдающему, бедному и робкому. Ах! для той, кто пожалела бы меня, помимо любви у меня нашлось бы в сердце столько благодарности, что я боготворил бы ее всю ее жизнь. Позже наблюдениями я был научен жестоким истинам. И вот, милый мой Эмиль, я рисковал жить в вечном одиночестве. Женщины, в силу не знаю какой склонности их ума, обычно в человеке талантливом видят только его недостатки, и в дураке—только его достоинства; они питают большую симпатию к достоинствам дурака, которые постоянно льстят их собственным недостаткам, тогда как человек высшего назначения не дает им столько радостей, чтобы возместить свои несовершенства. Талант, это — перемежающаяся лихорадка; ни одной женщине не завидно делить только ее тягости, все они в своих любовниках хотят найти только средства для удовлетворения своего тщеславия. Самих себя, вот кого любят они в нас! Человек бедный, гордый художник, одаренный способностью творить, — не обладает ли он оскорбительным эгоизмом? Вокруг него существует какой-то вихрь мыслей, которым он обволакивает все, даже свою любовницу, и она должна следовать его движению. Окруженная лестью женщина может ли поверить любви такого человека? Пойдет ли она искать такой любви? У такого любовника нет времени предаваться у дивана маленьким игривым нежностям, которые так любезны женщинам, и в которых—триумф людей лживых и бесчувственных. На работу не хватает им времени, — как им тратить его на пустяки и прикрасы? Готовый отдать жизнь мою сразу, я не стал бы унижать ее по частям. Наконец, в приемах, с какими банковый чиновник исполняет поручения бледной и жеманной женщины, есть нечто столь скудное, от чего ужаснется художник. Любви отвлеченной мало человеку бедному и великому, он требует от нее полного самопожертвования. У мелких тварей, жизнь которых состоит в том, что они примеривают кашемировые шали и делают себя чемоданами с модными вещами, не может быть самопожертвования, они сами требуют его и видят в любви наслаждение власти, а не послушания. Истинная по сердцу, по плоти и кости жена позволит вести себя туда, где повелитель ее жизни, ее силы, славы и счастья. Людям высшим нужны восточные женщины, единственная мысль которых—изучение потребностей мужа; ибо для них несчастье состоит в том, что нет соответствия между желаниями и средствами. А я, считавший себя гениальным человеком, я как-раз любил модниц. Питая идеи, столь противоположные общепринятым, имея претензию без лестницы взять присту-

пом небо, обладая сокровищами, не имевшими обращения на рынке, вооруженный обширными познаниями, которые отягощали мне память, которых не успел я еще классифицировать, которых совсем еще не усвоил; очутившись без родных, без друзей, совсем один среди ужаснейшей пустыни, пустыни мощеной, пустыни одушевленной, мыслящей, живой, где все вам враги, больше того — все к вам безразлично! — я принял решение естественное, хотя и безумное; нечто невозможное заключалось в нем и придавало мне бодрости. Точно сам с собою бился я об заклад, и сам был и игроком и закладом. Вот мой план. Моих тысячи ста франков должно было хватить на три года жизни, и я назначил себе такой срок для издания сочинения, которое привлекло бы ко мне внимание публики, дало бы мне состояние или имя. Я радовался при мысли, что буду жить хлебом и молоком, как отшельник фиваидский, погруженный в мир книг и идей, посреди этого шумного Парижа, — в сфере недоступной, в сфере труда и молчания, где, как куколка, я строил себе гробницу, чтобы возродиться в блеске и славе. Чтобы жить, приходилось подвергаться риску умереть. Ограничив существование действительными потребностями, строго необходимым, я нашел, что трехсот шестидесяти пяти франков в год будет достаточно моей бедности. И в самом деле, этой скудной суммы хватало мне на жизнь, покуда я готов был подчиняться моей собственной монастырской дисциплине.

— Это невозможно! — вскричал Эмиль.

— Я прожил так почти три года, — с некоторой гордостью ответил Рафаэль. — Давай сочтем! — продолжал он. — На три су хлеба, на два молока, на три колбасы не давали мне умереть с голоду и поддерживали мой дух в состоянии особой ясности. Знаешь, я наблюдал чудесное действие, производимое диетой на воображение. Комната стоила мне три су в день, на три су я сжигал масла за ночь, комнату убирал сам, рубашки носил фланелевые, чтобы на прачку тратить не больше двух су в день. Топил я каменным углем, стоимость которого, если разделить ее на число дней в году, никогда не превышала двух су в день. Платья, белья, обуви должно было мне хватить на три года, я собирался одеваться лучше только идя на публичные лекции или в библиотеку. Сложить эти расходы, получится восемнадцать су; два су мне оставалось на непредвиденные траты. Я не припомню, чтобы за этот долгий период работы я хоть бы раз прошел по Мосту Искусств, или купил воды: я ходил за нею по утрам к фонтану на площади Сен-Мишель, на углу улицы Грэ. О! я с гордостью сносил свою бедность. Кто предчувствует

прекрасное будущее, тот в своей жизни, полной нужды, ступает так же, как невинный, ведомый на казнь, — ему не стыдно. Предвидеть болезни я не хотел. Как Акилина, я представлял себе больницу без ужаса. Ни минуты не сомневался я в своем здоровье. Впрочем, бедняк имеет право слезть только умирая. Я остриг себе волосы вплоть до того времени, когда некий ангел любви и доброты... Но не стану забегать вперед тех событий, до которых мы дошли. Заметь только, милый мой друг, что, за неимением возлюбленной, я жил великой мыслью, мечтой, ложью, в которую все мы вначале более или менее верим. Теперь я смеюсь над самим собой, над тем моим „я“, быть может, святым и высоким, которого больше не существует. Общество, свет, наши обычаи и нравы, увиденные вблизи, обнаружили мне всю опасность моих невинных верований, все излишество моих ревностных трудов. Такая запасливость не нужна честолюбцу.

Как легок должен быть багаж у того, кто отправляется в погоню за счастьем! Ошибка людей высших в том, что они тратят свои юные годы на то, чтобы сделать себя достойными милости. Пока бедняки копят силу и знания, чтобы без усилий нести бремя убегающего от них могущества, интриганы, богатые словами и лишенные мыслей, ходят туда и сюда, обманывают дураков, втираются в доверие к простакам; те изучают, эти идут вперед; те скромны, эти смелы; человек гениальный замалчивает свою гордость, интриган свою выставляет напоказ: он должен достичь цели непременно. У людей власти так сильна потребность верить готовой заслуге, наглому таланту, что было бы ребячеством истинному ученому надеяться на воздаяние человеческое. Конечно, я не собираюсь повторять общие места о добродетели, ту Песнь песней, что вечно поют непризнанные гении: я хочу логически дедуцировать причину успехов, которых так часто достигают люди посредственные. Увы! наука так матерински добра, что было бы, может быть, преступлением требовать от нее иных воздаяний, помимо тех чистых и тихих радостей, которыми питает она своих сынов. Вспоминаю, как весело бывало мне иной раз обмакивать хлеб в молоко, сидя у окна, вдыхая воздух, представляя взору блуждать по пейзажу — по крышам, бурым, сероватым, красным, аспидным и черепичным, покрытым мхом, желтым или зеленым. Вначале вид этот казался мне монотонным, но вскоре я открыл в нем особые красоты. То вечером полосы света, выходя из-за неплотно прикрытых ставней, оттеняли и оживляли черные глубины этой свое-

образной страны. То бледные лучи фонарей бросали снизу желтоватые отсветы сквозь туман и слабо обозначали на улицах колыхание скученных крыш, океан неподвижных волн. Наконец, порою, редкие фигуры появлялись среди угрюмой пустыни; между цветами какого-нибудь воздушного сада я подмечал угловатый и искривленный профиль старухи, которая поливала настурции, или в обрамлении сгнившего чердачного окна какая-нибудь молодая девушка занималась своим туалетом, считая, что ее никто не видит, и я мог различить только прекрасный ее лоб и длинные волосы, поднятые кверху красивой белой рукой. Я любовался эфемерной растительностью в водосточных трубах, бедными травками, которые вскоре уносила буря! Я изучал мхи, их окраску, оживленную дождем или казавшуюся от солнца сухим, коричневым бархатом с причудливыми отсветами. Наконец, поэтические и беглые эффекты дня, печали тумана, внезапное сверкание солнца, молчание и волшебство ночи, тайны зари, дым каждой трубы — все явления этой странной природы стали родными мне и развлекали меня. Я любил свою тюрьму, я был в ней добровольно. Эти парижские степи, образуемые крышами, которые, как равнина, подведены под один уровень, но покрывают населенные бездны, — они подходили к моей душе и гармонировали с моими мыслями. Утомительно сразу обретать мир, спускаясь с божественных высот, куда увлекли нас научные размышления; оттого-то я в совершенстве понял тогда наготу монастырей. Решившись следовать новому жизненному плану, я стал искать себе комнату в самых пустынных кварталах Парижа. Раз вечером, возвращаясь домой с Эстрапады, я проходил по улице Канатчиков. На углу улицы Ключни я увидел девочку лет четырнадцати, которая играла со своей подругой в волан; их смех и шалости забавляли соседей. Была прекрасная погода, вечер был тепл, стоял еще месяц сентябрь. У каждой двери сидели женщины и болтали, как в провинциальном городе в праздничный день. Я смотрел сначала на девочку, у которой было восхитительной выразительности лицо и фигура, созданная прямо для художника. То была пленительная сцена. Я стал искать, откуда такая доброта нравов среди Парижа, и заметил, что улица эта — тупик, и прохожих в ней бывало, очевидно, немного. Вспомнив, что в этих местах жил Жан-Жак Руссо, я нашел гостиницу Сен-Кантэн; упадок, в каком она находилась, подал мне надежду на недорогое в ней помещение, и я решил зайти в нее. Войдя в низкую комнату, я увидел классические медные подсвечники с сальными

свечами, методически поставленные над каждым ключом, и был поражен чистотой, царившей в зале, которая в других гостиницах бывает такой неопрятной, а здесь была прибрана точно на жанровой картине; синяя кровать, утварь, мебель — во всем была кокетливость, свойственная условной натуре. Хозяйка гостиницы, женщина лет сорока, черты которой выражали горе, взгляд которой как бы потускнел от слез, встала и подошла ко мне; скромно представил я ей на суд, сколько я могу платить; она не удивилась, выбрала из прочих один ключ и отвела меня на мансарду, где показала мне комнату с видом на крыши, на дворы соседних домов, из окон которых высунуты были длинные жерди с бельем. Ничего нет ужаснее такой мансарды с желтыми и грязными стенами, которая пахнет нищетой и ожидает к себе ученого. Кровля на ней регулярно оседала, в черепице образовались просветы, позволявшие видеть небо. Здесь было место для кровати, стола, нескольких стульев, под острым углом крыши я мог поместить свое фортепиано. Не будучи достаточно богатой, чтобы омеблировать эту клетку, достойную венецианских *Piombi* ¹⁾, бедная женщина не могла сдавать ее. Только-что изъяв из имеющей быть распродажи движимости несколько вещей, бывших в известной степени лично моими, я быстро сговорился с хозяйкой и на другой день поселился у нее. Я прожил в этой воздушной гробнице три года, работая день и ночь без отдыха, с таким наслаждением, что занятия казались мне прекраснейшей задачей, удачайшим разрешением человеческой жизни. В необходимых ученому спокойствии и молчании есть нечто нежное, пьянящее как любовь. Работа мысли, искания идей, спокойные научные созерцания даруют нам отрады несказанные, неопишуемые, как все, что имеет отношение к разуму, явления которого невидимы нашим внешним чувствам. И вот мы всегда вынуждены объяснять тайны духа материальными сравнениями. Наслаждение, когда плаваешь по озеру чистой воды, среди скал, лесов и цветов, один, ласкаемый теплым ветерком, людям несведущим могло бы дать лишь слабый образ того счастья, которое я ощущал, когда душа моя купалась в лучах какого-то света, когда я слушал грозные и смятенные голоса вдохновения, когда из неведомого источника образы струились в мой трепещущий мозг. Видеть идею, которая встает на поле абстракций человеческих точно солнце утром, и поднимается как оно, которая — более

¹⁾ Тюремные клетки венецианской инквизиции.

того — растет как ребенок, достигает возмужалости, медленно становится мужественной, это — радость выше всех земных радостей, это — божественное наслаждение. Занятия сообщают нечто магическое всему, что нас окружает. Жалкое бюро, на котором я писал, коричневая кожа, покрывавшая его, мое фортепиано, кровать, кресло, узоры обоев, мебель, все вещи оживились и стали смиренными моими друзьями, молчаливыми соучастниками моего будущего; сколько раз открывал я им свою душу, глядя на них! Часто, странствуя взором по покоробившейся штукатурке, я натыкался на новые пути, на поразительное доказательство моей системы или на слова, которые я считал счастливыми для выражения почти непередаваемых мыслей. От долгого созерцания окружавших меня предметов, я стал находить у каждого из них свое лицо; часто они разговаривали со мной; когда заходящее солнце бросало поверх крыш, через узкое мое оконце, беглый луч, они окрашивались, бледнели, блистали, печалились или развеселялись, постоянно поражая меня новыми эффектами. Эти малые события уединенной жизни, ускользающие от озабоченного света, — утешение для заключенных. Не был ли я пленен идеею, не был ли заключен в систему, находя поддержку в перспективе жизни, полной славы! При каждой победе над какой-нибудь трудностью, я целовал нежные руки женщины, с прекрасными глазами, элегантной и богатой, которая станет когда-нибудь гладить мои волосы, говоря мне с нежностью:

— Ты много страдал, бедный мой, ангел мой!

Я принялся за два больших произведения. Комедия должна была в короткий срок доставить мне известность, состояние и доступ в свет, куда я хотел появиться, пользуясь царственными правами гениального человека. В этом шедевре все вы увидели первую ошибку юноши, только-что окончившего гимназию, настоящую детскую глупость. Ваши насмешки подрезали крылья плодотворным иллюзиям, с тех пор более не пробуждавшимся. Ты один, милый мой Эмиль, успокоил глубокую рану, которую другие нанесли мне в сердце! Ты один пришел в восторг от моей Теории воли, длинного произведения, для которого я изучил восточные языки, анатомию, физиологию, которому я посвятил большую часть моего времени. Эта работа, если не ошибаюсь, дополнит труды Месмера, Лафатера, Галля, Биша, открывая новый путь науке о человеке. Здесь кончается моя прекрасная жизнь, каждодневное жертвоприношение, неведомая миру работа шелкового червя, единственная награда за которую, быть может, в самой работе. Со дня первых размышлений,

вплоть до того дня, когда я окончил мою Теорию, я наблюдал, изучал, писал, читал без отдыха, и жизнь моя была сплошным уроком, заданным в назидание. Женственный любовник восточной лжи, влюбленный в свои мечты, чувственный, я постоянно работал, отказывая себе в наслаждениях парижской жизни. Лакомка, я был умерен, любитель путешествий по суше и по морю, жаждавший увидеть много стран, до сих пор находящий удовольствие, как ребенок, в пускании галек рикошетом по воде, — я постоянно сидел с пером в руке, я ходил молча слушать профессоров на публичных курсах в Библиотеке и Музее; я спал на одиноком ложе, как монах-бенедиктинец, между тем женщина была единственной моей химерой — химерой, которую я ласкал и которая всегда убегала от меня! В конце концов жизнь моя была жестоким противоречием, непрерывной ложью. Вот и судите о людях! Иногда мои природные склонности пробуждались как долго тлевший пожар. Точно миражем, точно в горячечном бреде, меня, вдовца всех женщин, обитавшего на мансарде художника, окружали, видел я, восхитительные любовницы! Я носился по парижским улицам, лежа на мягких подушках блестящего экипажа! Меня точили пороки, я погружался в разгул, я всего желал и все имел; словом, пьяный без вина, как искушаемый святой Антоний. По счастью, сон, наконец, гасил эти пожирающие видения; на завтра наука, улыбаясь, звала меня, и я был ей верен. Думаю, что женщины, которых считают добродетельными, должно быть, часто бывают во власти таких безумных вихрей, желаний и страстей, поднимающихся в нас помимо нашей воли. Подобные мечты не лишены некоторой прелести: не похожи ли они на беседу вечером, зимой, когда, сидя у очага, совершаешь путешествие в Китай? Но что становится с добродетелью во время этих очаровательных путешествий, когда мысль преодолела все препятствия? Первые десять месяцев моего заключения я вел жизнь бедную и уединенную, описанную мною сейчас; по утрам, стараясь остаться незамеченным, я ходил за моей дневной провизией; убирал комнату, был сразу господином и слугой, диогенствовал с невероятной гордостью. Но за это время хозяйка и ее дочь подглядели, каковы мои нравы и привычки, узнали, что я за человек, поняли, в какой я бедности, быть может, благодаря тому, что и сами они были очень несчастны, и неизбежно между мной и ими установились некоторые отношения. Полина, то очаровательное создание, наивная и еще скрытая прелесть которого до некоторой степени и привела меня сюда, оказала мне много услуг, отказать

в которых ей было невозможно. Все несчастья — сёстры, у них один и тот же язык, то же великодушие, великодушие тех, кто, ничего не имея, щедр чувством и платит своим временем и собою самим. Незаметно Полина стала у меня хозяйкой, она хотела мне служить, и ее мать вовсе тому не противилась. Я видел, как сама мать чинила мне белье и краснела, когда я заставлял ее за таким милосердным занятием. Помимо моей воли стали они мне покровительствовать, и я принял их услуги. Чтобы понять эту особенную привязанность, надо знать, какое увлечение работой, какую тиранию идей и инстинктивное отвращение к мелочам материальной жизни чувствует человек, живущий мыслью. Мог ли противиться я тому деликатному вниманию, с которым неслышными шагами Полина приносила мне скромный обед, заметив, что уже семь — восемь часов я ничего не ел? С грацией женщины, с простодушием ребенка она улыбалась, знаком давая понять, что я не должен ее видеть. То был Ариель, как сильф скользнувший под мою кровлю, гредупреждавший мои желания. Раз вечером с трогательной наивностью Полина рассказала мне свою историю. Ее отец командовал эскадроном конных гренадеров императорской гвардии. При переправе через Березину он был взят в плен казаками; позже, когда Наполеон предложил обменять его, русские власти тщетно разыскивали его в Сибири: по словам других пленных, он бежал, имея намерение добраться до Индии. С тех пор г-же Годэн, моей хозяйке, не удалось получить никаких известий о муже. Настали бедствия 1814 — 1815 годов; одна, без средств и без помощи, она решилась держать меблированные комнаты, чтобы прокормить свою дочь. Она все еще надеялась увидеть мужа. Самое сильное горе было для нее в том, что Полина останется без образования, ее Полина, крестница княгини Боргезе, которая не должна была обмануть обещаний, сделанных высокой покровительницей относительно блестящих ее судеб. Когда г-жа Годэн призналась мне в убивавшей ее горькой боли и сказала раздирающим тоном: „Я отдала бы охотно клочок бумаги, возводящий Годэна в бароны Империи, и права наши на доходы с Вигнау, только бы узнать, что Полина воспитывается в Сен-Дени“, — я вдруг вздрогнул и, в благодарность за заботу обо мне, на которую так щедры были обе женщины, возымел мысль предложить себя в воспитатели Полины. Чистосердечие, с кото рым обе женщины приняли мое предложение, равнялось наивности, подсказавшей мне его. Таким образом, у меня появились часы отдыха. У девочки были счастливейшие способности, она схватывала так легко, что вскоре стала сильнее меня в игре на фортепиано.

Привыкнув думать вслух при мне, она обнаруживала тысячу милых черт в сердце, открывавшемся жизни как чашечка цветка, медленно раскрывающаяся на солнце; она слушала меня сосредоточенно и охотно, останавливая на мне свои черные бархатные глаза, которые, казалось, улыбались; она повторяла уроки голосом нежным и ласкающим, выражая детскую радость, когда я бывал доволен ею. Ее мать, с каждым днем все более беспокоясь, как предохранить от опасности юную девушку, которая с годами оправдывала обещания очаровательного ребенка, — радовалась, видя как она на целые дни запирается для занятий. Так как к ее услугам было только мое фортепиано, ей приходилось пользоваться моими отлучками для занятий. Возвращаясь, я находил в своей комнате Полину, одетую самым скромным образом; но при малейшем движении ее гибкая талия и все ее прелести вырисовывались и под грубой материей. Как у героини сказки Ослиная кожа, в грубых туфлях была обута ее крохотная ножка. Но все милые сокровища, все богатства юной девушки, вся роскошь ее красоты как бы пропадали для меня. Я заставлял себя видеть только сестру в Полине, мне было бы страшно обмануть доверие ее матери; я восхищался очаровательной девушкой как картинкой, как портретом умершей возлюбленной; в конце концов, она была моим ребенком, моей статуей. Новый Пигмалион, я хотел обратить в мрамор деву живую, с румянцем, чувством и речью; я бывал очень суров с нею, но чем больше заставлял я ее ощущать проявления моего учительского деспотизма, тем становилась она кротче и покорнее. Если благородные чувства поощряли меня к скромности и сдержанности, все же не было у меня недостатка и в рассуждениях, достойных прокурора. Я не представляю себе честности в делах без честности в мыслях. Обмануть женщину или довести кого-нибудь до банкротства — для меня всегда было одним и тем же. Полюбить молодую девушку или допустить любовь с ее стороны — это значит составлять контракт, об условиях которого следует сговориться. Мы в праве покинуть продажную женщину, но не молодую девушку, которая отдалась нам, ибо она не знает пределов своей жертвы. Конечно, я мог бы жениться на Полине, и это было бы безумием. Не значило ли это подвергать душу нежную и девственную ужасающему злосчастью? Моя бедность, с ее эгоистическим языком, постоянно протягивала свою железную руку между мною и этим добрым созданием. Притом, к стыду своему сознаюсь, я не понимаю любви среди нищеты. Пусть это от моей испорченности, которою я обязан болезни человечества, именуемой цивилизацией,

но женщина, будь она привлекательна как прекрасная Елена, как гомеровская Галатея, не в силах повлиять на мои чувства, если она чуть-чуть замарана грязью. Ах! да здравствует любовь в шелку и на кашемире, окруженная чудесами роскоши, которые так чудесно украшают ее потому, что и сама она, быть может, роскошь. Мне нравится скомкать, в страстном желании, щегольские туалеты, смять цветы, занести опустошающую руку на элегантное здание прически. Горящие глаза, взгляды которых пронизывают укрывающую их кружевную вуаль, подобно тому как пламя пронзает пушечный дым, — фантастически привлекательны для меня. Моя любовь хочет шелковых лестниц, по которым взбираешься молча, в зимнюю ночь. Что за наслаждение, когда вступишь, весь в снегу, в комнату, освещенную кадилницами, обитую расписными шелками, и встретишь там женщину, которая тоже стряхивает с себя снег, — ибо как иначе назвать покровы из сладострастного муслина, сквозь который обрисовывается она неясно, как ангел сквозь облако, и из которого должна она высвободиться? Потом, мне еще нужны робкое счастье или дерзкая уверенность. Наконец, я хочу вновь встретить эту таинственную женщину, но в блеске, но в светском кругу, но добродетельною, окруженною поклоном, одетою в кружева, блистающие брильянтами, законодательницею всего города, в положении столь высоком, внушающею к себе такое уважение, что никто не осмелится обратиться к ней со своими признаниями. В кругу своих придворных, она бросает мне взгляд украдкой, взгляд опровергающий всю эту искусственность, взгляд, который ради меня жертвует и светом и людьми! Разумеется, сто раз я находил смешною эту любовь к аршину блонд, бархата и тонкого батиста, к фокусам парикмахера, к свечам, карете, титулу, геральдическим коронам на стекле или ювелирных изделиях, словом, любовь ко всему деланному и наименее женственному в женщине, я глумился над собой, разубеждал себя, — все было напрасно! Женщина аристократка, ее тонкая улыбка, изысканные ее манеры и чувство достоинства в ней — чаруют меня; как-только воздвигнет она преграду между собой и светом, она льстит во мне всему тщеславному, а это и есть наполовину любовь. Становясь предметом всеобщей зависти, мое блаженство приобретает для меня новую сладость. Моя любовница, если она ничего не делает из того, что делают другие женщины, если она ступает и живет не как они и окутывается в мантию, какого у тех и быть не может, и вдыхает только ей свойственные духи, — она кажется мне тогда гораздо лучше; чем больше удаляется

она от земли, даже в том, что есть в любви земного, тем прекраснее она на мой взгляд. На мое счастье, уже двадцать лет нет во Франции королевы, иначе я влюбился бы в королеву! А чтобы иметь манеры принцессы, женщине нужно быть богатой. При таких романических фантазиях, чем могла быть для меня Полина? Могла ли она ценою жизни продать мне ночь, любовь, что убивает, что вовлекает в свой круг все человеческие способности? Ради отдающихся нам бедных девушек мы не умираем! Я никак не мог уничтожить этих чувств, этих мечтаний поэта. Я был рожден для необыкновенной любви, а случаю было угодно услужить мне тем, чего я не желал. Как часто я обувал в атлас крохотные ножки Полины, заключал ее стройную как молодой тополь фигуру в газовое платье, легкий шарф набрасывал на ее грудь, давал ей топтать ковры в собственном ее особняке, возил ее в элегантном экипаже! Я одарял ее гордостью, которой у нее не было, я лишал ее всех ее достоинств, наивной прелести, природного очарования, простодушной улыбки, чтобы погрузить ее в Стикс наших пороков и дать ей неуязвимое сердце, чтобы подрумянить ее нашими преступлениями и сделать из нее странную салонную куклу, женщину слабого сложения, которая ложится утром и оживает вечером, на заре свечей. Полина была вся — чувство, вся — свежесть, а я хотел, чтобы она была суха и холодна. В последние дни моего безумия воспоминание показывало мне Полину, как оно рисует нам сцены детства. Не раз я был растроган, думая о восхитительных мгновениях; то я вновь видел, как эта изумительная девушка сидит у моего стола, за шитьем, кроткая, молчаливая, сосредоточенная, в слабом свете, который, падая из моего чердачного окна, отсвечивал легким серебристым узором в ее прекрасных черных волосах; то я слышал ее юный смех, слышал как своим звонким голосом она распевает милые песенки, которые она сочиняла без всякого труда. Часто моя Полина воодушевлялась за музыкой, и тогда она была поразительно похожа на ту благородную головку, которою Карло Дольчи хотел олицетворить Италию. Моя жестокая память вызывала юную девушку среди излишеств моего существования как укор, как образ добродетели! Но предоставим бедного ребенка собственной ее участи! Какой бы несчастной ни суждено было ей быть, я, по крайней мере, укрыл ее от ужасной бури уже тем, что не увлек ее в мой ад.

Вплоть до прошлой зимы жизнь моя была спокойна и исполнена занятий, — слабое представление о ней я попытался тебе дать. В первых числах декабря месяца 1829 г.

я встретил Растиньяка, который, несмотря на жалкое состояние моих одежд, взял меня под руку и осведомился о моем положении, с участием поистине братским. Поддавшись его обхождению, я рассказал ему вкратце и о своей жизни и о надеждах; он расхохотался, сказав, что я сразу и гений, и дурак. Его гасконский выговор, светская его опытность, самостоятельность, которой он был обязан своему знанию жизни, действовали на меня непреодолимым образом. Растиньяк утверждал, что я умру в больнице непризнанным простофилей, он сопровождал уже погребальные мои дроги и кидал меня в яму для нищих. Он заговорил о шарлатанстве. С тем веселым подъемом, который делал его таким обольстительным, он доказал, что все гениальные люди — шарлатаны. Он объявил, что мне не хватает одного из чувств, что и будет причиною смерти, если я буду продолжать жить в одиночестве на улице Канатчиков. По его мнению, мне нужно войти в свет, приучать людей произносить мое имя, освободиться от того унижительного слова *mon sieur*, которое не приличествует великому человеку при его жизни.

— Глупцы — вскричал он — называют такое ремесло интриганством, моралисты осуждают его, именуя рассеянной жизнью; не глядя на людей, спросим, каковы результаты. Ты трудишься, не правда ли? Так вот, ты никогда ничего не добьешься! Я мастер на все руки, никуда не годный, не правда ли? Ленив как омар? Так знай же, я добьюсь всего! Я распространяюсь, я толкаюсь, мне уступают дорогу; я хвастаю, мне верят; я делаю долги, их платят! Рассеянная жизнь, милый мой, — целая политическая система. Жизнь человека, занятого тем, как бы проесть свое состояние, становится часто спекуляцией: он помещает свои капиталы в друзей, в наслаждения, в покровителей и знакомых. Вот негоциант рискнул на миллион! Двадцать лет он не спит, не пьет, не знает развлечений; он выслеживает свой миллион, рысью пускает его по всей Европе; ему скучно, он отдается всем демонам, каких только выдумал человек; потом при ликвидации — я сам не раз видал — остается без гроша, без имени, без друзей. А беспутнику — тому весело живется, тот пускает своих лошадок! Если случится ему потерять свои капиталы, остается шанс на место генерального сборщика, на выгодную партию, на назначение атташе при министре или посланнике. У него остались друзья, репутация, и всегда он при деньгах. Знаток светских пружин, он нажимает их себе на пользу. Система логична? Или я потерял разум? Разве не в этом мораль комедии, которую свет играет ежедневно? Ты кончил свое

сочинение, — сделав паузу, продолжал он, — у тебя огромный талант! Значит, ты дошел до моего отправного пункта. Теперь тебе надо самому обеспечить себе успех. Так вернее. Ты заключишь союз с дружескими мнениями, покоришь тех, кто умеет хвалить. А я, — и мне хочется иметь свою долю в твоей славе, — буду ювелиром, который вставит алмазы в твою корону. Для начала, будь здесь завтра вечером. Я введу тебя в дом, где бывает весь Париж, наш Париж — красот, миллионеров, знаменитостей, наконец, людей, говорящих золотом, как Златоуст. Раз эти господа принимают книгу, она становится модной, и если она действительно хороша, значит, они, сами того не зная, выдали патент на гениальность. Если ты не лишен ума, дитя мое, в твоих руках фортуна твоей Теории, нужно только хорошенько понять теорию фортуны. Завтра вечером ты увидишь прекрасную графиню Федору, модную женщину.

— Никогда о ней не слыхал...

— Кафр! — со смехом отозвался Растиньяк. — Не знать Федору! Женщина на выданьи, имеющая около восьмидесяти тысяч ливров дохода, которая никого не хочет, или которой никто не хочет! Своего рода женщина-проблема, полу-русская парижанка, полу-парижская русская! Женщина, у которой издаются все романтические произведения, не появляющиеся в печати, самая красивая женщина в Париже, самая обольстительная. Нет, ты даже не кафр, ты нечто среднее между кафром и животным... Прощай, до завтра.

Он сделал пируэт и исчез, не дожидаясь ответа и не допуская и мысли о том, что человек разумный может отказаться быть представленным Федоре. Как объяснить волшебную власть имени? Федора преследовала меня как преступная мысль, с которой стараешься вступить в сделку. Какой-то голос говорил мне: „Ты пойдешь к Федоре“. Сколько угодно мог я бороться с этим голосом, кричать ему, что он лжет, — он сокрушал все мои доказательства именем Федора. А это имя, эта женщина не были ли символом всех моих желаний, задач моей жизни? От этого имени воскресала искусственная поэтичность света, начинали блистать праздники высшего парижского общества и мишура суеты. Появлялась женщина передо мной со всеми проблемами страсти, в которые я был безумно влюблен. Нет, может быть, не женщина, не имя, а все мои пороки восставали в душе, чтобы вновь искушать меня. Графиня Федора, богатая, без любовника, противящаяся парижским соблазнам, — не воплощение ли это моих надежд, моих видений? Я создал себе женщину, мысленно рисовал ее, грезил о ней.

Ночью я не спал, я стал ее возлюбленным, в короткое время я охватил целую жизнь, жизнь любви, и вкушал ее обильные, жгучие утехи. На другой день, не в силах вынести пытку долгого ожидания вечера, я взял в библиотеке роман, провел весь день читая его и тем делая для себя невозможным ни думать, ни замечать времени. Пока я читал, имя Федоры раздавалось во мне как звук, слышимый издали, который не тревожит вас, но заставляет прислушаться. К счастью, у меня сохранился еще черный фрак и белый жилет, вполне приличные; затем из всего моего состояния осталось около тридцати франков, которые я разложил между бельем и по ящикам, чтобы между моими фантазиями и монетой в сто су воздвигнуть колючий забор поисков и случайности кругосветных плаваний по комнате. Одеваясь я гонялся за моими сокровищами по океану бумаги. И по тому, как редко попадалась монета, ты мог бы понять, сколько богатств похитили перчатки и фиакр, — они съели хлеба за целый месяц. Увы! всегда хватит денег на прихоти, мы спорим о цене только на вещи полезные или необходимые. Не считая, бросаем мы золото танцовщицам и торгуемся с рабочим, голодная семья которого ждет, когда будет заплачено по счету. Сколько людей в стофранковом фраке, с алмазом на набалдашнике трости, обедает за двадцать пять су! Для наслаждений нашего тщеславия не существует дорогих цен. Верный своему слову, Растиньяк улыбнулся моему превращению и посмеялся надо мной, но по дороге к графине из милосердия давал мне советы о том, как мне себя с нею держать; он рисовал мне ее скупую, тщеславной и недоверчивой; но скупую с любовью к роскоши, тщеславной с простотою, недоверчивой с добродушием.

— Тебе известны мои обязательства, — сказал он мне, — ты знаешь, как много я потерял бы от перемены в любви. Наблюдая Федору, я оставался хладнокровным, ведь я не заинтересован, мои замечания должны быть справедливы. Задумав представить тебя ей, я забочусь о твоём счастье; итак, следи за каждым твоим словом: у нее жестокая память и ловкость, способная привести в отчаяние дипломата: она сумеет угадать когда он говорит правду; между нами, мне кажется, что император не признал ее брака, по крайней мере, русский посланник рассмеялся, когда я заговорил о ней. Он ее не принимает и слегка лишь кланяется, встречая ее в Булонском лесу. Тем не менее она принята в обществе м-ме де Сэризи, у Нюсинген и Ресто. Во Франции, репутация ее чиста; герцогиня де-Карильяно, супруга маршала, самая старомодная дама из всего бонапартовского кружка,

часто проводит лето в ее имении. Много молодых фатов и даже сын одного из пэров Франции, предлагали ей свое имя в обмен на состояние; она всем им вежливо отказала. Может быть, для ее чувств не существуют титулы ниже графского! Не маркиз ли ты? Если она тебе понравится — смелей, вперед! Вот что, по-моему, называется давать инструкции.

Эта шутка заставила меня подумать, что Растиньяку хочется осмеять и подзадорить мое любопытство, так что импровизированная моя страсть достигла своего пароксизма, когда мы остановились перед украшенным цветами перистилем. Когда мы поднимались по просторной лестнице, покрытой ковром, где я отметил всю изысканность английского комфорта, сердце у меня билось; я краснел, я унижал мое происхождение, чувства, гордость; я был дурачки буржуазен. Увы! я сошел с мансарды, после трех лет бедности, еще не научившись ценить выше жизненных безделок те приобретенные нами сокровища, те огромные умственные капиталы, которые обогащают нас в тот момент, когда власть попадает нам в руки, не сокрушая нас, ибо наука заранее подготовила нас к политической борьбе. Я увидел женщину лет двадцати-двух, среднего роста, одетую в белое, с веером из перьев в руке, окруженную группой мужчин. Заметив, что входит Растиньяк, она поднялась, пошла к нам навстречу и с приятной улыбкой, мелодическим голосом, сказала мне любезность, без сомнения заранее приготовленную; наш друг объявил, что я талантлив, и его ловкость, его гасконская самоуверенность обеспечили мне лестный прием. Я стал предметом исключительного внимания, сконфузившего меня; но, к счастью, Растиньяк предупредил о моей скромности. Я встретил там ученых, литераторов, отставных министров, пэров Франции; разговор принял прежнее течение, вскоре после моего прихода, и, чувствуя, что мне надо поддерживать свою репутацию, я приободрился; потом, не злоупотребляя правом слова, когда оно было мне дано, я постарался резюмировать спор в выражениях более или менее решительных, то глубоких, то остроумных. Я произвел некоторую сенсацию. Тысячный раз в своей жизни Растиньяк оказался пророком. Когда собралось много народу, так что каждый стал чувствовать себя свободнее, мой покровитель взял меня под руку, и мы прошли по комнатам.

— И виду не показывай, что ты в восторге от графини, — сказал он: — не то она догадается о причине твоего визита.

Гостиные были убраны с изумительным вкусом. Я увидел лучшие произведения живописи. У каждой комнаты, как это

принято у очень состоятельных англичан, был свой особый характер; шелковые обои, отделка, форма мебели, всякая мелочь украшения соответствовали основному замыслу. В готическом будуаре, двери которого были закрыты драпри, обрамление обивки, часы, рисунки ковра—все было в готическом стиле; на потолке с темными резными балками открывались взору кессоны, изящные и оригинальные; панель была художественной работы; ничто не нарушало целого этой красивой декорации, даже окна—с цветными и драгоценными стеклами. Я был поражен видом небольшой гостиной в современном стиле, для которой какой-то художник исчерпал приемы нынешнего декоративного искусства, столь легкого, свежего, приятного, без блеска, умеренного в позолоте. Оно было туманно и любовно как немецкая баллада, это подлинное убежище для страсти 1827 года, с благоухающими в жардиньерках редкими цветами. В амфиладе за этой гостиной я увидел комнату с позолотой, в которой воскресали вкусы века Людовика XIV, представлявшие собою странный, но приятный кнтраст живописи нашего времени.

— У тебя будет недурная квартира, — сказал Растиньяк с улыбкой, в которой сквозила легкая ирония. — Разве это не обольстительно? — добавил он, садясь.

Вдруг он встал, взял меня за руку и провел меня в спальню, где показал, под пологом из белого муслина и муара, слабо освещенную, сладострастную постель, истинное ложе для юной феи, сочетающейся с гением.

— Не бесстыдство ли, — воскликнул он, понизив голос, — не дерзость ли или кокетство сверх всякой меры в том, что нам разрешают созерцать этот трон любви? Никому не отдаваться, и каждому позволить оставить здесь свою карточку! Будь я свободен, хотел бы я посмотреть, как эта женщина, покорная и в слезах, будет у моих дверей...

— А ты так уверен в ее добродетели?

— Самые предприимчивые из наших щеголей, и даже самые ловкие сознаются, что сели с ней на мель; они все еще влюблены в нее, и теперь — преданные ее друзья. Разве не загадка — эта женщина?

Что-то в роде опьянения возбудили во мне эти слова, моя ревность уже боялась и прошлого. Дрожа от радости, я стремительно вернулся в гостиную, где оставил графиню; я встретил ее в готическом будуаре. Она улыбкой остановила меня, усадила рядом с собой, стала расспрашивать о моих работах и, казалось, живо была заинтересована ими, особенно, когда я перевел мою систему в шутки вместо

того, чтобы принять профессорский тон и изложить ее докторально. Кажется, ей очень понравилось, что воля человеческая есть материальная сила, подобная пару; что в мире нравственном ничто не устояло бы перед ее мощью, если бы человек научился сосредоточивать ее, управлять всей ее суммою и постоянно направлять на души проекцию этой текучей массы; что этот человек смог бы по своей воле видоизменять все, даже абсолютные законы природы, соответственно задачам человечества. Возражения Федоры обнаружили некоторую тонкость ее ума; я снизошел признать на некоторое время ее правоту, чтобы польстить ей, и потом одним словом уничтожил женские рассуждения, привлекая ее внимание на повседневный факт нашей жизни, на явление сна, по видимости обыкновенное, по существу же полное неразрешимых для ученого проблем, — и тем возбуждал ее любопытство. Графиня даже умолкла на мгновение, когда я сказал ей, что наши идеи — организованные, цельные существа, обитающие в мире невидимом и влияющие на наши судьбы; в доказательство я цитировал мысли Декарта, Дидро и Наполеона, которые руководили и руководят еще всем нашим веком. Я имел честь позабавить графиню; она оставила меня, пригласив посещать ее; говоря в стиле придворном, мне был открыт доступ ко двору. Быть может, по свойственной мне похвальной привычке, формулы вежливости я принял за слова сердца, быть может Федора увидела во мне будущую знаменитость и желала еще пополнить свой зверинец одним ученым, но, как показалось мне, я ей понравился. Я вспомнил все свои познания в физиологии, все свои прежние наблюдения над женщиной, чтобы кропотливо изучить за вечер этого оригинального человека и его манеры; спрятавшись в амбразуре окна, я выслеживал ее мысли, отыскивая их в ее манере держаться, приглядываясь к тому, как, в качестве хозяйки дома, она ходила туда и сюда, садилась и вела беседу, подзывала к себе кого-нибудь из гостей, расспрашивала и, слушая, опиралась на косяк двери; в ее походке я заметил такую нежную ломанность движений, столь грациозное колебание платья, она столь властно возбуждала желания, что я тогда весьма усомнился в ее добродетели. Если теперь Федора презрела любовь, то прежде она, должно быть, была очень страстной; ее искусность в сладострастии проявлялась даже в манере, с какой она стояла перед собеседником; она опиралась о панель кокетливо, как женщина готовая упасть, но также готовая и убежать, как только испугает ее какой-нибудь взгляд, слишком живой. Мягко скрестив руки, каза-

лось, она вдыхала в себя слова, — слушая их даже взглядом и с благосклонностью, — и выдыхала чувство. Губы ее, свежие и красные, резко выделялись на живой белизне лица. От каштановых ее волос еще желаннее был оранжевый цвет ее глаз с жилками, как на флорентийском камне; их выражение придавало, казалось, остроты ее словам. Наконец, стан ее таил в себе прелести, самые привлекательные. Соперница, быть может, упрекнула бы в грубости ее почти сходящиеся брови и осудила бы неприметный пушок, покрывавший контуры ее лица. Я нашел, что страсть отпечатлена у нее на всем. Любовь была начертана не ее итальянских ресницах, на ее прекрасных плечах, достойных Венеры Милосской, в линиях ее лица, на нижней губе, чуть-чуть грубой и слегка оттененной. Нет, то была не женщина, то был — роман. Впрочем, женственные ее сокровища, гармоничное сочетание линий, страстные обещания ее роскошного стана умерялись постоянной сдержанностью, необычайной скромностью, которые контрастировали с общим ее выражением. Нужна была такая зоркая наблюдательность, как у меня, чтобы открыть в ее натуре приметы страстного ее предназначения. Яснее выражая мою мысль, скажу, что в Федоре были две женщины, границей которых был бюст; одна из них холодная, и только голова, казалось, склонна была к любви; прежде чем остановить глаза на ком-нибудь из мужчин, она подготавливала свой взгляд, точно нечто таинственное происходило в ней самой, вы сказали бы какие-то конвульсии в ее глазах, таких блестящих. Словом, или знания мои несовершенны, и много еще тайн предстояло мне открыть в мире нравственном, или у графини была прекрасная душа, чувства и проявления которой сообщали ее лицу покоряющую и чарующую нас прелесть, силу, всецело нравственную и тем более могучую, что она согласовалась с симпатиями желания. Я ушел восхищенный, оболенный этой женщиной, опьяненный ее роскошью, польщенный во всем, что было в моем сердце благородного и порочного, доброго и злого. Чувствуя себя таким взволнованным, оживленным, возбужденным, я начинал понимать, что привлекало сюда художников, дипломатов, людей власти, биржевиков, подбитых листовым железом, как их сундуки: без сомнения, они приходили искать у нее подобного бреда волнения, которое заставляло вибрировать все силы моего существа, бичевало кровь в малейшей вене, раздражало тончайший нерв и трепетало в мозгу! Она не отдавалась никому, чтобы всех их сохранить при себе. Покуда женщина не полюбит, она кокетничает.

— Может быть, — сказал я Растиньяку, — ее отдали замуж или продали какому-нибудь старику, и память о первом браке внушает ей ужас к любви.

Из предместья Сент-Онорэ, где живет Федора, я возвращался пешком. Между ее особняком и улицей Канатчиков лежит чуть ли не весь Париж; дорога показалась мне короткой, а между тем было холодно. Начинать покорение Федоры зимой, суровой зимой, когда и я не обладал и тридцатью франками, а отделяющее нас расстояние было так велико! Только бедный молодой человек знает, сколько тратит страсть на кареты, перчатки, платье, белье и так далее. Останься любовь немного дольше платонической, — и она делается разорительной. Право же, среди студентов-юристов бывают Лозены, которым лучше и не подступать к страсти, что обитает в первом этаже. Как мне бороться, мне, слабому, хилому, просто одетому, бледному, худому, точно художник, выздоравливающий после какого-нибудь сочинения, с молодыми людьми, завитыми, красивыми, щеголеватыми, в галстуках, способных привести в отчаяние всю Францию, богатыми, нагло разодетыми владельцами тильбюри!

— Ба! Федора или смерть! — воскликнул я на повороте моста. — Федора, это — фортуна!

Прекрасный готический будуар и гостиная в стиле Людовика XIV прошли у меня перед глазами; я вновь видел графиню в белом платье с прелестными широкими рукавами, и обольстительную ее походку, и искушающий стан. Когда я очутился у себя на мансарде, голой, холодной, неприбранной как парик натуралиста, я был еще окружен образами ее роскоши. Подобный контраст плохой советчик, — преступления, должно быть, рождаются таким образом. Я проклял тогда, дрожа от ярости, мою скромную, честную бедность, мою плодоносную мансарду, где явилось на свет столько мыслей. В моей судьбе, в моем несчастье я требовал отчета у бога, у дьявола, у социального строя, у моего отца, у всей вселенной; я лег спать совсем голодный, ворча, посылая достойные смеха проклятья, но твердо решившись соблазнить Федору. Это женское сердце было последним лотерейным билетом, от которого зависела моя судьба. Избавлю тебя от описания первых моих посещений Федоры и сразу перейду к драме. Стараясь обращаться к ее душе, я пытался завладеть ее умом и ее тщеславием; чтобы вернее заставить полюбить меня, я дал ей тысячу оснований для большей любви к себе самой; никогда не оставлял я ее в состоянии безразличия; любой ценой требуют себе женщины волнений,

и я расточал их ей; я скорее прогневил бы ее, чем видел бы ее равнодушной в своем присутствии. Когда в начале меня одушевляли твердая воля и желание заставить ее полюбить себя, я имел над нею некоторую власть; но вскоре страсть моя возросла, я перестал владеть собой, впал в правдивость и погубил себя, влюбившись до самозабвения. Хорошо не знаю, что мы в поэзии и в разговоре называем любовью; но изображения чувства, вдруг развившегося в моей двойственной натуре, я не находил нигде, — ни в риторических, отделанных фразах Жан-Жака Руссо, комнату которого, может быть, я занимал, ни в холодных представлениях наших двух веков литературы, ни в итальянской живописи. Разве только вид Бриеннского озера, иные мотивы Россини, Мадонна Мурильо, принадлежащая маршалу Сульту, письма Лекомба, некоторые слова, рассеянные в сборниках анекдотов, но больше всего молитвы экстатиков, иные отрывки из наших фавлю, — только они могли перенести меня в божественные страны первой моей любви. Ничто в человеческом языке, никакое выражение мысли в красках, мраморе, словах и звуках не передали бы нерва, правды, законченности, внезапности чувства в душе! Да, кто говорит — искусство, говорит — ложь. Любовь проходит бесконечное число превращений, прежде чем навсегда смешаться с нашей жизнью и навеки окрасить ее в свой пламенный цвет. Тайна этого недоступного восприятию наития ускользает от анализа художника. Истинная страсть выражается в криках и вздохах, докучливых холодному человеку. Нужно искренне любить, чтобы сочувствовать рычанию Ловеласа, читая Клариссу Гарло. Любовь — наивный ручей, что течет по ложу травы, цветов и гравия, но вот он становится речкой, рекой, меняет свою природу и вид от каждого нового притока и впадает в несоизмеримый океан, где умы несовершенные видят лишь однообразие, где души великие теряются в непрерывных созерцаниях. Осмелиться ли описывать эти переходные оттенки чувства, пустяки, имеющие такую цену, слова, для которых не найти звуков в сокровищницах языка, взгляды, плодотворные более, чем богатейшие поэмы? В каждой из тех мистических сцен, когда мы нечувствительно пленяемся женщиной, отвергается пропасть, могущая поглотить всю поэзию человеческую. Какими глоссами передать нам живые и таинственные волнения души, когда, чтобы обрисовать видимые тайны красоты, нам не хватает слов? Что за колдовство! Сколько часов проводил я погруженный в несказуемый экстаз, когда был занят лишь тем, что видел ее! Счастливый, чем? — не знаю. В эти мгновения,

если ее лицо было залито светом, происходил какой-то феномен, от которого оно начинало сиять; не приметный пушок, золотивший ее тонкую и нежную кожу, намечал ее контуры так мягко, с такою прелестью, какою мы восхищаемся в далеких линиях горизонта, теряющихся от солнца. Казалось, что сияние дня, соединяясь с нею, ласкало ее, или что от ее лучистого лица исходил свет более живой, чем настоящий свет; потом тень, проходя по милому лицу, окрашивала его, разнообразя его выражения, меняя оттенки. Часто мысль, казалось, обозначалась на ее мраморном челе; ее глаза делались ярче, веки вздрагивали, лицо становилось взволнованным, подвижным от улыбки; одушевленный коралл ее губ одушевлялся, сжимаясь, разжимаясь; какой-то отсвет ее волос бросал коричневые тона на свежие виски; каждым таким явлением заявляла о себе мысль. Каждый оттенок красоты был новым праздником для моих глаз, открывал моему сердцу неведомые отрады. Чувство, надежду хотелось мне прочесть в каждом изменении лица. Эти беззвучные разговоры от души к душе передавались как эхо передает звук, и они были щедры преходящими радостями, оставлявшими во мне глубокое впечатление. Голос ее бывал причиной какого-то бреда, который мне самому трудно было подавить в себе. Подражая, не помню какому, лотарингскому принцу, я мог бы не почувствовать раскаленного угля в ладони, когда она провела бы своими кошачьими пальцами по моим волосам. То было уже не восхищение, не желание, но очарование, рок. Часто, вернувшись к себе под крышу, я неясно видел Федору у нее в доме, смутно участвовал в ее жизни; когда она страдала, страдал и я, и на завтра говорил ей:

— Вы были несчастны!

Сколько раз она являлась среди молчаний ночи, вызванная силою моего экстаза! То, внезапная, как брызнувшие лучи света, она ломала ручку, спугивала науку и занятия, которые скорбно разбегались; она принуждала меня восхищаться ею, принимая ту соблазнительную позу, в которой видел я ее когда-то. То я сам шел навстречу ей в мир призраков, я приветствовал ее как надежду, прося дать мне услышать ее серебристый голос; потом я просыпался в слезах. Однажды, обещав мне пойти со мной в театр, она вдруг капризно отказалась, прося меня оставить ее одну. В отчаянии от противоречий, стоивших мне дня работы и — признаться ли? — моего последнего эку, я пошел туда, где она должна бы быть, пожелав увидеть пьесу, которую она пожелала видеть. Едва усевшись, я почувствовал элек-

трический толчок в сердце. Какой-то голос сказал мне: „Она здесь“. Поворачиваюсь, и вижу графиню в глубине ложи бенеуара, в тени. Мой взгляд не колебался, мои глаза сразу нашли ее со сказочной зоркостью, моя душа полетела к ее жизни, как насекомое к цветку. Что подало весть моим чувствам? Бывает внутренняя дрожь, которая кажется поразительной людям поверхностным, но эти проявления внутренней нашей природы так же просты, как обычные явления нашего зрения внешнего; я не был удивлен, я только рассердился. Мои исследования нашей нравственной силы, столь мало известной, по крайней мере, послужили к тому, что дали мне возможность найти в своей страсти живые доказательства для моей системы. Было что-то странное в таком союзе ученого и влюбленного, настоящего идолопоклонства и научной любви. Часто наука была довольна тем, что приводило в отчаяние любовника, и любовник с блаженным чувством гнал прочь от себя науку, как только он начинал верить в триумф. Федора увидела меня и сделалась серьезной; я ее стеснял. В первом же антракте я пошел навестить ее; она была одна, я остался. Хотя мы никогда не говорили о любви, я предчувствовал объяснение. Я не сказал ей еще своей тайны, а между тем между нами существовало нечто в роде соглашения: планами развлечений делилась она со мной, с каким-то дружеским беспокойством спрашивала она накануне, приду ли я завтра; произнося остроту, она взглядом советовалась со мною, как-будто хотела нравиться исключительно мне; если я дулся, она становилась ласковой; если она гневалась, я до некоторой степени имел право расспрашивать ее; если я сознавался в какой-нибудь своей провинности, прежде чем простить меня, она заставляла долго умолять себя. Эти ссоры, становившиеся нам по вкусу, были полны любви. Во время их она бывала такой кокетливой и милой, а я таким счастливым! На этот раз произошел перерыв в нашей близости, мы оставались друг перед другом как чужие. Графиня была ледяной, я опасался несчастья.

— Вы проводите меня, — сказала она, когда пьеса кончилась.

Погода вдруг переменилась. Когда мы вышли, падал снег с дождем. Карета Федоры не могла проехать к подъезду театра. Видя, что хорошо одетой даме приходится пересекать бульвар, посыльный раскрыл над нами зонтик и за услугу попросил на чай, когда мы сели в экипаж. У меня не было ни копейки, за два су я отдал бы тогда десять лет своей

жизни. Все, из чего состоит тщеславие мужчины с тысячью его мелочей, было раздавлено во мне адской скорбью. Слова „нет мелочи, любезный!“ были произнесены тоном жестким из-за препятствий, встреченных моей страстью, произнесены мною, братом этого человека, мною, кто так хорошо знал его нужду! — мною, кто когда-то с такою легкостью отдал семьсот тысяч франков! Лакей оттолкнул посыльного, и лошади рванулись. По дороге домой, Федора рассеянно или делая вид, что чем-то озабочена, односложно и презрительно отвечала на мои вопросы. Я хранил молчание. То был ужасный момент. Приехав к ней, мы уселись у камина. Когда слуга разжег огонь и вышел, графиня обратилась ко мне с трудно определимым выражением и как-то торжественно сказала:

— С тех пор как я вернулась во Францию, мое состояние было предметом искушения для многих молодых людей; я получала объяснения в любви, которые могли бы удовлетворить мою гордость; я встречала людей, привязанность которых была так искренняя и глубокая, что они женились бы на мне, даже если бы они нашли во мне ту бедную девушку, какой когда-то я была. Не лишнее знать вам, г-н де-Валантен, что новые богатства и новые титулы предлагались мне, но знайте также: никогда я вновь не видалась с теми, кто был так мало сообразителен, что заговаривал со мною о любви. Будь мое отношение к вам легкомысленно, я не стала бы делать вам предостережения, в котором больше чувства и дружбы, чем гордости. Женщина подвергает себя риску получить нечто в роде отповеди, когда она, предполагая, что ее любят, заранее отказывается от чувства, всегда для нее лестного. Сцены с Арсиной и Араминтой мне известны, знакомы и ответы, которые я могу услышать при подобных обстоятельствах; но, надеюсь, сегодня не поймет меня дурно человек, стоящий выше среды, за то, что я простосердечно открыла ему душу.

Она изъяснялась хладнокровно, как адвокат или нотариус, когда они толкуют о способах вести процесс или о статьях контракта. Ясный и обольстительный тембр ее голоса не выдавал ни малейшего волнения; только на лице и в позе, попрежнему благородных и скромных, появились, казалось, холодность и сухость дипломата. Конечно, она обдумала свои слова, составила программу этой сцены. О! друг мой, когда женщины находят наслаждение в том, что раздирают нам сердце, когда они вознамерились вонзить в него кинжал и повернуть его в ране, они очаровательны, они любят, они желают быть любимыми! Когда-нибудь они вознаградят

за нашу скорбь, как бог, говорят, воздаст за добрые дела; сторицею возместят они наслаждением за зло, жестокость которого учтена ими; их злость не полна ли страсти? Но терпеть пытку от женщины, которая равнодушно убивает вас, не жестокая ли это казнь? В это мгновение Федора, сама того не зная, топтала все мои надежды, ломала мою жизнь и разрушала будущее с холодной беспечностью, с невинной жестокостью ребенка, который, из любопытства, отрывает крылья у бабочки.

— Позже — добавила Федора — вы оцените, как прочна привязанность, которую я предлагаю своим друзьям. К ним, убедитесь вы, я всегда добра, всегда им предана. За них я отдала бы жизнь, но вы стали бы презирать меня, покорись я их любви, не разделяя ее. Довольно. Вы — единственный человек, которому я сделала это последнее признание.

Вначале у меня не хватило слов, я едва овладел подымавшимся во мне ураганом; но вскоре я подавил свои волнения в глубине души и улыбнулся.

— Если я скажу вам, что вас люблю, — ответил я, — вы изгоните меня; если я стану обвинять себя в безразличии, вы накажете меня за это. Священники, судьи и женщины никогда не открываются всецело. Молчание не дает предполагать ничего; позвольте мне промолчать. Раз вы обратились ко мне с столь братским предостережением, значит, вы боитесь потерять меня, и эта мысль могла бы удовлетворить мою гордость. Но оставим в стороне всё личное. Вы, может быть, единственная женщина, с которой я могу философски обсуждать решение, столь противное законам природы. По отношению к другим особям вашего рода, вы — феномен. Давайте вместе, добросовестно искать причину этой психологической аномалии. Может быть, у вас, как у большинства женщин гордых собою, влюбленных в свои совершенства, существует чувство утонченного эгоизма, заставляющее вас ужасаться при мысли принадлежать мужчине, отрекшись от своей воли, подчинившись оскорбительному для вас условному превосходству? Раз так, вы показались бы мне в тысячу раз прекраснее. Или, быть может, первый опыт любви принес вам унижение? Быть может, цена, которую вы даете изяществу вашей талии, вашему восхитительному стану, заставляет вас опасаться обезображивающего материнства: не самый ли это веский, тайный довод для того, чтобы отказываться от чрезмерной любви? Или у вас есть недостатки, помимо вашей воли делающие вас добродетельной?.. Не гневайтесь, я обсуждаю, я изучаю, за тысячу верст от страсти. Природа, творящая слепых от рождения, вполне

может создать женщин, глухих, слепых, немых в любви. Поистине, вы драгоценный субъект для медицинских наблюдений. Вы не знаете всей вашей ценности. Возможно вполне законное отвращение у вас к мужчинам; я одобряю вас, мне они кажутся все уродливыми, противными. Но вы правы, — добавил я, чувствуя как расширялось у меня сердце, — вы должны нас презирать; нет мужчины, достойного вас!

Не стану повторять тебе всех сарказмов, которыми я со смехом осыпал ее. И что же? Слова, самые колкие, ирония, самая острая, не вызвали у нее ни движения, ни жеста досады. Она слушала меня, храня на губах, в глазах обычную улыбку, ту улыбку, которую она пользовалась как платьем, — всегда одну и ту же для друзей, просто для знакомых, для посторонних.

— Разве я не добрая, что позволяю вам так выставлять меня напоказ? — сказала она, уловив минуту, когда я молча смотрел на нее. — Видите, — со смехом продолжала она, — глупой щепетильности в дружбе у меня нет. Немало женщин в наказание за дерзости закрыли бы перед вами двери.

— Можете выгнать меня от себя, не считая себя обязанной давать мне отчет в вашей суровости.

Говоря так, я чувствовал, что способен убить ее, если она откажет мне от дому.

— Сумасшедший! — вскричала она улыбаясь.

— Думали ли вы когда-нибудь, — вновь заговорил я, — о проявлениях сильной любви? В отчаянии мужчина нередко убивал свою возлюбленную.

— Лучше быть мертвой, чем несчастной, — ответила она холодно. — Человек, столь страстный, когда-нибудь бросит жену, покинет ее на соломе, проев ее состояние.

Подобная арифметика ошеломила меня. Я отчетливо увидел пропасть между этой женщиной и собою. Мы никогда не могли бы понять друг друга.

— Прощайте, — сказал я холодно.

— Прощайте, — ответила она, дружески кивнув головой. — До завтра.

Мгновение смотрел я на нее и взором метал в нее любовь, от которой я отрекался. Она стояла и банальной улыбкой, ненавистной улыбкой мраморной статуи, выражала любовь, только холодную. Поймешь ли ты, милый мой, какая скорбь охватила меня, когда, под дождем и снегом, возвращался я домой, шел целую милю по гололедице набережной, все потеряв? О! знать, что она и не задумывалась о моей бедности, считая, что я богат как она и еду себе

в карете! Какое падение, какой обман! Дело шло уже не о деньгах, а обо всех богатствах души. Я шел наугад, сам с собою обсуждая фразы этого странного разговора, и я так запутался в своих комментариях, что в конце концов стал сомневаться в действительной цене слов и идей! И все же я ее любил, я любил эту холодную женщину, сердце которой жаждало быть покоренным в любой момент, которая отрекалась от всех своих вчерашних обещаний и назавтра являлась как новая возлюбленная. Проходя в калитку Института, я почувствовал в себе лихорадочную дрожь. Я вспомнил тогда, что ничего не ел. Ни гроша не было у меня. Для довершения беды, от дождя сселась моя шляпа. Как теперь подойти к элегантной даме и явиться в гостиную со шляпой, которую остается только выбросить! Благодаря исключительным заботам, постоянно кляня глупую, дурацкую моду, из-за которой мы обречены выставлять напоказ наши головные уборы, неизменно держа их в руке, я все же сохранил свою шляпу в сносном состоянии. Не будучи до курьёза новой, ни чересчур старой, ни облезлой, ни лоснящейся, она могла сойти за шляпу человека аккуратного; но искусственное ее существование подходило к последнему своему периоду; с изъятиями, покоровившаяся, поношенная, она становилась настоящей ветошью, достойным отражением ее хозяина. За неимением тридцати су, я губил свою ловко придуманную элегантность. Ах! каких только неведомых жертв не принес я Федоре за эти три месяца! Часто я жертвовал деньгами, необходимыми для покупки хлеба на целую неделю, для того чтобы повидать ее одно мгновение. Забросить работу и голодать — это еще пустяки! Но пройти через весь Париж и не быть забрызганным грязью, бегом спастись от дождя и являться к ней столь же тщательно одетым, как окружавшие ее фаты, — ах! для поэта, влюбленного и рассеянного, такая задача представляла неисчислимые затруднения. Мое блаженство, моя любовь зависели от грязного пятнышка на моем единственном белом жилете! Отказываться видеть ее, если запачкался, если промок! Не иметь и пяти су для чистильщика, который удалил бы с сапог крошечное пятно грязи! Моя страсть возрастала от этих мелких безвестных мучений, для человека раздражительного огромных. Бедняки обречены на жертвы, о которых им не разрешается и говорить женщинам, живущим в сфере роскоши и элегантности, смотрящим на мир сквозь призму, что золотит людей и вещи. Оптимистические из-за эгоизма, жестокие из-за хорошего тона, они избавляют себя от размышлений во имя своих удоволь-

ствий и оправдывают свое равнодушие к несчастью — влечением своим к забавам. Для них грош никогда не стоит миллиона, но миллион кажется им грошом. Если любви приходится выигрывать свое дело при помощи великих жертв, она должна также и скромно набросить на них покров, погresti их в молчании; но расточая свое состояние и жизнь, жертвуя собою, люди богатые извлекают пользу из светских предрассудков, которые всегда придают известный блеск их любовным безумствам; у них молчание красноречиво и покров прелестен, тогда как жестокая моя нужда обрекла меня на ужасающие страдания, не позволяя мне сказать „люблю!“ или „умираю!“ Но в конечном счете было ли то самопожертвованием? Не богато ли был я вознагражден наслаждением, которое я ощущал, все предавая закланию ради нее? Графиня придала чрезвычайную ценность, сообщила исключительную радостность пошлейшим случаям моей жизни. Прежде беззаботный относительно туалета, теперь я чтил свой фрак как второе „я“. Быть раненным самому или разорвать фрак? Я не колебался бы в выборе. Ты должен принять к сердцу мое положение, и тогда поймешь ярость мысли, возрастающее бешенство, которые овладевали мною на ходу, которые от ходьбы еще усиливались! Какую-то адскую радость испытывал я, чувствуя себя на вершине бед. Предсказания счастья хотел я видеть в этом последнем кризисе; но сокровищницы бед бездонны.

В гостинице дверь была полуотворена. Сквозь отверстие в форме сердца, прорезанное в ставне, я заметил падающий на улицу свет. Полина с матерью разговаривали, поджидая меня. Я услышал свое имя и прислушался.

— Рафаэль — говорила Полина — гораздо лучше, чем студент из седьмого номера! У него белокурые волосы такого красивого цвета! Не находишь ли ты, что в его голосе есть что-то, — не знаю что, — трогательное сердце? И потом, хотя по виду он немножко горд, он такой добрый, а манеры его такие изысканные! О! Он мне очень нравится! Я уверена, что все женщины должны быть без ума от него.

— Ты говоришь о нем, точно влюблена в него, — заметила г-жа Годэн.

— О, — ответила та, рассмеявшись, — я люблю его как брата. Милой было бы благодарностью, если бы не было у меня чувства дружбы к нему! Не он ли обучил меня музыке, рисованию, грамматике, всему, что я знаю? Ты не обращаешь достаточно внимания на мои успехи, мама; а я становлюсь такой образованной, что скоро буду в силах давать уроки, и тогда нам можно будет взять прислугу.

Я потихоньку отошел; потом нарочно зашумел и вошел в залу за лампой, которую зажигала Полина. Бедный ребенок излил целительный бальзам на мои язвы. Наивное восхваление меня придало мне немного бодрости. Мне нужна была вера в себя и беспристрастная оценка моих действительных достоинств. Так загорелись мои надежды, бросив, может быть, ответ на все, что я видел кругом. И так же, может быть, я по-настоящему и не всматривался до сих пор в сцену, которую на моих глазах столь часто играли эти две женщины посреди этой залы; но на этот раз я в действительности восхитился прелестнейшей картиной той скромной натуры, которую с такой наивностью воспроизводили фламандские живописцы. Мать, сидя у угла почти погасшего очага, вязала чулок, и добрая улыбка блуждала на ее губах. Полина раскрашивала экраны; бросаясь в глаза, на маленьком столе ее кисти и краски создавали острый зрительный эффект; а когда она поднялась с места и стояла, зажигая лампу, весь свет упал на ее белую фигуру; нужно было поработиться ужасной страсти, чтобы не восхищаться ее руками, прозрачными, розовыми, ее идеальной головой и девственным ее видом. Ночь и молчание прибавляли очарования этой поздней работе, этой мирной домашней сцене. Эта постоянная работа, переносимая весело, свидетельствовала о религиозной покорности, исполненной возвышенных чувств. Непередаваемая гармония существовала здесь между вещами и людьми. У Федоры в роскоши была сухость, она пробуждала во мне дурные мысли; тогда как эта смиренная бедность, эта простота и естественность освежали мне душу. Быть может, я чувствовал себя униженным среди роскоши, а возле этих двух женщин, посреди потемневшей залы, где упростившаяся жизнь, казалось, находила себе приют в волнениях сердца, быть может, здесь я примирялся с самим собой, находя место, где могу оказать покровительство, дать почувствовать которое составляет гордость мужчины. Когда я подошел к Полине, она бросила на меня взгляд, почти материнский; руки у нее задрожали, и она вскричала, быстро поставив лампу:

— Боже мой! как вы бледны. Ах! он весь вымок. Мама вас высушит. Вы любите молоко, — продолжала она, сделав короткую паузу: — сегодня вечером у нас есть сливки, вот, хотите их попробовать?

Как кошечка бросилась она к фарфоровому кувшину, полному молока, и подала мне его с такой живостью, поднесла к самому носу так мило, что я стал колебаться.

— И вы откажете мне? — сказала она изменившимся голосом.

Мы оба были горды и понимали друг друга: Полина, казалось, страдала от своей бедности и упрекала меня за высокомерие. Я был тронут. Эти сливки, быть может, были ее утренним завтраком. Однако, я не отказался. Бедная девушка пыталась скрыть свою радость, заискрившуюся в ее глазах.

— Не лишнее было выпить сливок, — сказал я, садясь (выражение озабоченности пробежало у нее на лбу). — Помните, Полина, то место, где Боссюэ говорит, что бог за стакан воды воздаст обильнее, чем за победу?

— Да, — ответила она.

И грудь у нее забилась как у птенца малиновки в руках ребенка.

— Вот что, — добавил я не вполне уверенным голосом, — мы скоро расстанемся, позвольте же засвидетельствовать вам благодарность за все заботы, ваши и вашей ма-тушки.

— О! не будем считаться, — сказала она, рассмеявшись.

Смех ее скрывал волнение, от которого мне стало больно.

— Мое фортепиано, — продолжал я, сделав вид, что не слышал ее слов, — один из лучших инструментов Эрара: примите его. Примите его без смущения, право же, я не могу захватить его с собой в путешествие, которое я собираюсь предпринять.

Быть может, под влиянием меланхолического тона, с каким я произнес эти слова, обе женщины, казалось, поняли меня и взглянули на меня с любопытством, к которому примешивался ужас. Привязанность, которой я искал в холодных областях большого света, была вот здесь, настоящая, уми-лительная и, может быть, прочная.

— К чему такие заботы? — сказала мать. — Оставайтесь здесь. Мой муж теперь в пути, — продолжала она. — Сегодня вечером я читала евангелие от Иоанна, в то время как Полина держала в пальцах на весу наш ключ, привязав его к библии, — и ключ повернулся. Это предсказание возвещает, что Годэн здоров и благополучен. Полина повторила гадание для вас и для молодого человека из седьмого номера; но ключ повернулся только для вас. Все мы будем богаты. Годэн вернется миллионером: я видела его во сне на корабле, полном змей; к счастью, вода была мутной, что означает золото и драгоценные камни из-за моря.

Эти дружеские, лишенные смысла слова, похожие на те неясные песни, какими мать убаюкивает больного ребенка, вернули мне подобие спокойствия. Голос и взгляд доброй женщины были исполнены той тихой сердечности, которая

не уничтожает скорби, но успокаивает ее, укачивает и при-
тупляет. Более прозорливая, чем мать, Полина смотрела
на меня испытующе и тревожно, ее умные глаза, казалось,
угадывали мою жизнь и будущее. Я поблагодарил накло-
нением головы мать и дочь; потом я поспешил прочь, боясь
расчувствоваться. Очутившись один под крышей, я улегся
со своим несчастьем. Роковое мое воображение рисовало мне
тысячу проектов, лишенных основания, и диктовало невоз-
можные решения. Когда человек влачит существование среди
хлама своего прежнего богатства, он находит все-таки кое-
какие средства; но у меня не было решительно ничего.
Ах! милый мой, слишком легко обвиняем мы бедность. Будем
снисходительны к результатам активнейшего социального
„растворителя“. Где царит бедность, там не существует
больше ни стыда, ни преступлений, ни добродетелей, ни ума.
У меня не было тогда ни мыслей, ни силы, как у юной де-
вушки, упавшей на колени перед тигром. Человек без страсти
и без денег еще владеет собой, но влюбившийся бедняк уже
не принадлежит себе и убить себя не может. Любовь вну-
шает нам религиозное чувство к самим себе, мы чтим в нас
другую жизнь; и в таком случае любовь становится ужас-
нейшим из несчастий, несчастием при надежде, заста-
вляющей вас терпеть пытку. Я заснул с мыслью пойти
завтра к Растиньяку и рассказать ему о странном решении
Федоры.

— Ага!—сказал Растиньяк, видя, что уже в девять часов
утра я вхожу к нему,—знаю, отчего ты пришел; должно
быть, Федора дала тебе отставку. Добрые души, ревнивые
к твоей власти над графиней, уже объявили о вашей свадьбе.
Бог знает, какими безумствами не наделяли только тебя твои
соперники, какого только не было злословия по твоему
адресу!

— Этим все объясняется!—вскричал я.

Я вспомнил о всех своих дерзостях и нашел, что графиня
держала себя превосходно. На мой взгляд я был подлецом,
который еще не достаточно страдал, а в ее снисходитель-
ности увидел я только терпеливое милосердие любви.

— Не будем спешить,—сказал благоразумный гаско-
нец.—У Федоры дар проницательности, свойственный жен-
щинам глубоко эгоистичным; она, может быть, составила о
тебе суждение еще тогда, когда ты видел в ней только ее
богатство и роскошь; несмотря на твою ловкость, она ста-
нет читать у тебя в душе. Она сама достаточно страстна,
чтобы быть беспощадной к малейшей скрытности. Пожалуй,—
добавил он,—я толкнул тебя на дурной путь. При всей тон-

кости своего ума и обхождения, она, кажется мне, властное существо, как все женщины, которые знают только головные наслаждения. Для нее блаженство целиком в жизненном благополучии, в общественных развлечениях; чувство для нее — роль; она сделала бы тебя несчастным и превратила бы в своего главного лакея...

Растиньяк говорил глухому. Я прервал его, с мнимой веселостью изложив ему, каково мое финансовое положение.

— Вчера вечером, — ответил он, — дурное настроение похитило у меня все деньги, которыми я мог располагать. Не будь такой пошлой неудачи, я охотно разделил бы с тобой свой кошелек. Пойдем, позавтракаем в кабачке; за устрицами, может быть, что-нибудь и придумаем.

Он оделся, приказал заложить тильбюри; потом, как два миллионера, мы прибыли в *Café de Paris*, с наглостью тех предприимчивых спекулянтов, которые живут воображаемыми капиталами. Этот дьявол-гасконец смущал меня своей развязностью и невозмутимым апломбом. За кофе, после очень тонкого и обдуманного завтрака, раскланявшись уже с целой толпой молодых людей, достойных внимания и по приятной их наружности и по элегантности их костюма, Растиньяк, видя, что входит один из этих денди, сказал мне:

— Вот, твое дело устроено.

И он подал знак джентльмену с отличным галстуком, искавшему подходящего для себя столика, что хочет с ним поговорить.

— Этот плут, — сказал мне Растиньяк на ухо, — получил орден за то, что опубликовал сочинения, в которых ничего не смыслит; он химик, историк, романист, публицист; он получает свои четверти, трети, даже половины с множества театральных пьес; невежествен он как мул дон-Мигуэля. Это не человек, а имя, привычная публике этикетка. Потому он поостерегся бы войти в кабинеты, на которых бывает надпись: Здесь можно писать самому. Он так хитер, что одурачит целый конгресс. В двух словах, это метис в морали, он не вполне честен и не совершенный негодяй. Но шш! Он уже дрался, свету ничего больше не нужно, о нем говорят: „Это человек почтенный“.

— Ну-с, мой превосходный друг, мой почтенный друг, как поживает Ваше Разумение? — сказал ему Растиньяк, как только незнакомец уселся за соседний стол.

— Ни хорошо, ни плохо... Завален работой. У меня в руках все материалы, необходимые для составления очень любопытных исторических мемуаров, а я не знаю, кому их приписать. Это меня мучит, нужно спешить, мемуары выходят из моды.

— Мемуары современные или старинные? О придворной жизни?.. Или о чем?

— О деле с Ожерельем.

— Ну не чудо ли это? — сказал мне Растиньяк со смехом. Потом, обратясь к спекулянту и указывая на меня, он продолжал:

— Г-н де Валантен, один из моих друзей, которого я рекомендую вам как одну из будущих наших литературных знаменитостей. У него была тетка маркиза, бывшая когда-то в большой силе при дворе, и вот уже два года, как он работает над историей революции в духе роялизма.

Затем, наклоняясь к уху этого своеобразного негоцианта, он сказал:

— Человек талантливый, но простак, он может написать вам мемуары, от имени своей тетки, за сто экю том.

— Идет, — отвечал тот, подтягивая галстук. — Гарсон, устриц!

— Только вы дадите мне двадцать пять луидоров комиссии и ему заплатите за том вперед, — продолжал Растиньяк.

— Нет, нет. Авансу не больше пятидесяти экю, ради уверенности, что скорее получу рукопись.

Растиньяк шопотом передал мне этот торговый разговор. Потом, не спрашивая меня:

— Мы согласны, — ответил он. — Когда вас можно пови-
дать, чтобы покончить?

— Что же, приходите сюда обедать завтра вечером, в семь.

Мы поднялись. Растиньяк бросил мелочь гарсону, сунул счет в карман, и мы вышли. Я был изумлен той легкостью, и беззаботностью, с которой он продал мою почтенную тетушку, маркизу де Монборон.

— Я предпочту уехать в Бразилию и обучать там индейцев алгебре, в которой ни слова не смыслю, чем пачкать имя своего рода.

Растиньяк прервал меня раскатом хохота.

— Ну не дурак ли ты. Бери сперва пятьдесят экю и пиши мемуары. Когда они будут закончены, ты откажешься выпускать их под именем тетки. Г-жа де-Монборон, умершая на эшафоте, ее фижмы, светскость, красота, притирания, мулы, разумеется, стоят больше шестисот франков. Если издатель не захочет тогда платить за тетку сколько она стоит, он найдет какого-нибудь старого кавалера-проходимца или захудалую графиню, чтобы подписать мемуары.

— О! — вскричал я, — зачем сошел я со своей добродетельной мансарды. Свет с изнанки так грязен, так подл!

— Чего там, — ответил Растиньяк, — это с поэтической точки зрения, а речь идет о деле! Ты дитя. Слушай: что до мемуаров, их оценит публика; а что до этой литературной сводни, разве он не истратил восемь лет своей жизни и не заплатил за свои издательские связи жестокими опытами? Деля неравномерно с ним труд над книгой, не получишь ли ты лучшую часть? Двадцать пять луидоров для тебя большая сумма, чем тысяча франков для него. Ты ведь можешь написать исторические мемуары, как никак — произведение искусства, раз Дидро за сто экю составил шесть проповедей.

— В конце концов, — сказал я ему совсем взволнованный, — для меня это неизбежно: итак, мой друг, позволь поблагодарить тебя. Двадцать пять луидоров сделают меня богачом.

— Богаче, чем ты думаешь, — ответил он со смехом. — Фино платит мне за комиссию, и разве ты не сообразил, что и это пойдет тебе? Поедем в Булонский лес, — сказал он, — увидим там твою графиню, покажу тебе хорошенькую вдовушку, на которой собираюсь жениться. Очаровательная особа, альзасска, чуть-чуть только жирна. Читает Канта, Шиллера, Жан-Поля и кучу книг по гидравлике. У нее манера постоянно спрашивать мое мнение; приходится делать вид, что понимаю немецкую чувствительность, что знаю тему баллад, все эти микстуры, запрещенные мне доктором. Еще не сумел отучить ее от литературного энтузиазма: плачет навзрыд, читая Гёте, и я принужден немножко поплакать, из угождения, ибо, милый мой, пятьдесят тысяч ливров дохода и самая хорошенькая ножка, самая хорошенькая ручка в мире... Ах, не произноси она пафосный вместо божественный — была бы совершенством.

Мы увидели графиню, блистательную в блистательном экипаже. Кокетка поклонилась нам весьма приветливо и бросила мне улыбку, показавшуюся тогда божественной и полной любви. Ах, я был очень счастлив, считал, что меня любят, у меня были деньги, сокровища страсти, нищета миновала! Веселый, легкий, всем довольный, я и возлюбленную моего друга нашел очаровательной. Деревья, воздух, небо, вся природа, казалось, повторяла мне улыбку Федоры. По дороге с Елисейских полей мы заехали к шляпнику и портному Растиньяка. Дело с Ожерельем позволило мне перейти с жалкого мирного положения на грозное военное. Отныне без страха мог я состязаться в изяществе и элегантности с молодыми людьми, кружившимися возле Федоры. Я вернулся домой, заперся, оставаясь по видимости спокой-

ным, возле моего чердачного окна, но навеки прощаясь с крышами, живя будущим, драматизируя свою жизнь, делая учет любви и ее радостям. Ах, каким бурным может стать существование среди четырех стен мансарды! Душа человеческая точно фея, солону обращает она в алмазы; под ее палочкой расцветают волшебные дворцы, как цветы полей под теплым дыханием солнца... Около полудня, на другой день, Полина тихо постучалась у двери и подала мне, угадай что? Письмо Федоры. Графиня просила встретиться с нею в Люксембургском парке и вместе пойти в музей и ботанический сад.

— Посыльный ждет ответа, — сказала она, после минуты молчания.

Быстро нацарапал я слова благодарности в письме, которое Полина унесла. Я стал одеваться. И вот, когда, довольный собой, я кончал свой туалет, ледяная дрожь охватила меня при мысли:

„Приехала или пришла Федора? Будет дождь или солнце?... Но — говорю я сам себе, — пешком или в карете, можно ли положиться на фантазерский ум женщины? У нее может не оказаться денег с собой, а она захочет дать сто су мальчишке-савояру за то, что у него красивые лохмотья“.

У меня не было и медной полушки, и деньги я должен был получить только вечером. О! как дорого, среди этих юношеских кризисов, платит поэт за ту умственную силу, которой облачают его правильные жизнь и труд. В одно мгновение тысячи мыслей, живых и скорбных, пронзили меня своими жалами; я взглянул на небо в свое чердачное окно, погода была очень ненадежная. В случае несчастья, конечно, я мог бы взять карету на день, но и среди блаженства не трепетал ли бы я каждую минуту от мысли, что не встречу вечером с Фино? Я был достаточно силен, чтобы на лоне радости выносить столько страхов. Несмотря на уверенность, что ничего не найду, я предпринял большую разведку у себя в комнате, искал воображаемых эку даже в глубине тюфяка, перерыл всё, даже вытряс старые сапоги. Охваченный нервной лихорадкой, я диким взглядом осмотрел мебель, предварительно всю ее опрокинув. Поймешь ли ты, какой бред объял меня, когда, в седьмой раз открыв ящик письменного стола, который осматривал со свойственной отчаянию небрежностью, я заметил, что к боковой доске пристала, прижавшись, спрятавшись, такая чистенькая, блестящая, ясная как восходящая звезда, прекрасная, благородная монета в сто су? Не требуя отчета ни в ее молчании, ни в жестокости, в коей она была виновна, держась так потаенно,

я поцеловал ее как друга, верного в несчастьи, приветствовал ее криком, которому отвечало эхо. Я резким движением повернулся и увидел Полину, которая побледнела.

— Я думала, — сказала она взволнованным голосом, — не заболели ли вы! Посыльный... (она остановилась, точно задыхаясь). Но мама заплатила ему, — прибавила она.

Потом она убежала, ребячливая, игривая как каприз. Бедная детка! Я пожелал ей счастья. В этот момент, казалось мне, я владел в своей душе всем наслаждением земли, и я хотел бы вернуть несчастным ту часть, которую, как я думал, я украл у них. В наших предчувствиях бедствий мы всегда правы, — графиня отпустила экипаж. По одному из тех капризов, которые хорошенькие женщины не всегда объяснили бы и самим себе, она пожелала идти в Ботанический сад бульварами и пешком.

— Но будет дождь, — сказал я ей.

Ей нравилось мне противоречить. Как-раз всё время, пока мы шли по Люксембургскому саду, было солнечно. Когда мы вышли оттуда, из тучи, движение которой возбуждало мое беспокойство, упало несколько капель; мы сели в фиакр. Когда мы доехали до бульваров, дождь прошел, небо вновь прояснилось. Подъехав к Музею, я хотел отпустить карету, но Федора просила оставить ее за собой. Что за пытка! Но болтать с ней, подавляя тайный бред, без сомнения, отражавшийся у меня на лице улыбкой, глупой и неподвижной; бродить в саду, обходить пустые аллеи, чувствовать, как ее рука опирается на мою, — во всем этом было нечто фантастическое: то был сон наяву. А между тем в ее движениях, шла ли она или останавливалась, не было ничего нежного, ничего любовного, несмотря на видимое их сладострастие. Когда я старался хоть сколько-нибудь приобщиться к течению ее жизни, я находил в ней внутреннюю и тайную живость, что-то неровное и эксцентричное. У бездушных женщин в жестах нет ничего мягкого. Итак, мы не были связаны ни единством воли, ни даже одинаковым шагом. Не существует еще слов для передачи этого материального разногласия двух существ, ибо мы еще не привыкли познавать мысль в движении. Это явление нашей природы чувствуется инстинктивно и не поддается выражению.

Во время этих жестоких пароксизмов страсти, — продолжал Рафаэль, после минутного молчания, точно отвечая на возражение, которое он сделал сам себе, — я не рассекал своих чувствований, не анализировал своих наслаждений, не подсчитывал биений сердца как скупец исследует и взвешивает свои золотые монеты. О нет! Но сейчас опыт бросает

свой печальный свет на прошедшие события, и воспоминание приносит мне эти образы, как в ясную погоду волны моря выбрасывают на берег, кусок за куском, обломки разбитого корабля.

— Вы можете оказать мне очень важную услугу, — сказала графиня, со смущением глядя на меня. — После того, как я призналась вам в своей антипатии к любви, мне свободнее просить вас о любезности во имя дружбы. Не больше ли, — продолжала она со смехом, — будет у вас заслуг, если вы сделаете одолжение мне сегодня?

Я смотрел на нее с тоской. Ничего не чувствуя в моем присутствии, она лукавила, а не любила; она казалась мне играющей роль как искусная актриса; потом вдруг тон ее голоса, взгляд, какое-нибудь слово пробуждали во мне надежды; но если оживавшая любовь отражалась тогда в моих глазах, она выдерживала их лучи, и ясность ее собственных глаз не менялась, ибо они, как у тигров, имели, казалось, подкладку из металлических листов. В эти минуты я ее ненавидел.

— Мне было бы очень полезно заступничество за меня герцога де Наваррен, — продолжала она с лстивыми интонациями в голосе, — перед одной всевластной в России особой, посредничество которой необходимо, чтобы восстановить справедливость в деле, касающемся одновременно и моего состояния, и положения в свете — в признании моего брака императором. Герцог ваш родственник? Не правда ли? Письмо его решило бы всё.

— Я к вашим услугам, — ответил я ей, — приказывайте.

— Вы очень любезны, — сказала она, пожав мне руку. — Пойдемте ко мне обедать, я расскажу вам всё, как духовнику.

Итак, эта женщина, столь недоверчивая, столь осторожная, от которой никто и слова не слыхал об ее делах, собиралась посоветоваться со мной.

— О, как мне нравится теперь, что вы приказали мне молчать! — воскликнул я. — Но мне хотелось бы испытания еще более сурового.

В это мгновение она выдержала мой опьяненный взгляд и не отвергла моего восхищения, — значит, она любила меня! Мы приехали к ней. К великому счастью, содержимое моего кошелька могло удовлетворить извозчика. Я восхитительно провел время наедине с нею, у нее в доме; это было впервые, что я мог видеть ее так. До этого дня свет, со стеснительной его вежливостью, холодным обхождением, все время разделял нас, даже во время торжественных обедов, на этот раз я был с нею, как если бы мы жили под

одной кровлей, я, так сказать, владел ею. Мое бродяжническое воображение разламывало оковы, по моему усмотрению распоряжалось событиями жизни, погружая меня в улады счастливой любви. Я представлял себя ее мужем и приходил в восхищение, когда она была поглощена пустяками: видеть, как она снимает шаль и шляпу, было для меня уже счастьем. На минутку она оставила меня одного и вернулась, поправив прическу, очаровательной. Эта перемена туалета имела в виду меня! За обедом она осыпала меня вниманием и была бесконечно прелестна в тысяче мелочей, которые кажутся пустяками, но составляют половину жизни. Когда мы вдвоем уселись на шелку кресел у потрескивающего камина, окруженные самыми желанными созданиями восточной роскоши; когда я увидал так близко от себя женщину, прославленная красота которой заставляла биться столько сердец, когда эта столь недоступная женщина разговаривала со мной, обращая на меня всю свою кокетливость, — мое сладострастное блаженство стало почти страданием. На горе я вспомнил, что мне оставалось еще закончить важное дело, и я собрался пойти на свидание, которое мне назначили накануне.

— Как! Уже? — сказала она, видя, что я берусь за шляпу.

Она меня любила. По крайней мере, я подумал так, услышав, каким ласковым голосом произнесла она эти два слова. Чтобы продлить экстаз, я в то время охотно выменял бы два года своей жизни на каждый час, который ей угодно было уделить мне. Все деньги, которые я терял, увеличивали мое счастье! Была полночь, когда она отпустила меня. Тем не менее, на утро мой героизм стоил мне немало угрызений, я боялся, что пропустил дело с мемуарами, ставшее для меня столь существенным; я бросился к Растиньяку, и мы поспешили еще в постели застать того, чье имя появится на будущих моих трудах. Фино прочел мне коротенький контракт, где и речи не было о моей тетушке; я подписал его, и Фино отсчитал мне пятьдесят экю. Мы позавтракали втроем. Я заплатил за новую шляпу, абонировался на шестьдесят обедов по тридцати су, расплатился с долгами, и у меня осталось только тридцать франков; но все жизненные затруднения на несколько дней были устранены. Если бы я захотел послушаться Растиньяка и откровенно усвоил бы английскую систему, у меня были бы сокровища. Он во что бы то ни стало хотел устроить мне кредит и заставить меня войти в долги, утверждая, что долги укрепляют кредит. По его словам,

будущее, это — самый значительный, самый солидный из всех капиталов в мире. Под заклад будущих возможностей, он за меня дал заказы своему портному, который понимал, что такое молодой человек, и оставит меня в покое до женитьбы. С этого дня я порвал с монастырской жизнью ученого, которую я вел в течение трех лет. Я стал завсегдатаем у Федоры и старался по видимости одерживать верх над бывавшими там наглецами и добрыми малыми. Считаю, что навсегда спасся от бедности, я обрел умственную свободу, сокрушал соперников и слыл за человека обольстительного, обаятельного, непреодолимого. Однако, люди опытные говорили про меня: „У такого остряка страсти только в голове“. Человеколюбиво превозносили они мой ум на счет чувствительности. „Счастлив он, что не влюблен! — восклицали они. — При влюбленности разве был бы у него такой подъем, такая веселость?“ А между тем, я бывал по-влюбленному глуп в присутствии Федоры! Наедине с нею, я не знал, что сказать, а если говорил, то злословил о любви; я бывал печально-весел как придворный, который хочет скрыть жестокую досаду. Наконец, я старался стать необходимым для ее жизни, для ее счастья и тщеславия: целыми днями возле нее, я был ее рабом, игрушкой, неизменно готовой к ее услугам. Так растратив свой день, я возвращался домой, чтобы работать по ночам, и спал только два-три часа по утрам. Но, не имея, подобно Растиньяку, опыта в английской системе, я очутился вскоре без гроша. С тех пор, милый мой друг, фат без состояния, франт без денег, влюбленный аноним, я впал в образ жизни ненадежный, в холодную и глубокую нужду, которую заботливо скрывает обманчивая видимость роскоши. Я вновь ощутил тогда первоначальные свои мучения, но с меньшей остротой; без сомнения, я освоился уже с их жестокими кризисами. Часто пирожное и чай, так скупое предлагаемые в гостиных, бывали единственной моей пищей. Иной раз, пышные обеды графини бывали мне пропитанием на два дня. Все свое время, усилия, наблюдательность я тратил на то, чтобы глубже проникнуть в непроницаемый характер Федоры. До тех пор, надежда или отчаяние оказывали влияние на мои мнения, поочередно видел я в ней то женщину наиболее любящую, то самую бесчувственную представительницу своего пола; но эти смены радости и печали сделались невыносимы: мне захотелось найти развязку этой ужасающей борьбы, убив свою любовь. Мрачный свет блистал порою у меня в душе, позволяя видеть между нами пропасть. Графиня оправдывала все мои опасения;

ни разу не удалось мне подметить слез у нее на глазах; в театре, при трогательной сцене, она оставалась холодной и насмешливой. Всю тонкость своего ума она хранила для себя, не угадывая ни радости, ни горя ни у кого другого, словом, она играла мною! Счастливый тем, что мог принести ей жертву, я почти унился ради нее, отправившись к своему родственнику герцогу де-Наваррен, человеку эгоистическому, красневшему за мою бедность, который был слишком виноват передо мною, чтобы не ненавидеть меня; он принял меня, поэтому, с той холодной вежливостью, от которой в словах и жестах появляется нечто оскорбительное. Его беспокойный взгляд возбудил во мне чувство жалости. Мне стало стыдно за его мелочность среди такого величия, за его ничтожество среди такой роскоши. Он заговорил со мной о значительных убытках, причиненных ему трехпроцентным займом; тогда я сказал о цели своего визита. Перемена в его обращении, которое из ледяного нечувствительно сделалось любезным, была мне отвратительна. И что же, друг мой? Он пошел к графине и раздавил меня. Неведомые чары и обольщения нашла для него Федора; она пленила его и без меня устроила свое таинственное дело, о котором я ни слова не узнал: я для нее был только средством!.. Казалось, она меня более не замечала, когда мой кузен бывал у нее; и теперь принимала она меня с меньшим, может быть, удовольствием, чем в тот день, когда я был ей представлен. Раз вечером она перед герцогом унизила меня одним из тех жестов, взглядов, которых никакое слово не могло бы описать. Я вышел в слезах, создавая тысячу проектов мщения, задумывая ужасные насилия... Часто я провожал ее в театр Буффон: там, возле нее, весь отдавшись любви, я созерцал ее, предаваясь очарованию музыки, истощая свою душу двойственным наслаждением — любить и обретать в музыкальных фразах искусную передачу движений моего сердца. Моя страсть была в воздухе, на сцене: она торжествовала повсюду, только не у моей возлюбленной. Я брал тогда Федору за руку, всматривался в ее лицо и в ее глаза, домогаясь того слияния наших чувств, той внезапной гармонии, которая, будучи пробуждена музыкой, заставляет души вибрировать в унисон; но рука ее была немой, и глаза не говорили ни о чем. Когда пламя сердца, исходившее от каждой черты моего лица, слишком сильно ударяло ей в глаза, она бросала мне искусственную улыбку, условную фразу, которую воспроизводят все салонные портреты. Она не слушала музыки. Божественные страницы Россини, Чимарозы, Цингарелли

не вызывали в ней никакого чувства, не передавали для нее нисколько поэзии ее жизни; душа ее была бесплодна. Федора сама являлась зрелищем на зрелище. Ее морнет безустанно странствовал с ложи на ложи; в тревоге, хотя и спокойная, она была жертвою моды: ее ложа, шляпа, карета, собственная ее особа были для нее все. Вы часто встретите людей, по внешности колоссов, у которых сердце нежно и деликатно в их теле из бронзы, — она же таила сердце из бронзы под хрупкой и изящной оболочкой. Немало покровов было сорвано роковым моим знанием. Если хороший тон состоит в том, чтобы забывать о себе ради других, чтобы придавать постоянно мягкость своему голосу и жестам, чтобы нравиться другим, делая их довольными собой самим, то, несмотря на свою тонкость, Федора не смогла стереть следов своего плебейского происхождения: забвение себя у нее было фальшью; ее манеры были не врожденными, но старательно выработанными, наконец, ее вежливость отзывалась рабством. И что же? Медовые ее слова были для ее фаворитов выражением доброты, претенциозные преувеличения — благородным энтузиазмом. Я один, только я, изучил ее гримасы, снял с ее внутреннего существа ту тонкую корочку, которою довольствуется свет, и не был больше жертвою ее обезьянств; до глубины знал я ее кошачью душу. Когда какой-нибудь дурак говорил ей любезности и превозносил ее, мне было за нее стыдно. И все-таки я любил ее! Под крыльями любви поэта надеялся я растопить ее льды. Если бы хоть раз смог я раскрыть ее сердце для женской нежности, если бы я посвятил ее в возвышенность самопожертвования, она стала бы для меня совершенством, ангелом. Как мужчина, как возлюбленный, как художник любил я ее, тогда как нужно было не любить ее, чтобы овладеть ею; надутый фат, холодный счетчик, быть может, восторжествовали бы над ней. Суетная, искусственная, она, без сомнения, уразумела бы язык тщеславия, она позволила бы запутать себя в сетях интриги; она дала бы мужчине, сухому и ледяному, господствовать над собою. Острая скорбь за живое задевала мою душу, когда она с наивностью обнаруживала свой эгоизм. Я предвидел, что когда-нибудь она очутится в жизни одна со своею скорбью, не зная кому протянуть руку, не встречая дружеских взглядов, которые успокоили бы ее. Раз вечером я осмелился нарисовать ей живыми красками ее старость, безлюдную, пустую и печальную. При виде ужасающей мести обманутой природы, она сказала жестокие слова:

— Я всегда буду состоятельной. — Так сказала она. — Ну, а с золотом всегда мы сумеем создать вокруг нас чувства, необходимые для благополучия.

Я ушел, пораженный, как громом, логикой этой роскоши, этой женщины, этого света, порицая себя за свое дурацкое идолопоклонство перед всем этим. Я не любил Полины с ее бедностью, и разве богатая Федора не имела права отвергнуть Рафаэля? Наша совесть — судья непогрешимый, пока мы еще не убили ее. „Федора, — кричал во мне полусофиста, — никого не любит, никого не отвергает; она свободна, а когда-то она отдалась за золото. Любовник или муж, русский граф владел ею. Будут у нее еще искушения в жизни! Подожди“. Не праведница и не грешница, она жила вдали от человечества, в своей сфере, в аду или раю. Женская тайна, одетая в кашемир и вышивки, играла в моем сердце всеми человеческими чувствами, гордостью, честолюбием, любовью, любопытством... Из-за каприза молвы или из-за желания казаться оригинальным, которое преследует нас всех, тогда появилась мания хвалить маленький бульварный театр. Графиня выразила желание видеть обсыпанного мукой актера, доставлявшего отраду иным неглупым людям, и я удостоился чести сопровождать ее на первое представление. Ложа стоила всего только сто су, но и предателягроша не было у меня. Мне оставалось еще выписать пол тома мемуаров, и я не смел молить о помощи Финю. А Растиньяк, мой благодетель, уехал. Быть постоянно в затруднительных обстоятельствах — это отравляло мне всю жизнь. Раз, когда мы выходили из театра Буффон под ужасным дождем, Федора приказала подать мне карету, и я никак не мог отказаться от этого показного одолжения: она не признавала ни моих извинений, ни моей любви к дождю, ни желания идти в игорный дом. Она не дотрагивалась о моем безденежье ни по смущению, с которым я держался, ни по моим печальным шуткам. Глаза мои наливались кровью, но разве был ей понятен хоть один взгляд? Жизнь молодых людей подчинена странным капризам! Пока я ехал, с каждым оборотом колеса пробуждались мысли, которые жгли мне сердце; я пробовал оторвать доску на дне кареты, надеясь выскользнуть на мостовую; но, встретив непобедимые препятствия, принужден конвульсивно хохотать, пребывая в мрачном и тупом спокойствии, как человек на цепи. По приезде домой, при первых же словах, которые я пролепетал, Полина прервала меня, сказав:

— Если у вас нет мелочи...

Ах! музыка Россини ничто в сравнении с этими словами. Но вернемся к театру Фюнамбюль. Чтобы иметь возможность сопровождать туда графиню, я решил заложить золотой ободок, что окружал портрет моей матери. Хотя ссудная касса всегда рисовалась в моей мысли как ворота каторги, все же лучше снести туда самому свою постель, чем просить милостыни. Взгляд человека, у которого вы просите денег, причиняет такую боль. Иной раз займы стоят нам чести так же, как иной отказ, произнесенный дружескими устами, похищает у нас последние иллюзии. Полина работала, ее мать легла спать. Бросив беглый взгляд на постель, занавески которой были слегка приподняты, я подумал, что г-жа Годэн крепко уснула, — в тени на подушке отпечатлевался ее спокойный, желтый профиль.

— Вы огорчены? — сказала мне Полина, кладя кисть на доску с красками.

— Дитя мое, вы можете оказать мне большую услугу, — ответил я.

Она взглянула на меня с выражением такого счастья, что я вздрогнул.

— Не любит ли она меня? — подумал я. — Полина... — снова начал я.

И я сел подле нее, чтобы лучше ее наблюдать. Она поняла меня, — таким испытующим был тон моего голоса; она опустила глаза, и я всматривался в нее, думая, что можно читать в ее сердце как в своем собственном, — так лицо ее было наивно и чисто.

— Вы любите меня? — сказал я.

— Немножко... страстно... вовсе нет! — воскликнула она.

Она меня не любила. Ее насмешливый тон и милый жест, вырвавшийся у нее, обнаружили лишь забавную признательность юной девушки. Я признался ей в своем безденежье, в затруднительных обстоятельствах, и просил ее помочь мне.

— Как? — сказала она. — Вы сами не хотите идти в ссудную кассу и посылаете меня!

Я покраснел, смущенный логикой ребенка. Она взяла меня за руку, точно желая ласкою вознаградить за правдивость своего восклицания.

— О! Я сходила бы, конечно, — сказала она, — но ходить не зачем. Сегодня утром я нашла за фортепиано две монеты по сто су, они попали между стеной и фортепиано, вы не заметили. Я положила их к вам на стол.

— Вы скоро должны получить деньги, — сказала мне добрая ее матушка, высовывая голову из-за занавески. — Пока я вам могу ссудить несколько экю.

— Полина, — вскричал я, сжимая ей руку, — я хотел бы быть богатым!

— А зачем? — сказала она упрямо.

Ее рука дрожала в моей, отвечая каждому биению моего сердца; она быстро выдернула свои пальцы и взглянула мне на ладонь.

— Вы женитесь на богатой, — сказала она, — но она принесет вам много огорчений... Ах! Боже мой! Она убьет вас!.. Я в этом уверена.

В ее крике была вера в глупые гадания ее матери.

— Вы очень легковжны, Полина!

— О! наверно, — сказала она, смотря на меня с ужасом. — Женщина, которую вы полюбите, убьет вас!

Она взялась за кисть, обмакнула ее в краску, не скрывая живого своего волнения, и больше не смотрела на меня. В этот момент мне очень хотелось бы уверовать в химеры. Человек не бывает вполне несчастным, раз он суеверен. Суеверие часто бывает надеждою. Удалившись к себе в комнату, я действительно увидал два благородных эку, появление которых показалось мне необъяснимым. На лоне смутных мыслей первого сна, я постарался проверить свои расходы, чтобы найти оправдание этой неожиданной находке, но заснул, потерявшись в бесполезных подсчетах. На другой день Полина зашла ко мне в тот момент, когда я собирался идти брать ложу.

— Вам, может быть, мало десяти франков, — сказала, краснея, добрая, милая девушка, — мама поручила мне предложить вам денег... Берите, берите!

Она положила три эку на стол и хотела исчезнуть; но я удержал ее. Восхищение высушило слезы, покотившиеся у меня из глаз.

— Полина, — сказал я, — вы ангел! Эти деньги трогают меня гораздо меньше, чем стыдливость чувства, с которою вы предложили их мне. Я желал себе жены богатой, элегантной, титулованной; увы! теперь я хотел бы владеть миллионами и встретить молодую девушку, бедную как вы и как вы богатую сердцем, и отказался бы от роковой страсти, что убьет меня. Быть может, вы окажетесь правы.

— Довольно! — сказала она.

Она убежала, и соловьиный ее голос, ее свежие рулады раздались на лестнице.

— Счастлива она, что еще не любила! — сказал я сам себе, думая о мучениях, которые я испытывал уже несколько месяцев.

Пятнадцать франков Полины оказались для меня весьма драгоценными. Федора, подумав о простонародных запахах

в зале, где нам приходилось пробыть несколько часов, стала жалеть, что у нее нет букета; я отправился за цветами и поднес ей свою жизнь и состояние. С наслаждением и одновременно с укорами совести подал я ей букет, цена которого открыла мне, до какой степени убыточны те поверхностные любезности, что в обычае у света. Скоро она стала жаловаться на чуточку слишком сильный запах мексиканского жасмина; непереносимое отвращение чувствовала она, смотря на залу, и, сидя на жесткой скамье, она упрекнула меня, что я привел ее сюда. Хотя она была рядом со мной, ей захотелось уехать; и она уехала. Обречь себя бессонным ночам, расточить два месяца своего существования и не угодить ей! Никогда еще этот демон не был таким прелестным и таким бесчувственным. По дороге, сидя подле нее в тесной карете, я вдыхал в себя ее дыхание, касался ее надушенной перчатки, видел ясно сокровища ее красоты, ощущал испарения сладкие, как ирис целиком женщина и нисколько не женщина. В это мгновение проблеск света позволил мне увидеть глубины этой таинственной жизни. Я вдруг подумал о книге, недавно опубликованной поэтом, истинном замысле художника, осуществленном с искусством Поликлета. Казалось мне, я вижу это чудовище: то в облике офицера оно укрощает бешеную лошадь; то в облике молодой девушки садится за туалет и приводит в отчаяние своих любовников; то в образе любовника приводит в отчаяние деву нежную и скромную. Не будучи больше в силах каким-либо иным способом разгадать Федору, я рассказал ей эту фантастическую историю; но ничто ей не обнаружило ее сходство с этой поэмой о невозможном, которую она чистосердечно позабавилась, как ребенок сказкой из „Тысячи и одной ночи“.

„Чтобы противостоять любви мужчины моего возраста, противостоять передающемуся пылу этой прекрасной душевной заразы, Федора должна быть оберегаема какой-нибудь тайной, — говорил я себе, возвращаясь домой. — Быть может, подобно леди Делакур, ее съедает рак? Конечно, жизнь ее есть жизнь искусственная“.

Дрожь охватила меня при этой мысли. Потом у меня образовался проект, самый экстравагантный и самый в то же время разумный, какой только может придумать влюбленный. Чтобы исследовать эту женщину телесно, как я изучал ее душевно, чтобы, наконец, узнать ее целиком, я решил провести ночь у нее в комнате, без ее ведома. Вот как я выполнял это предприятие, пожирившее мне душу, как жажда мщения грызет сердце корсиканскому монаху. В приемные

дни у Федоры собиралось общество настолько многолюдное, что швейцар не мог уследить, вышли ли все гости. Уверенный в том, что мне удастся остаться в доме без скандала, я с нетерпением ждал ближайшего вечера у графини. Одеваясь, я положил в жилетный карман английский перочинный ножичек, за неимением кинжала. Найденное на мне это литературное орудие не вызвало бы никакого подозрения; а не зная, куда заведет меня мое романическое решение, я хотел быть вооруженным.

Когда гостиные начали наполняться, я пошел в спальню, чтобы всё там исследовать, и увидел, что жалюзи и ставни закрыты; начало было удачным; так как могла войти горничная, чтобы опустить занавеси у окон, я сам их развязал; я подвергал себя большому риску, отважившись таким образом заранее заняться уборкой комнаты, но покорялся опасностям своего положения, холодно взвесив их. Около полуночи я спрятался в амбразуре окна. Чтобы не было видно ног, я попробовал взобраться на плинтус, опираясь спиной о стену и уцепившись за оконную задвижку. Изучив законы своего равновесия и точки опоры, вымерив отделявшее меня от занавесок расстояние, я, наконец, освоился с трудностями положения настолько, что мог оставаться там, не рискуя быть обнаруженным, если только избавлюсь от судорог, кашля или желания чихнуть. Чтобы не утомлять себя без пользы, я стоял на ногах, ожидая критического момента, когда мне придется повиснуть, как пауку на паутине. Занавеси из белого муара и муслина образовывали предо мной толстые складки в роде труб органа, в которых своим ножичком я вырезал дырки; в них, как в бойницы, я мог видеть все. Смутно доносился говор в гостинных, смех и возгласы гостей. Неясный шум, глухое движение постепенно стихали. Несколько мужчин вошли взять шляпы, поставленные возле меня на комоде графини. Когда они касались занавесок, я дрожал от мысли о рассеянности, о случайности при этих поисках людей, которые спешат уйти и шарят тогда повсюду. Я предсказывал успех своему предприятию, не испытав ни одной из этих неприятностей. Последнюю шляпу унес влюбленный в Федору старик, который, думая, что он один, взглянул на постель и испустил тяжелый вздох, сопроводив его каким-то восклицанием, достаточно энергичным. С графиней в соседнем с ее комнатой будуаре осталось пять-шесть друзей, им она предложила чаю. Злословие, для которого современное общество сберегло малые остатки своей веры, примешалось тогда к эпиграммам, к остроумным суждениям, к стуку чашек и ложечек. Не щадя моих соперников,

Растиньяк вызывал безумный хохот своими едкими остротами.

— Г-н Растиньяк, это — человек, с которым не следует ссориться, — смеясь, сказала графиня.

— Пожалуй, — наивно сказал он. — Я всегда оказывался прав, в своей ненависти... и в дружбе также, — прибавил он. — Враги полезны мне не меньше друзей. Я специально изучил язык современности, те естественные ухищрения, которыми пользуются, чтобы на всё нападать и всё защищать. Министерское красноречие есть социальное усовершенствование. Лишен ума какой-нибудь из ваших друзей, — вы говорите об его честности и откровенности. Произведение другого тяжело, — вы отдаете честь добросовестности работы. Если книга плохо написана, вы восхваляете ее идеи. Ни веры, ни постоянства нет у такого-то, в любой момент он ускользнет от вас: ба! он оболстителен, обаятелен, очарователен. Идет речь о ваших врагах, — вы валите им на голову живых и мертвых, обрушиваете на них все термины вашего словаря, вы так же зорко видите их недостатки, как ловко и рельефно выставляете добродетели ваших друзей. Применение лорнета к нравственному зрению — вот тайна наших разговоров, вот целиком искусство придворного. Не употреблять его — значит сражаться безоружным против людей, закованных в железо, как рыцари. А я употребляю его! Иной раз даже им злоупотребляю. И вот, меня уважают, меня и моих друзей, ибо, замечу кстати, и шпага моя стоит моего языка.

Один из наиболее пылких поклонников Федоры, молодой человек, известный своим нахальством, из которого он сделал средство выбраться в люди, поднял перчатку, столь презрительно брошенную Растиньяком. Заговорив обо мне, он принялся восхвалять сверх меры мои таланты и самого меня. Этот вид злословия пропустил Растиньяк. Сардонически-похвальное слово ввело в заблуждение графиню, которая без жалости принялась уничтожать меня; чтобы позабавить друзей, она не пощадила моих тайн, притязаний и надежд.

— Это — человек с будущим, — сказал Растиньяк. — Когда-нибудь, может быть, он жестоко отплатит; его таланты по меньшей мере равняются его мужеству; я назвал бы поэтому весьма смелыми тех, кто нападают на него, ибо он не лишен ведь памяти...

— Настолько даже, что пишет мемуары, — прибавила графиня, которой явно не понравилось воцарившееся глубокое молчание...

— Мемуары выдуманной графини, — отозвался Растиньяк. — Чтобы их писать, нужен особый вид мужества.

— Я так и думаю, что у него много мужества, — ответила она, — он верен мне.

Меня брало большое искушение внезапно явиться перед насмешниками, как дух Банко в Макбете. Я терял возлюбленную, зато у меня был друг. Однако, любовь внушила мне один из тех подлых и хитрых парадоксов, которыми она умеет усыпить все наши горести.

— А если Федора любит меня, — разве она не должна прикрывать свое чувство злой шуткой? Разве сердце уже много раз не изобличало уста во лжи?

Вскоре, наконец, и дерзкий мой соперник, который один оставался еще с графиней, собрался удалиться.

— Как! Уже? — сказала она голосом, полным лести, заставившим меня задрожать. — И вы не подарите меня еще мгновением? Так вам нечего больше сказать мне? Вы не пожертвуете ради меня каким-нибудь из ваших наслаждений?

Он ушел.

— Ах! — воскликнула она зевая. — Все они очень скучные!

И она с силой дернула за шнурок, — звук сонетки раздался по комнатам. Графиня вошла в свою комнату, вполголоса напевая фразу из *Pria che spunti*. Никогда никто не слышал, чтобы она пела, и подобная немота вызывала странные толки. Говорили, что она обещала первому своему возлюбленному, очарованному ее талантами и ревнивому к ней даже за гробом, — никому не давать блаженства, которое он желал вкушать один. Все силы своей души я напруг, вдыхая звуки. С каждой нотой голос поднимался; Федора, казалось, одушевлялась, развертывались голосовые ее богатства, и тогда в мелодии появилось нечто божественное. В голосе графини была живая ясность, правильность тона, нечто такое гармонирующее и вибрирующее, что, проникая в сердце, трогало и щекотало его. Музыкантши почти всегда влюблены. Кто так пел, должен был уметь и любить. От красоты ее голоса одной тайной больше становилось в женщине, и без того таинственной. Я видел ее, как вижу теперь тебя; казалось, она прислушивается к себе и чувствует присущее ей сладострастие; точно любовную радость ощущала она. Она подошла к камину, оканчивая главный мотив этого *gondo*; но, когда она умолкла, лицо ее изменилось, черты исказились, и вся она выражала усталость. Вот она сняла маску; актриса, — она окончила свою роль. Но в этом подобии увядания, отпечатлевшемся на ее красоте, от труда ли актрисы или от усталости за вечер, было известное очарование.

— Теперь она настоящая! — сказал я себе.

Она, точно желая согреться, поставила ногу на бронзовую решетку в камине, стянула перчатки, отстегнула браслеты и через голову сняла золотую цепочку, на конце которой был подвешен флакончик для духов, украшенный драгоценными камнями. Несказанное наслаждение ощущал я, видя ее движения, такие же милые как у кошек, когда они умываются на солнце. Она посмотрелась в зеркало и сказала вслух, явно в плохом настроении:

— Я не была хороша сегодня вечером... цвет лица блекнет с ужасной быстротой... Мне нужно, может быть, ложиться пораньше, воздержаться от рассеянной жизни... Но что же Жюстина? Смеется она надо мной?

Она позвонила снова; вбежала горничная. Где она помещалась — не знаю. Она пришла по потайной лестнице. Мне было любопытно взглянуть в нее. Мое воображение часто обвиняло эту невидимую служанку, высокую смуглую девушку хорошего сложения.

— Изволили звонить?

— Два раза! — ответила Федора. — Должно быть, ты глоснешь?

— Я готовила для барыни миндальное молоко.

Жюстина стала на колени, расшнуровала высокие, как котурны, башмаки, разула госпожу, которая, небрежно раскинувшись на пружинном кресле у камина, зевала, почесывая голову. Вполне естественны были все ее движения, и никакой признак не выдавал предполагаемых мною тайных страданий и болезней.

— Жорж влюблен, — сказала она, — я его рассчитаю. Он не спустил сегодня занавеси? О чем он думает?

При этом замечании, вся кровь прилила у меня к сердцу; но больше и вопроса не было о занавесах.

— Жизнь так пуста, — продолжала графиня. — Ах да! Поосторожнее, не оцарапай меня как вчера. Вот посмотри, — сказала она, показывая свое атласное колено, — еще остался след от твоих когтей.

Она сунула голые ноги в бархатные туфли на лебяжьем пуху и стала расстегивать платье, в то время как Жюстина взяла гребень, чтобы причесать ее.

— Вам нужно, барыня, выйти замуж, и деток бы...

— Дети! Этого еще не доставало, чтобы меня прикончить! — воскликнула она. — Муж! Где тот мужчина, за кого могла бы я?... К лицу ли мне была прическа сегодня вечером?

— Не очень.

— Дура!

— Волнисто-завитые волосы, — продолжала Жюстина, — совсем это к вам не идет. Гладкие крупные букли гораздо авантажнее.

— Правда?

— Да, барыня, завитые волосы к лицу только блондинкам.

— Выйти замуж? Нет, нет! Брак — ремесло не для меня.

Что за ужасная сцена для влюбленного! Женщина одинокая, без родных, без друзей, атеистка в любви, не верящая ни в какое чувство; и как ни была бы слаба в ней свойственная всякому человеческому существу потребность в сердечном излиянии, она дошла до того, что удовлетворяет эту потребность болтовней с горничной, сухими фразами, пустяками!.. Мне стало ее жаль. Жюстина расшнуровала ее. Я с любопытством стал рассматривать ее, когда спал последний покров. Ее девственная грудь ослепила меня; сквозь сорочку при свечах ее тело, белое и розовое, сверкало, как блестит серебряная статуя, будучи обернута газом. Нет, в ней не было недостатков, которые заставили бы ее страшиться тайных взоров любви. Увы! прекрасное тело всегда восторжествует над решениями, достойными Марса. Госпожа села перед огнем, молчаливая, задумчивая, пока служанка зажигала свечу в алебастровой лампе, подвешенной перед постелью. Жюстина сходила за грелкой, приготовила постель, помогла госпоже лечь и, после довольно продолжительного промежутка времени, который ушел на мелкие услуги, изобличавшие глубокое благоговение Фёдоры к самой себе, служанка ушла. Графиня переворачивалась несколько раз; она была взволнована, вздыхала; с ее губ сорвался легкий, доступный слуху шум, который указывал на то, что она нетерпеливо шевелилась; она протянула руку к столику, взяла склянку, налила в молоко четыре-пять капель темной жидкости, выпила и наконец, не раз тяжко вздохнув, воскликнула:

— Боже мой!

Это восклицание и особенно выражение, которое она в него вложила, разбили мне сердце. Я не заметил, как она перестала двигаться. Мне стало страшно; но вскоре я услышал, что раздалось ровное и сильное дыхание уснувшего человека; я отстранил шуршащий шелк занавесей, покинул свою засаду и поместился у кровати, смотря на нее с неопределимым чувством. Так она была восхитительна. Она подложила руку под голову как ребенок; ее спокойное, красивое лицо в кружевах выражало такую сладость, что она воспламенила меня. Преувеличив свои силы, я не подумал, какая ждет меня казнь: быть так близко и так далеко

от нее! Я был вынужден претерпевать все пытки, которые сам себе уготовил. Боже мой! — этот отрывок неизвестной мысли, единственное ее проявление, сразу изменил мои представления о Федоре. Это восклицание, незначительное или глубокое, лишенное содержания или существенное, могло быть истолковано как выражение счастья или страдания, телесной боли или скорби. Было то проклятие или молитва, сожаление или опасение? Целая жизнь была в этих словах, жизнь в бедности или богатстве; она могла содержать в себе даже преступление! Воскресала загадка, скрытая в этом прекрасном подобии женщины; столькими способами можно было объяснить Федору, что она становилась необъяснимой. Дыхание, прихотливо проходившее сквозь губы, то слабое, то напряженное, тяжелое или легкое, было своего рода языком, которому я придавал мысли и чувства. Я мечтал с нею, я надеялся быть посвященным в ее тайны, проникая в ее сны, я колебался между тысячью противоположных решений, между тысячью суждений. Видя это прекрасное лицо спокойное и чистое, я не мог отказать этой женщине в сердце. Я решил сделать еще попытку. Рассказав ей о своей жизни, любви, жертвах, быть может, я смог бы пробудить в ней жалость, вырвать слезу у нее, никогда не плакавшей. Я возлагал все свои надежды на этот опыт, как вдруг уличный шум возвестил мне о наступлении дня. Была минута, когда я представил себе, что Федора просыпается в моих объятиях. Я мог потихоньку лечь у нее сбоку, подкрасться и сжать ее в объятиях. Так жестоко стала терзать меня эта мысль, что, желая ей воспротивиться, я убежал в гостиную, не принимая никаких мер, чтобы избежать шума. По счастью, я напал на потайную дверь, которая выходила на узкую лестницу. Как я и предполагал, ключ оказался в замочной скважине; я с силой рванул дверь, смело спустился во двор и, не глядя, видит ли кто меня, тремя прыжками выскочил на улицу. Через два дня один автор должен был читать у графини свою комедию; я пошел туда с намерением остаться позже всех и обратиться к ней с просьбой, довольно своеобразной; хотел просить уделить мне завтрашний вечер, посвятить мне его целиком, закрыв двери для всех. Когда я очутился наедине с нею, мужества у меня не хватило. Каждый удар маятника ужасал меня. Было без четверти двенадцать.

— Если я с ней не заговорю, — сказал я сам себе, — мне придется разбить череп об угол камина.

Я дал себе три минуты отсрочки; три минуты прошли черепа себе о мрамор я не разбил, мое сердце отяжелело, как губка в воде.

— Вы чрезвычайно любезны, — сказала она.

— Ах, — ответил я, — если бы вы могли понять меня!

— Что с вами? — продолжала она. — Вы бледнеете.

— Я боюсь просить вас об одной милости.

Она жестом ободрила меня, и я попросил ее о свидании.

— Охотно, — сказала она. — Но почему вы не хотите сказать сейчас?

— Чтобы не вводить вас в заблуждение, нужно указать, как велика ваша любезность: я желаю провести этот вечер подле вас, как если бы мы были братом и сестрой. Не пугайтесь, ваши антипатии мне известны; вы достаточно могли оценить меня для уверенности в том, что ничего вам неприятного от вас я не потребую; к тому же, люди дерзкие так не поступают. Вы дали мне свидетельство вашей дружбы, вы добры, полны снисходительности. Так вот, знайте же: я должен проститься с вами завтра... Не берите назад своего разрешения! — вскричал я, видя, что она собирается заговорить.

И я исчез.

В прошлом мае, около восьми часов вечера, я очутился наедине с Федорой в ее готическом будуаре. Я не боялся тогда; я был уверен в своем счастье. Моя возлюбленная будет принадлежать мне, или я найду себе убежище в объятиях смерти. Я проклял свою трусливую любовь. Признавшись в своей слабости, человек становится сильным. В голубом кашемировом платье, графиня лежала на диване, с ногами на подушке. Восточный берет, головной убор, приписываемый живописцами древним евреям, придавал ее прелестям острую привлекательность какой-то странности. На лице ее отпечатлелось беглое очарование, доказывавшее, что мы в каждый момент нашей жизни — новые существа, единственные, без всякого сходства с нами в будущем, с нами в прошлом. Никогда не видал я ее в таком блеске.

— Знаете, — сказала она со смехом, — вы задели мое любопытство.

— И я не обману его, — ответил я холодно, садясь возле нее и взяв ее руку, которой она не отняла. — У вас прекрасный голос.

— Вы никогда меня не слыхали, — воскликнула она, не скрыв жеста изумления.

— Я докажу вам обратное, когда понадобится. Ваше восхитительное пение должно быть тайной? Уверяю вас, я не пытаюсь в нее проникнуть.

Около часа провели мы в непринужденной болтовне. Если я принял тон, манеры и жесты человека, которому

Федора ни в чем не откажет, то и почтительность влюбленного также была у меня. Так, шутя, я получил милостивое разрешение поцеловать ей руку; она сняла перчатку, и тогда я так сладострастно погрузился в иллюзию, в которую пытался поверить, что душа моя растаяла и разлилась в этом поцелуе. С невероятной податливостью позволила мне Федора ласкать себя и нежить. Но не обвиняй меня в робости: вздумай я сделать шаг дальше этой братской и льстивой ласки, и я почувствовал бы когти кошки. Минут десять мы оставались погруженными в глубокое молчание. Я восхищался ею, приписывая ей мнимые очарования. В этот момент она была моей, только моей... Я владел этим восхитительным созданием, насколько дозволено было владеть им, созерцательно; я облакал ее своею страстью, держал ее, сжимал, мое воображение сочеталось с нею. Я победил тогда графиню мощью магнетических чар. И вот, я всегда потом жалел, что не подчинил себе эту женщину всецело; но в тот момент я не хотел ее тела, я желал души, жизни, того блаженства, идеального и совершенного, прекрасной мечты, в которую мы верим недолго.

Наконец, чувствуя, что настал последний час моего опьянения, я сказал:

— Выслушайте меня. Я люблю вас, вы это знаете, я говорил вам об этом тысячу раз, и вы должны бы понять меня. Не желая быть обязанным вашей любовью ни фатовству, ни льстивости или докучливости глупца, я не был понят. Каких только бед не перенес я ради вас, в которых вы, однако, не виноваты! Но через несколько мгновений вы вынесете мне приговор. Знаете, есть две бедности. Одна бесстыдно в лохмотьях ходит по улицам, сама того не зная, возобновляет историю Диогена, питается малым и делает жизнь простой; она, быть может, более счастлива, чем богатство, по крайней мере не знает забот и обретает мир там, где люди могущественные не хотят ничего найти. И есть бедность роскоши, бедность испанская, которая нищенство прячет под титулом; гордая, в перьях, в белом жилете, в желтых перчатках, разъезжая в карете, эта бедность теряет все свое состояние, за неимением одного сантима. Первая, это — бедность простонародья, вторая — бедность плутов, королей и людей талантливых. Я не простолюдин, не король, не плут; быть может, я и не талантлив: я исключение... Мое имя приказывает мне умереть скорее, чем нищенствовать... Не беспокойтесь, теперь я богат, я владею всем на земле, что мне только нужно, — сказал я, заметив, что ее лицо принимает холодное выражение, какое бывает

в наших чертах, когда нас врасплох застанут просительницы из порядочного общества. — Помните тот день, когда вы пожелали пойти в театр Жимназ без меня, думая, что не встретитесь там со мной?

Она утвердительно кивнула головой.

— Я истратил последнее эку, чтобы увидеть вас там... Вы вспоминаете о нашей прогулке в ботанический сад? Все свое состояние я заплатил за карету для вас.

Я рассказал ей о своих жертвах, нарисовал ей свою жизнь, не так, как рассказываю о ней сегодня тебе, не в пьяном виде, а в благородном опьянении сердца. Страсть выступала из берегов в пылающих словах, в узорах чувства, с тех пор забытых, которых не могли бы воспроизвести ни искусство, ни воспоминание. То не был лишенный жара рассказ об отвергнутой любви: моя любовь во всей своей силе и в красоте своей надежды одушевила меня на слова, которые отображают жизнь целиком, повторяя вопли истерзанной души. Таким тоном умирающий на поле сражения произносит последние свои молитвы. Она заплакала. Я остановился. Великий бог! Ее слезы были плодом искусственного волнения, которое при входе в театр можно купить за сто су; я имел успех хорошего актера.

— Если бы я знала... — сказала она.

— Не кончайте! — воскликнул я. — Теперь я вас люблю еще достаточно, чтобы убить...

Она чуть не схватилась за шнур сонетки. Я расхохотался.

— Звать не к чему, — продолжал я. — Я дам вам мирно окончить вашу жизнь. Убивать вас значило бы плохо понимать голос ненависти! Не бойтесь насилия: целую ночь я провел у вашей постели и не...

— Как? — сказала она, покраснев.

Но после первого движения, которым она была обязана стыдливости, свойственной каждой женщине, даже самой бесчувственной, она бросила на меня презрительный взгляд и сказала:

— Вам, должно быть, было очень холодно!

— Вы думаете, для меня так драгоценна ваша красота, — ответил я, угадывая волновавшие ее мысли. — Ваше тело для меня — обетование души, которая еще более прекрасна, чем вы. Ведь мужчины, которые видят в женщине только женщину, любой вечер могут покупать одалисок, достойных серала, и делать себя счастливым по недорогой цене... А я был честолобив, сердцем к сердцу хотел я жить с вами, у которой вовсе нет сердца. Теперь я это знаю. Мужчину,

которому вы отдадитесь, я убью. Но нет, его то вы полюбили бы, его смерть вам, может быть, доставила бы горе... Как я страдаю! — вскричал я.

— Если подобное обещание способно вас утешить, — сказала она весело, — могу вас уверить, что не буду принадлежать никому.

— О нет, — прервал я ее, — вы оскорбляете самого бога и будете за это наказаны! Придет день, когда, лежа на диване, не в силах вынести ни шума, ни света, осужденная жить как бы в могиле, вы будете терпеть неслыханную боль. Будете искать причину медленных, мстительных страданий, вспомните тогда о несчастьях, которые вы столь щедро разбрасывали на своем пути! Посеяв всюду проклятия, взамен вы обретете ненависть. Мы собственные свои судьи, палачи на службе у справедливости, которая царит на земле, которая выше суда людского и ниже — божьего.

— Ах! — со смехом сказала она, — конечно, я преступница, что не полюбила вас? Моя ли то вина? Нет, я не люблю вас; вы мужчина, вот и все. Я считаю себя счастливой в моем одиночестве; к чему же свою жизнь, если хотите, эгоистическую, менять на прихоти повелителя? Брак — таинство, во славу которого мы сочетаемся только с горестями. А дети, это — скука. Разве я честно не предупреждала вас, каков мой характер? Зачем вам не было довольно моей дружбы? Я хотела бы иметь возможность успокоить те горести, которые причинила вам, не догадавшись подсчитать ваши эку; я ценю величие ваших жертв; но ведь только любовью можно бы отплатить за ваше самопожертвование, за вашу деликатность, а я люблю вас так мало, что эта сцена только неприятно меня волнует.

— Я чувствую, как я смешон, простите, — сказал я нежно, не в силах удержать слезы. — Я вас достаточно люблю, — продолжал я, — чтобы с наслаждением слушать, как вы произносите жестокие слова. О! всей кровью готов бы я запечатлеть мою любовь.

— Все мужчины более или менее искусно произносят эти классические фразы, — ответила она попрежнему со смехом. — Но, повидимому, очень трудно умереть у наших ног, ибо повсюду я встречаюсь с этими смертями... Уже полночь. Разрешите мне лечь спать.

— А через два часа вы воскликните: „Боже мой!“ — сказал я.

— Третьего дня! Да, — сказала она, — я подумала о своем банкире, — я забыла ему сказать, чтобы пятипроцентную ренту он обменял на трехпроцентную, а днем трехпроцентная упала.

Я посмотрел на нее взглядом, в котором искрилась ярость. Ах! порою преступление может стать поэмой, я понял это. Привыкнув, без сомнения, к объяснениям самым страстным, она уже забыла мои слезы и слова.

— А вышли ли бы вы замуж за пэра Франции? — спросил я холодно.

— Быть может, если он будет герцогом.

Я взял шляпу и поклонился.

— Позвольте проводить вас до дверей, — сказала она с пронзающей иронией в жесте, в наклоне головы и в тоне.

— Сударыня...

— Сударь...

— Больше я не увижу вас.

— Надеюсь, — ответила она, — наклонив голову с выражением дерзости.

— Вы хотите быть герцогиней? — продолжал я, одушевленный чем-то в роде бешенства, которое ее движение загло у меня в сердце. — Вы без ума от титулов и почестей? Что же! Только позвольте мне любить вас, велите моему перу говорить и голосу моему звучать только для вас, будьте основой моей жизни, моей звездой! Затем, не соглашайтесь быть супругой никого, кроме министра, пэра Франции, герцога... я сделаюсь всем, чем только вы захотите, чтобы я стал.

— Не даром, — сказала она с улыбкой, — потратили вы время у вашего адвоката: в ваших речах есть жар.

— За тобой настоящее, — закричал я, — за мной будущее! Я теряю только женщину, ты — имя и семью. Время чревато моим мщением: тебе оно принесет уродство, одинокую смерть; мне — славу.

— За заключение спасибо! — сказала она, едва удерживаясь от зевка и всем своим существом выражая желание больше не видеть меня.

Эти слова заставили меня умолкнуть. Свою ненависть метнул я в нее взглядом и убежал. Нужно было забыть Федору, исцелиться от безумия, вернуться к трудовому уединению, или умереть. И вот я взвалил на себя безмерную работу, решил кончить свои сочинения. Пятнадцать дней я не сходил с мансарды и тратил ночи на безжизненные свои занятия. Несмотря на бодрость и вдохновение моего отчаяния, я работал с трудом, порывами. Муза исчезла. Я не мог изгнать блестящего и насмешливого призрака Федоры. В каждой моей мысли скрывалась другая мысль, болезненная, какое-то желание, грозное как укор совести. Я подражал отшельникам из Фиваиды. Я не молился как

они, но как они жил в пустыне; вместо того, чтобы рыться в скалах, я рылся у себя в душе. Я готов был опоясать себе чресла поясом с гвоздями, чтобы болью физической укротить боль нравственную.

Раз вечером Полина пробралась в мою комнату.

— Вы убиваете себя, — умоляющим голосом сказала она, — вам нужно выходить, бывать у друзей.

— Ах! Полина, ваше пророчество сбывается. Федора убивает меня, я хочу умереть. Жизнь для меня невыносима.

— Разве существует одна только женщина на свете? — сказала она улыбувшись. — Почему вы наполняете бесконечными муками жизнь, которая и так коротка?

Я глядел на Полину, в оцепенении. Она оставила меня одного. Я не заметил ее ухода и слышал ее голос, не понимая смысла ее слов. Вскоре я был принужден отнести рукопись мемуаров к моему литературному предпринимателю. Поглощенный страстью, я не знал, как мог прожить без денег, и знал только, что четырехсот пятидесяти франков, которые я должен был получить, хватало расплатиться с долгами; итак, я пошел за гонораром и встретил Растиньяка, который нашел, что я изменился, похудел.

— Из какой это ты вышел больницы? — сказал он.

— Эта женщина убивает меня, — ответил я. — Ни презирать ее, ни забыть я не могу.

— Лучше уж ее убить, тогда ты, может быть, перестанешь о ней думать, — смеясь вскричал он.

— Я очень об этом подумывал, — ответил я. — Иной раз я освежал душу мыслью о преступлении, о насилии или убийстве, или о том и другом вместе, но я считаю себя неспособным совершить его в действительности. Графиня изумительное чудовище, она будет умолять о помиловании, и не всякий, кому вздумается, — Отелло.

— Она — как любая женщина, которой мы не можем взять, — прервал меня Растиньяк.

— Я с ума сошел! — вскричал я. — Слышу, как по временам безумие воет у меня в мозгу. И мысли как призраки, — они танцуют передо мной, а я не могу их ухватить. Я предпочту смерть такой жизни. И вот я добросовестно ищу средства кончить эту борьбу. Дело уже не в Федоре живой, не в Федоре из предместья С.-Онорэ, а в Федоре моей, которая вот здесь! — сказал я, ударяя себя по лбу. — Каково твое мнение об опиуме?

— Ба! жестокие мучения, — ответил Растиньяк.

— А если угореть?

— Гадость!

— Сена?

— Сена и Морг очень уж грязны.

— Выстрел из пистолета?

— Промажнешься и останешься уродом. Послушай, — добавил он, — как все молодые люди, и я размышлял о самоубийстве. Кто из нас, в тридцать лет, не убивал себя два-три раза? И ничего не нашел лучше, как истратить жизнь на наслаждение. Погрузись в глубокое распутство, погрузи в него свою страсть, оба вы с нею от этого погибнете. Невоздержность, милый мой, — царица всех смертей. Разве она не начальствует над апоплектическим ударом? Апоплексия — пистолетный выстрел без промаха. Оргии даруют нам все физические наслаждения; не опиум ли это в мелкой монете? Принуждая нас пить без меры, кутеж бросает смертельный вызов. Бочка мальвазии герцога де Кларанс не лучшего ли вкуса, чем ил в Сене? И всякий раз, когда мы благородно валимся под стол, не легкий ли то периодический угар? А если нас подберет патруль, то, растянувшись на холодных постелях в кордегардии, не наслаждаемся ли мы всеми развлечениями Морга, минус — животы вспученные, вздутые, синие, зеленые, плюс — сознание кризиса? Ах! — продолжал он, — это долгое самоубийство не то, что смерть обанкротившегося бакалейщика. Негоцианты обесчестили реку, они бросаются в воду, чтобы растрогать своих кредиторов. На твоём месте, я постарался бы умереть с изяществом. Если ты хочешь создать новый вид смерти, отбиваясь подобным способом от жизни, я твой секундант. Мне скучно, я разочарован. У альзаски, которую мне предложили в жены, шесть пальцев на левой ноге, я не могу жить с шестипалой женой! Если узнают об этом, я стану посмешищем. У нее только восемнадцать тысяч франков дохода, состояние ее уменьшается, а число пальцев увеличивается. К чорту!... Ведя бешеную жизнь, мы, быть может, случайно обречем счастье!

Растињяк увлек меня. От этого проекта начинали излучаться слишком сильные соблазны, он зажигал слишком много надежд, наконец, краски его были слишком поэтичны, чтобы не пленить поэта.

— А деньги? — сказал я.

— У тебя же есть четыреста пятьдесят франков?

— Да, но я должен портному, хозяйке...

— Ты платишь портному? Никогда ничего из тебя не выйдет, даже министра.

— А что можно сделать с двадцатью луидорами?

— Сыграть.

Я вздрогнул.

— Ах! — продолжал он, заметив мою щепетильность, — ты собираешься ринуться в жизнь, как я называю, систематически рассеянную, и боишься зеленого сукна.

— Послушай, — ответил я, — я обещал отцу: в игорный дом ни ногой. И не только свято для меня это обещание, но меня охватывает непобедимый ужас, даже когда я прохожу мимо притона; возьми мои сто экю и иди туда один. Пока ты будешь рисковать нашим состоянием, я устрою свои дела и буду дожидаться у тебя дома.

Вот как, милый мой, я погубил себя. Достаточно молодому человеку встретить женщину, которая его не любит, или женщину, которая любит его чрезмерно, и вся жизнь у него расстроена. Счастье поглощает у нас силы, несчастье уничтожает добродетель. Вернувшись в гостиницу Сен-Кантен, я долго созерцал мансарду, где я вел непорочную жизнь ученого, жизнь, которая, быть может, была бы почтенной, долгой, которой мне не следовало покидать ради жизни страстной, увлекавшей меня в пучину. Полина застала меня в меланхолической позе.

— Что такое с вами? — сказала она.

Я холодно встал и отсчитал деньги, которые был должен ее матери, прибавив к ним сколько комната стоила за шесть месяцев. Она посмотрела на меня почти с ужасом.

— Я покидаю вас, милая Полина.

— Я так и думала! — воскликнула она.

— Послушайте, дитя мое, от мысли вернуться сюда я не отказываюсь. Оставьте за мной мою келью на полгода. Если я не вернусь к 15 ноября, вы станете моей наследницей. Эта запечатанная рукопись, — сказал я, показывая на пакет с бумагами, — копия моего большого сочинения „О воле“: вы сдадите его в королевскую библиотеку. А всем остальным, что тут остается, распоряжайтесь как угодно.

Взгляды Полины тяжело ложились мне на сердце. Воплощением совести была она.

— Больше у меня уроков не будет? — сказала она, указывая на фортепиано.

Я не отвечал.

— Вы мне напишете?

— Прощайте, Полина.

Я тихо привлек ее к себе и поцеловал ее по-братски, стариковски в милый лоб, девственный как снег, еще не коснувшийся земли. Она убежала. Мне не хотелось видеть г-жу Годэн. Я повесил ключ на обычное место и пошел. Поворачиваясь с улицы Клюни, я услышал за собой легкие женские шаги.

— Я вышила вам кошелек, — неужели вы откажетесь взять его? — сказала Полина.

Мне показалось, что при свете фонаря стали видны следы слез на глазах Полины, и я вздохнул. Побуждаемые оба, быть может, одной и той же мыслью, мы расстались с поспешностью людей, которые стремятся избежать чумы. Рассеянная жизнь, которой я посвящал себя, нашла себе причудливое выражение в комнате, где с благородной беззаботностью дожидаясь я возвращения Растиньяка. На камине стояли часы с Венерой на корточках поверх черепахи, а в руках Венера держала наполовину выкуренную сигару. Кое-где в комнате была элегантная мебель, подарки в знак любви. Старые носки валялись на созданном для неги диване. Удобное пружинное кресло, в которое я погрузился, было в шрамах, как старый солдат показывало свои оторванные руки и инкрустацией въевшиеся в его спинку помаду и античное масло, оставленные на ней всеми дружескими головами. Богатство и нищета наивно сочетались в постели, на стенах, повсюду. Вы сказали бы, что это — неаполитанское палаццо, бок-о-бок с которым поселились лаццарони. То была комната игрока, проходимца, у которого свое понятие о роскоши, который живет ощущениями и несколько не беспокоится за свою благоустроенность. Впрочем, эта картина была не лишена поэзии. Жизнь появлялась здесь со своими блесками и лохмотьями, внезапная, несовершенная, какова она и есть в действительности, но живая, но причудливая как на стоянке, когда мародер натащит всего, что ему нравится. Книгой Байрона, в которой не хватало нескольких страниц, разжигал дрова молодой человек, рисковавший в игре тысячью франков и не имевший порой полена, ездивший в тильбюри, не обладая цельной и крепкой сорочкой. Завтра графиня, актриса или экартэ дадут ему королевское приданое. Здесь свеча была вставлена в зеленую коробку от фосфорического огнива; там лежал женский портрет, с которого была сорвана его золотая чеканная рамка. Как может жадный до волнений молодой человек отказаться от прелестей жизни, до такой степени богатой противоречиями, дающей ему наслаждения войны в мирные времена? Я почти уснул, когда Растиньяк ногой проломил дверь в комнату и закричал:

— Победа! Умрем, как будет нам угодно...

Он показал мне шляпу, полную золота, поставил ее на стол, и мы затанцовали вокруг как два каннибала над съедобной добычей, воя, топоча, подпрыгивая, ударяя друг друга так кулаками, что можно бы убить носорога, напевая

при виде всех наслаждений мира, которые содержала для нас шляпа.

— Двадцать семь тысяч франков, — повторял Растиньяк, подбавляя к куче золота несколько банковых билетов. — Другим таких денег хватило бы на жизнь, а нам хватит ли на смерть? О да! Мы испустим дух в золотой ванне... Ура!

И мы запрыгали снова. Как наследники, поделили мы все, монету за монетой, начиная с двойных наполеондоров, от крупных монет переходя к мелким, по капле лили мы нашу радость, долго приговаривая: „тебе!.. мне!“..

— Спать не будем, — воскликнул Растиньяк, — Жозеф, пуншу!

Он бросил золота верному своему слуге:

— Вот твоя часть, — сказал он, — погребай себя, коли можешь.

На следующий день я купил мебель у Лесажа, снял квартиру, где ты познакомился со мной, на улице Тэбу, и заказал ее убранство лучшему обойщику. Я завел лошадей. И кинулся в вихрь наслаждений, пустых и в то же время реальных. Я играл, то выигрывая, то теряя огромные суммы, только на вечерах у друзей, и отнюдь не в игорных домах, перед которыми сохранил священный и исконный ужас. Незаметно появились у меня друзья. Привязанностью их я обязан тем ссорам или той доверчивой легкости, с которой мы выдаем друг другу тайны, становясь подлее от сообщничества; но, быть может, ничто так не связывает нас, как наши пороки. Я рискнул сочинить несколько литературных произведений, заслуживших мне похвалу. Великие люди торговой литературы, видя, что я вовсе не опасный соперник, хвалили меня, без сомнения, не столько из-за личных моих достоинств, сколько для того, чтобы причинить досаду своим товарищам. Я стал прожигателем жизни, если воспользоваться живописным выражением, употребительным на вашем языке кутежей. Мое самолюбие было направлено на то, чтобы быстро себя убить, силой своей сокрушить самых веселых наших товарищей. Я постоянно бывал свеж, элегантен. Я слыл за остроумца. Ничто не отличало во мне того ужасающего существования, которое делает из человека воронку для выжимания сока или выездную лошадь. Вскоре кутеж явился передо мной во всей величественности своего ужаса, и я постиг его! Разумеется, люди благоразумные и порядочные, которые для своих наследников наклеивают этикетки для бутылки, совсем не в силах понять ни теории такой широкой жизни, ни ее нормальности; разве вы внушите поэзию провинциалам, для

которых столь богатые наслаждениями опий и чай — все еще только лекарства? И даже в Париже, в столице мысли, не встречаем ли мы сибаритов не до конца? Неспособные вынести чрезмерность наслаждений, не уходят ли они утомленными от одной оргии как добрые буржуа, которые, прослушав какую-нибудь новую оперу Россини, проклинают музыку? Не отрекаются ли они от такой жизни как человек воздержный, который не хочет больше есть паштетов Рюффека, потому что первый же паштет подарил ему несварение желудка? Кутеж, конечно, есть искусство такое же, как поэзия, и для него нужны сильные души. Чтоб охватить его тайны, чтобы насладиться его красотами, человек должен некоторым образом предаться добросовестному изучению. Как все науки, вначале он от себя отталкивает, он тернист. Огромными препятствиями окружены великие наслаждения человека, не частичные его удовольствия, а те системы, которые возводят в привычку редчайшие чувствования, их резюмируют, оплодотворяют их человеку, творя ему драматическую жизнь в его собственной жизни, понуждая его чрезмерно, быстро расточать свои силы. Война, власть, искусства — тоже разврат, настолько же превышающий обычные способности человеческие, настолько же глубокий, как и кутеж, и все это достигается с трудом. Но раз человек преодолел все эти великие таинства, разве он не ступает в новый мир? Генералов, министров, художников — всех их более или менее влечет к распущенности, благодаря потребности противопоставить своему столь далекому от обычной жизни существованию — страстные развлечения. В конце концов война, это — кутеж ради крови, политика — кутеж ради выгод. Все излишества — братья. Эти социальные уродства обладают силой пропасти, они влекут нас к себе как остров св. Елены звал Наполеона; от них головокружение, у них очарование, и, сами не зная зачем, мы стремимся взглянуть на их дно. Быть может, мысль о бесконечном существует в этих безднах, быть может, нечто чрезвычайно лестное заключают они в себе для человека, и не заинтересовано ли тогда в его судьбе все? Ради контраста с райскими часами его занятий, с радостями его замыслов, утомленный художник требует себе то ли как бог — воскресного отдыха, то ли как дьявол — сладострастия ада, чтобы деятельность чувств противопоставить деятельности своих способностей. Отдыхом для лорда Байрона не могла быть болтовня за бостоном, которая пленяет рантье; ему, поэту, нужна была Греция, как ставка в игре с Махмудом. На войне не становится ли человек ангелом-истребителем, подобием палача, только в гигантском

виде? Не нужны ли вполне необычайные очарования для того, чтобы мы могли принять те жестокие скорби, враждебные хрупкой нашей оболочке, которыми, как тернистой оградой, окружены страсти? Если курильщик, злоупотребив табаком, извивается в конвульсиях, мучится точно в агонии, то каких только стран, каких только восхитительных праздников не посетил он? Разве Европа, не дав обсохнуть ногам, смоченным кровью по самую лодыжку, не возобновляла беспрерывно войн? Или у людей в массе так же бывает опьянение, как у природы есть свои приступы любви? Для частного человека, для Мирабо, прозябающего при мирном правлении и мечтающего о бурях, в кутеже все, он скрепляет всю его жизнь или, лучше сказать, это — поединок с неведомыми силами, с чудовищем: сначала чудовище пугает, нужно схватить его за рога; это — неслыханные трудности. Природа дала нам уж не знаю что за тесный или ленивый желудок; вы укрощаете его, расширяете, учите переносить вино, вы приручаете пьянство, проводите ночи без сна, вырабатываете себе, наконец, темперамент кирасирского полковника, вторично творя себя, точно для того, чтобы поглумиться над богом! Когда человек так преобразился, когда, став старым солдатом, новобранец приспособит душу к артиллерийской пальбе и ноги к походу, еще не принадлежа чудовищу, когда между ними еще не условлено, кто из них господин, они наваливаются друг на друга то как победители, то как побежденные, в той сфере, где все чудесно, где дремлют скорби души и оживают только призраки идей. Уже необходимой стала эта жестокая борьба. Являясь воплощением тех действующих лиц сказки, которые, согласно легендам, продали душу дьяволу, чтобы получить, силу злодеяний, расточитель выменивает смерть на все радости жизни, но изобильные, но плодоносные! Вместо того, чтобы долго течь между двух монотонных берегов, в глубине конторы или канцелярии, существование кипит и бежит как поток. Наконец, без сомнения, кутеж — то же самое для тела, что наслаждения мистические для души. Пьянство погружает вас в мечтания с фантасмагориями, которые так же любопытны, как при экстазе. У вас бывают часы, восхитительные как причуды молодой девушки, бывают приятные беседы с друзьями, слова, обрисовывающие всю жизнь, радости откровенные, без задней мысли, путешествия без утомления, поэмы, которые развернулись в нескольких фразах. За скотским удовлетворением животного, таким, что науке пришлось бы разыскивать душу в глубине его, следует чарующее оцепенение, по которому вздыхают люди, соскучившись

от своего ума. Разве не ощущают они необходимость полного покоя, и кутеж — не подобие ли это налога, который гений платит злу? Взгляни на всех великих людей: если они не сладострастники, природа делает их хилыми. Сила, насмешливая или ревнивая, придает порочность их душе или телу, чтобы уравновесить действие их талантов. В эти пьяные часы люди или вещи появляются перед вами, одетые в ваше облачение. Царь творения, вы видоизменяете его по своему желанию. Сквозь непрерывный бред игра вливает вам, по вкусу, расплавленного свинца в жилы. Настает день, когда вы во власти чудовища; у вас бывает тогда, как это было у меня, яростное пробуждение: бессилие сидит у вашего изголовья. Вы старый воин, вас пожирает чахотка; дипломат-аневризм в вашем сердце подвешивает смерть на ниточке; а мне, может быть, легочная болезнь скажет „пора!“ — как когда-то сказала она Рафаэлю из Урбино, убитому излишеством любви. Вот как я жил! Слишком рано или слишком поздно появился я в кругу светской жизни; без сомнения, моя сила стала бы здесь опасной, если бы я не умертвил ее так; кубок Геркулеса не излечил ли вселенную от Александра в конце оргии! В конце концов, иные неудавшиеся судьбы нуждаются в небе или в аде, в кутежах или в богадельне на горе св. Бернара. Сейчас у меня не хватило мужества учить добронравию эти два существа, — сказал он, указывая на Евфрасию и Акилину. — Разве они не олицетворение моей истории, не образ моей жизни? Совсем не в силах был я обвинять их, они явились передо мной как судьи. На середине этой живой поэмы, в объятиях этой приводящей к беспамятству болезни — два раза был у меня кризис, обильный едкой скорбью. Первый раз спустя несколько дней после того, как я подобно Сарданапалу бросился на костер, я встретил Федору в сенях театра Буффон. Мы ждали экипажей.

— Ах! я вижу вас вновь живым.

Так можно бы перевести ее улыбку, ее коварные, неслышные слова, которые она сказала своему чичисбею, конечно, поведав ему мою историю и вынеся приговор моей любви, как любви пошлой. Она рукоплескала своей мнимой прозорливости. О! умирать ради нее, все еще обожать ее, видеть ее среди распутства, среди пьянства, на постели куртизанок и чувствовать себя жертвою ее шуток! Быть не в силах разорвать себе грудь, вырвать оттуда любовь и бросить к ее ногам! Наконец, без труда я растратил свои богатства, но три года правильной жизни дали мне крепчайшее, какое только можно себе представить, здоровье, и в день,

когда я очутился без денег, я чувствовал себя чудесно. Чтобы продолжать умирать, я выдал векселя на короткий срок, и день платежа настал. Жестокие волнения! А как оживляют они молодые сердца! Не так я был сотворен, чтобы еще стареть, — моя душа все еще была юной, живой, цветущей. Мой первый долг пробудил все мои добродетели, они пришли медленным шагом и опечаленные предстали передо мной. Я сумел сговориться с ними как со старыми тетусками, которые вначале ворчат, а кончат тем, что расплатятся и дадут денег. Мое воображение было более суровым, оно рисовало, как мое имя странствует по Европе из города в город. Наше имя, это — мы сами, сказал Евсевий Сальверт. После бродяжнических странствий я, как двойник некоего немца, возвращался к себе на квартиру, откуда я не выходил, и внезапно будил в ней себя самого. Этих банковских чиновников, укору коммерческой совести, в сером, в одеянии своих господ, с серебряной бляхой, — когда то равнодушно встречаемых мной на улицах Парижа, — я теперь заранее их ненавидел. Когда-нибудь утром разве не придет один из них за отчетом относительно одиннадцати векселей, которые я нацарапал. Моя подпись стоила три тысячи франков, — столько я сам не стоил! Пристава, лица которых спокойны при каком угодно отчаянии, даже при виде смерти, вставали передо мной как палачи, говорящие приговоренному: „половина четвертого пробило!“ Их писцы имели право схватить меня, нацарапать мое имя, запачкать его, насмеяться надо мной. Я был должен! Задолжать, — разве можно тогда принадлежать себе? Другие люди не могут ли спросить отчета в моей жизни? Зачем я поедал пуддинги а ля киполата? Зачем я пил прохладительное? Зачем я спал, ходил, думал, развлекался, не платя им? На середине поэмы, отдавшись идее, или за завтраком, окруженный друзьями, радостями, приятными шутками, я мог увидеть, как входит некий господин в сюртуке каштанового цвета, с потертой шляпой в руке. Этот господин окажется моим долгом, моим векселем, призраком, от которого завянет у меня радость, он заставит меня выйти из-за стола и разговаривать с ним; он похитит у меня веселость, возлюбленную, все, вплоть до постели. Укору совести более снисходительны, они не выбрасывают нас на улицу, или в тюрьму, не повергают в мерзостное скопище порока; они бросают нас только на эшафот, где палач нас облагораживает: когда нас казнят, все верят в нашу невиновность; тогда как общество кутиле без денег не оставляет ни единой добродетели. Потом эти двуногие долги, одетые в зеленое сукно, в синих очках, с разноцветными

зонтиками; эти воплощенные долги, с которыми мы лицом к лицу сталкиваемся на углу улицы, в тот момент, когда у нас на лице улыбка, — они будут иметь ужасную привилегию сказать: „Г. де Валантен мне должен и не платит. Он в моих руках. Ах! Пусть он и виду не подает, что встречает меня с досадой!“ Кредиторам необходимо кланяться, и кланяться приветливо. „Когда вы мне заплатите?“ говорят они. И мы принуждены лгать, умолять другого человека о деньгах, сгибаться перед дураком, сидящим на сундуке, встречать его холодный взгляд, взгляд пиявки, более оскорбительный, чем пощечина, выносить его барремскую ¹⁾ мораль и его грубое невежество. Долг есть создание воображения, чего они не понимают. Порывы души увлекают и часто поработают того, кто берет займы, тогда как ничто великое не поработает, ничто великодушное не руководит теми, кто живет деньгами и ничего, кроме денег, не знает. Я испытывал ужас перед деньгами. Наконец, вексель может преобразиться в старика, обремененного семейством и фланкируемого добродетелями. Быть может, я задолжал живой картине Грёза, окруженному детьми паралитику, вдове солдата, которые все будут протягивать ко мне руки с мольбой. То страшные кредиторы, с которыми нам приходится плакать; когда мы им заплатим, у нас остается еще долг помощи им. Накануне срока я лег с тем мнимым спокойствием, с каким спят люди перед казнью, перед дуэлью: они позволяют обманчивой надежде убаюкивать себя. Но когда я проснулся, когда я стал хладнокровен, когда я почувствовал, что душа моя заперта в портфеле банкира, уложена на счете, записана красными чернилами, — как кузнечики, отовсюду стали выскакивать мои долги; они были в часах, на креслах, как инкрустация были они на мебели, которою я пользовался с особенным удовольствием. Став добычей гарпий Шатлэ, эти милые вещественные рабы будут теперь утащены рассыльными и грубо брошены на площадь. Ах! мой скарб был еще мною самим. Сонетка моей квартиры звучала у меня в сердце, поражая меня, куда следует разить королей, — в голову. То было мученичество, без неба в качестве награды. Да, для человека великодушного долг — ад, только ад с приставами, с поверенными в делах. Невыплаченный долг, это — низость, начало мошенничества и, хуже того, ложь! Он делает эскиз преступлений, собирает для эшафота дубовые доски. Мои векселя были опротестованы. Три дня спустя я заплатил по ним; вот каким образом.

¹⁾ Barrême — знаменитый счетовод второй половины XVII века, которому покровительствовал Кольбер.

Явился спекулянт с предложением продать ему остров, которым я владел на Луаре и где была могила моей матери. Я принял предложение. Подписывая купчую у нотариуса этого покупателя, в глубине его темной конторы, я почувствовал свежесть подобно тому, как бывает в погребке. Я вздрогнул, вспомнив, что такой же влажный холод охватил меня на краю могилы, где лежал мой отец. Я счел этот случай за мрачное предзнаменование. Мне казалось, что я слышу голос моей матери и вижу ее тень. Не знаю, какая сила заставила мое имя смутно прозвучать у меня в ушах при звоне колоколов! От цены острова, по уплате всех долгов, у меня осталось две тысячи франков. Конечно, я мог бы снова обратиться к мирному существованию ученого, вернуться на свою мансарду, после этих экспериментов с жизнью, вернуться туда, наполнив голову огромными наблюдениями, уже пользуясь некоторой репутацией. Но Федора не выпускала своей добычи. Мы часто бывали на виду друг у друга. Я заставил влюбленных в нее протрубить мое имя ей в уши, так они были изумлены моим умом, лошадьми, успехами, экипажами. Она оставалась холодной и нечувствительной ко всему, даже к ужасной фразе: „он убивает себя ради вас“, которую произнес Растиньяк. Всему свету поручал я мстить за себя, но безуспешно. Докопавшись в жизни до грязи, я все больше чувствовал отраду разделенной любви, гонялся за призраком сквозь случайности моего мотовства, среди оргий. На мое горе, я был обманут в прекраснейших моих верованиях, за благодеяния был наказан неблагодарностью, за провинности был вознагражден тысячью наслаждений. Философия мрачная, но для кутилы правильная! Наконец, Федора заразила меня проказой тщеславия. Исследуя глубины своей души, я нашел, что она в гангрене, что она гниет. Отпечаток своей петушиной шпоры демон оставил у меня на лбу. Отныне мне было уже невозможно обойтись без содроганий жизни, в любой момент подвергающейся риску, и без проклятых утонченностей богатства. Стань я миллионером, я постоянно бы играл, ел, суетился. Мне больше не хотелось оставаться наедине с собой. Мне были нужны куртизанки, мнимые друзья, вино, хороший стол, чтобы забыться. Связи, соединяющие человека с семьей, были разбиты во мне навсегда. Я был приговорен к галерам наслаждения и должен был довести до конца судьбу самоубийцы. Последние дни моего богатства я был невероятно невоздержан; но каждое утро смерть отбрасывала меня к жизни. Подобно человеку с пожизненным доходом, я мог бы спокойно войти в горящее здание. Наконец, я очутился

наедине с двадцатифранковой монетой и вспомнил тогда о счастье Растиньяка...

— Эге! — закричал Рафаэль, вдруг подумав о талисмане и вытаскивая его из кармана.

Утомленный ли борьбой этого долгого дня и не в силах будучи править разумом в волнах вина и пунша; или доведенный до отчаяния образом своей жизни и, незаметно опьянев от потока собственных слов, Рафаэль одушевился, впал в восторженное состояние, как человек, действительно лишенный рассудка.

— К чорту смерть! — вскричал он, размахивая кожей. — Теперь я хочу жить! Я богат, у меня все добродетели. Ничто передо мной не устоит. Кто не стал бы добродетельным, раз ему можно все. Э! Э! Огэ! Хотел двести тысяч дохода, они у меня будут. Приветствуйте меня, свиньи, развалившиеся на коврах точно на навозе! Вы мне принадлежите, славная собственность! Я богат, я всех вас могу купить, даже депутата, что храпит вон там. Ну что же, благословляйте меня, сволочь из высшего общества! Я — папа!

Восклидания Рафаэля, до тех пор покрывавшиеся непрерывным басом храпа, теперь внезапно были расслышаны. Большинство спавших проснулось с криками, они увидели, что прервавший их сон — плохо держится на ногах, и целым концертом ругательств осыпали его шумливый хмель.

— Молчать! — крикнул Рафаэль. — На место, собаки! Эмиль, у меня целые сокровища. Я подарю тебе гаванских сигар.

— Я тебя слушаю, — ответил поэт, — Федора или смерть. Продолжай свой путь! Эта сахарная Федора надула тебя. Все женщины — дочери Евы. Твоя история совсем без драматизма.

— Ах! ты спал, хитрец?

— Нет... Федора или смерть. Помню.

— Проснись, — вскричал Рафаэль, хлопая Эмиля шагреновой кожей, точно желая извлечь из него электрический ток.

— Что за громы! — сказал Эмиль, вставая и держа Рафаэля в обхват, — друг мой, вспомни, что ты с женщинами дурного поведения.

— Я — миллионер!

— Если и не миллионер, то уж наверно пьян.

— Пьян властью. Я могу тебя убить... Тише! Я — Нерон! Я — Навуходоносор.

— Рафаэль, мы ведь в дурной компании, ты бы помолчал из чувства собственного достоинства.

— Слишком долгим молчанием была моя жизнь. Теперь я отмщу за себя всему миру. Мне не доставит развлечения

разбрасывать дрянные эсю, я буду подражать, в сжатом виде, своей эпохе, пожирая жизни человеческие, умы, души. Вот роскошь, свободная от мелочности, не правда ли? Расточительность чумы! Буду бороться с желтой лихорадкой, с голубой, с зеленой, с армиями, с эшафотами. Могу завладеть Федорой... Нет, не хочу Федоры, это моя болезнь, я умираю от Федоры! Забыть хочу Федору.

— Если будешь так кричать, я утащу тебя в столовую.

— Вот видишь кожу? Это — завещание Соломона. Он мне принадлежит, Соломон, этот царек-невежда! И Аравия моя, каменистая, к тому же, Аравия. Вселенная моя. И ты мой, если захочу. Ах, если захочу, берегись! Всю твою лавочку журналиста могу купить, и ты будешь моим лакеем. Будешь мне сочинять куплеты, линевать бумагу. Лакей!

При этих словах, Эмиль утащил Рафаэля в столовую.

— Ну да, ладно, мой друг, я твой лакей. А ты будешь главным редактором газеты, молчи! Будь приличен, ради уважения ко мне! Ты меня любишь?

— Люблю ли! У тебя будут гаванские сигары, с этой кожей. На все кожа, друг мой, полновластная кожа! Превосходное средство от всего, могу излечивать мозоли. У тебя есть мозоли? Я сниму их.

— Никогда еще не видал тебя таким дураком.

— Дурак, друг мой? Нет. Эта кожа сжимается, когда у меня появляется желание... это точно вопрос и ответ. Брамин — тут замешан брамин! — так этот брамин — шутник, потому что, видишь ли, желания должны растягивать...

— Ну да, ладно.

— Говорю тебе...

— Да, это вполне правильно, я думаю, как ты. Желание растягивает...

— Говорю тебе, кожа!

— Да.

— Ты мне не веришь? Знаю тебя, друг мой, ты лжив как новый король.

— Как же ты хочешь, чтобы я усвоил твои пьяные разглагольствования?

— Держу пари, что могу тебе доказать. Снимем мерку.

— Ну, теперь он не заснет, — воскликнул Эмиль, видя, что Рафаэль начал шарить по столовой.

Одаренный обезьяньей ловкостью, благодаря тому странному ясновидению, проявления которого порою контрастируют у пьяниц с тупыми видениями опьянения, Рафаэль сумел найти чернильницу и салфетку, все повторяя:

— Снимем мерку, снимем мерку!

— Ну ладно, да, — сказал Эмиль, — снимем мерку!

Два друга расстелили салфетку и сверху разложили шагреновую кожу. Эмиль, рука которого, казалось, была увереннее, чем у Рафаэля, обвел пером, чернильной линией, контуры талисмана, в то время как друг его говорил:

— Я желал двухсот тысяч ливров дохода, не правда ли? Так вот, когда они у меня будут, ты увидишь уменьшение шагреня со всех сторон.

— Да... Теперь спи. Хочешь, я устрою тебя на этом канapé? Ну вот, тебе удобно?

— Да, питомец печати. Ты будешь забавлять меня, отгонять мух. Друг горя имеет право быть другом могущества. Значит, я подарю тебе га-ван-ских си...

— Ладно, проспи свое золото, миллионер.

— Проспи свои статьи. Добрый вечер. Скажи же добрый вечер Навуходоносору!.. Любовь! Пить! Франция... слава и богат... бога...

Вскоре оба друга присоединили свой храп к музыке, которая раздавалась в гостиных. Беспольный концерт! Одна за другой погасали свечи, трескались хрустальные розетки. Ночь окутала крепом долгую оргию, среди которой рассказ Рафаэля был как бы оргией речи, слов без мыслей и мыслей, для которых часто не хватало выражений.

На утро, около полудня, прекрасная Акилина поднялась, зевая, усталая, со щеками, испещренными отпечатками табушета с узорчатым бархатом, на котором лежала ее голова. Евфрасия, разбуженная движением подруги, сразу вскочила и хрипло вскрикнула; ее миловидное лицо, такое белое, такое свежее накануне, было желтым и бледным, как у девушки, которая идет в больницу. Понемногу гости зашевелились, выпуская мрачные стенания, они чувствовали, что руки и ноги их окостенели, тысячи различных болей угнетали их при пробуждении. Лакей открыл жалюзи и окна в гостиных. Все сборище было на ногах, вызванное к жизни теплыми лучами солнца, заигравшего на головах у спящих. Сонные движения сломали у дам элегантно здание их причесок, измяли их туалеты; дневной свет ударил в них, и они явили собою отвратительное зрелище: волосы висели без всякого изящества, лица изменили свое выражение, глаза их, такие блестящие, потускнели от утомления. Желчный цвет лица, в котором было столько блеска при свечах, теперь наводил ужас; лимфатические лица, такие белые и нежные во время сна, стали зелеными; уста, недавно приятные, красные, теперь сухие и белые, носили на себе постыдные стигматы пьянства. Мужчины отрекались от своих ночных

возлюбленных, видя, что они так обесцветились, стали так трупобразны, точно цветы, затоптанные на улице, после прохождения процессии. Надменные мужчины сами были еще ужаснее. Вы вздрогнули бы, увидев эти человеческие лица с впалыми и обведенными глазами, которые, казалось, ничего не видят, отупели от вина, одурели от беспокойного сна, скорее утомительного, чем восстанавливающего силы. Нечто дикое, холодно зверское было в их исхудалых лицах, где в обнаженном виде выступали физические вожделения, без той поэтичности, которою прикрашивает их душа. Это пробуждение порока без покровов и румянца, этот скелет зла, оборванный, холодный, пустой, лишенный софизмов ума и очарований роскоши, ужаснул неустрашимых атлетов, как ни привыкли они бороться с кутежом. Художники и куртизанки хранили молчание, диким взором приглядываясь к беспорядку в зале, где все было опустошено и разорено огнем страстей. Вдруг поднялся сатанический хохот, когда Тайфер, услышав глухое хрипение своих гостей, попробовал приветствовать их гримасой; от его лица, потного и налившегося кровью, воспарил над этой адской сценой образ преступления, не знающего угрызений совести¹⁾. Картина была законченная. То была жизнь грязная на лоне роскоши, жестокая смесь великолепия и нищеты человеческой, пробуждение кутежа после того, как он своими могучими руками выжал все плоды жизни, оставив подле себя лишь ничтожные объедки или обманы, в которые он более уже не верил. Вы сказали бы — то смерть улыбается среди зачумленной семьи: ни благоволий, ни изумляющего света, ни веселья, ни желаний; но отвращение с его тошнотворными запахами и разящей философией, но солнце, сияющее как правда, но воздух, чистый как добродетель, которые контрастировали с теплой, отягощенной миазмами оргии, атмосферой! Несмотря на привычку к пороку, не одна из этих молодых девушек подумала о своем былом пробуждении, когда они, невинные и чистые, смотрели в сельские окна, обвитые жимолостью и розами, на свежий пейзаж, зачарованный веселыми руладами жаворонка, освещенный сквозь туман лучами зари, украшенный фантазиями росы. Другие рисовали себе семейный завтрак, стол, вокруг которого смеялись невинно дети и отец, где все дышало невыразимым обаянием, где блюда были просты как сердца. Художник думал о мирной своей мастерской, о целомудренной статуе, о прелестной натурщице, ожидавшей его. Молодой человек, вспомнив о про-

¹⁾ См. „Красная гостиница“.

цессе, от которого зависела судьба семьи, думал о важной сделке, требовавшей его присутствия. Ученый сожалел о своем кабинете, где ждали его благородные труды. Все почти жаловались на самих себя. В это время, смеясь, появился Эмиль, свежий и розовый, как самый красивый приказчик из модного магазина.

— Вы безобразнее рассыльных! — воскликнул он. — Сегодня вы ничего не можете делать, день потерян; мой совет — завтракать.

При этих словах Тайфер вышел отдать распоряжения. Женщины расслабленной походкой пошли оправить бывшие в беспорядке туалеты перед зеркалами. Все встряхнулись. Люди порочнейшие поучали благоразумнейших. Куртизанки смеялись над теми, кто, повидимому, не находил в себе силы продолжать это грубое пиршество. Минуту спустя призраки оживились, образовали группы, обратились друг к другу с вопросами и стали улыбаться. Несколько лакеев, ловких и проворных, быстро поставили на свои места мебель и все вещи. Роскошный завтрак был подан. Гости ринулись в столовую. Если на всем здесь был неизгладимый отпечаток вчерашних излишеств, то, по крайней мере, здесь был и след существования и мысли, как в последних конвульсиях умирающего. словно в масляничном шествии, сатурналия была похоронена масками, утомленными собственными плясками, пьяными пьянством, желающими продолжать бессильное наслаждение, чтобы не признаться в собственном бессилии.

В тот момент, когда неустрашимые гости окружили стол капиталиста, показался с официозным выражением лица, на котором блуждала сладкая улыбка, Кардо, который накануне смиренно исчез после обеда, чтобы закончить оргию в супружеской постели. Казалось, он догадывался о каком-то наследстве, которое можно посмаковать, разделить, занести в инвентарь, четко переписать наследство, обильное подлежащими совершению актами, чреватое гонорарами, столь же сочное, как трепещущее филе, в которое амфитрион втыкал теперь нож.

— Ого! будем завтракать нотариальным порядком! — воскликнул де Кюпси.

— Вы являетесь кстати, чтобы перенумеровать и помечать все эти предметы, — сказал ему банкир, указывая на пиршество.

— Завещаний делать не придется, а вот, может быть, брачные контракты, — сказал ученый, который год назад женился первым браком, в высшей степени удачно.

— Ого!

— Ага!

— Минутку позвольте, — ответил Кардо, оглушенный хором злых шуток, — я пришел сюда по серьезному делу. Я приношу одному из вас шесть миллионов. — (Глубокое молчание). — Ваша матушка, — сказал он, обращаясь к Рафаэлю, который в это время бесцеремонно протирал глаза уголком салфетки, — ваша матушка не была ли урожденной О'Флаарти?

— Да, — отвечал Рафаэль довольно машинально: — Варвара-Мария.

— При вас ли, — продолжал Кардо, — акт о рождении вашем и г-жи де Валантен?

— Кажется, да.

— Так вот, вы единственный и полноправный наследник майора О'Флаарти, скончавшегося в августе 1828 года в Калькутте.

— Такого богатства не прокалькулируешь! ¹⁾ — вскричал знаток.

— Майор в своем завещании отказал значительные суммы некоторым общественным учреждениям, и наследство было вытребовано у Ост-Индской Компании французским правительством, — продолжал нотариус. — В настоящий момент оно чисто и доступно. Уже две недели я бесплодно искал представителей интересов девицы Варвары-Марии О'Флаарти, как вдруг вчера за столом...

В этот момент Рафаэль вдруг поднялся, у него вырвалось порывистое движение человека, которого ранили. Присутствующие словно молча вскрикнули; первое чувство гостей было продиктовано глухой завистью; словно огоньки, глаза всех обратились к нему. Потом поднялся шум, какой бывает в разгневанном партере, начавшийся ропот возмущения все усиливался, и каждый сказал что-нибудь, чтобы приветствовать это огромное состояние, принесенное нотариусом. Сразу отрезвев от внезапной услужливости судьбы, Рафаэль быстро разостлал на столе салфетку, при помощи которой он недавно измерял шагреневую кожу. Ничего не слушая, он положил на нее талисман и невольно вздрогнул, увидав незначительную разницу между контуром кожи и очерком его на салфетке.

— Что это с ним? — воскликнул Тайфер. — Дешево досталось ему богатство.

¹⁾ Здесь непереводаемая игра слов: состояние достается Рафаэлю из Калькутты (Calcutta); один из собутельников острит: „C'est une fortune incalcuttable!“

— Подержи его, Шатильон! — сказал Биксиу Эмилю. — Он умрет от радости.

Ужасная бледность обозначила каждый мускул на поблекшем лице наследника, черты его осунулись, выпуклости лица побелели, впадины стали темными, поверхность кожи — свинцовой, взгляд остановился. Он увидел перед собой смерть. Блестящий банкир, окруженный увядшими куртизанками, все эти пресыщенные лица, агония радости — были живым образом его жизни. Рафаэль трижды взглянул на талисман, свободно укладывавшийся среди безжалостных линий, начерченных на салфетке: он пытался усомниться, но ясное предчувствие уничтожало его недоверчивость. Мир ему принадлежал, все для него было возможно, — и он не хотел больше ничего. Как у путника среди пустыни, у него было немножко воды, чтобы утолить жажду, и жизнь свою он должен был соизмерять с числом глотков. Он видел, сколько дней будет ему стоить каждое желание. Потом он начинал верить в шагреновую кожу, прислушивался к своему дыханию, чувствовал себя уже больным и спрашивал у самого себя:

— Не чахоточный ли я? Не от грудной ли болезни умерла моя мать?

— Ах, ах, Рафаэль, вдоволь вы позабавитесь! Что вы мне подарите? — говорила Акилина.

— Выпьем за кончину его дядюшки, майора О'Флаарти? Вот так человек!

— Он будет пером Франции.

— Ба! Что такое пер Франции после июльских событий! — сказал знаток.

— Будет у тебя ложа у Буффионов?

— Надеюсь, вы всех нас угостите? — сказал Биксиу.

— Человек, подобный ему, все сумеет сделать величественно, — сказал Эмиль.

Восклицания посмеивавшихся гостей звучали в ушах Валантена, а он не мог ухватить смысла ни единого слова; он смутно думал о механическом и безжеланном существовании крестьянина в Бретани, обремененного детьми; он обрабатывает поле, ест гречневую кашу, пьет сидр в одном и том же своем кабаке, верит в божью мать и в короля, причащается на пасху, по воскресеньям пляшет на зеленой лужайке и не понимает проповеди своего ректора. От зрелища, которое являли его взорам золоченые обои, куртизанки, яства, роскошь, подкатывало к горлу и хотелось кашлять.

— Хотите спаржи? — крикнул ему банкир.

— Я ничего не хочу! — ответил ему Рафаэль громко.

— Bravo! — ответил Тайфер, — вы понимаете толк в богатстве. Оно патент на дерзости. Вы из наших. Господа, выпьем за могущество золота. Став шестижды миллионером, г. де Валантен становится у власти. Он король, он все может, он выше всего, как все богачи. Для него отныне: французы равны перед законом — ложь, возлагающая Хартию. Не он будет подчиняться законам, а законы — ему. Ни эшафота, ни палачей нет для миллионеров!

— Да, — отозвался Рафаэль, — они собственные свои палачи!

— Вот еще предрассудок! — вскричал банкир.

— Выпьем! — сказал Рафаэль, кладя талисман в карман.

— Что ты делаешь? — сказал Эмиль, удерживая его руку. — Господа, — продолжал он, обращаясь к собранию, которое было достаточно изумлено манерами Рафаэля, — знаете ли вы, что наш друг де Валантен, но что я говорю?.. г. маркиз де Валантен обладает тайной обогащения. Его желания исполняются в тот самый момент, как он их задумывает. Чтобы не сойти за лакея или человека бессердечного, он всех нас обогатит.

— Ах! дитя мое Рафаэль, мне хочется жемчужного убора, — вскричала Евфрасия.

— Если он человек признательный, то подарит мне две кареты, запряженные прекрасными конями, рысистыми! — сказала Акилина.

— Пожелайте для меня сто тысяч ливров дохода!

— Кашемиров!

— Заплатите мои долги.

— Нашлите апоплексию на моего дядюшку, он такой сухарь.

— Рафаэль, две тысячи ливров дохода, и мы с тобой в расчете.

— Сколько же здесь дарственных! — вскричал нотариус.

— Конечно, он должен вылечить меня от подагры!

— Сделайте так, чтобы упала рента! — крикнул банкир.

Как фонтаны из букета, завершающего фейерверк, посыпались эти фразы. И скорее в серьез, чем в шутку, произносились эти яростные желания.

— Друг мой милый, — степенно сказал Эмиль, — я удовольствуюсь двумястами тысячами ливров дохода; окажи милость, пожалуйста!

— Эмиль, — сказал Рафаэль, — разве ты не знаешь, какой это ценой?

— Прекрасное оправдание, — вскричал поэт. — Разве мы не должны жертвовать собою ради друзей?

— Я почти готов всем вам пожелать смерти, — ответил Рафаэль, бросая на гостей взор мрачный и глубокий.

— Яростно жестоки умирающие, — сказал Эмиль, смеясь. — Вот ты богат, — добавил он серьезно, — и двух месяцев не пройдет, как ты станешь подло эгоистичным. Ты уже глуп и шуток не понимаешь. Не хватает только того, чтобы ты уверовал в свою шагреновую кожу.

Рафаэль, боясь насмешек этого сборища, хранил молчание, пил сверх меры и напился, чтобы на мгновение забыть о своем губительном могуществе.

III

А Г О Н И Я

В первых числах декабря месяца семидесятилетний старик шел, несмотря на дождь, по улице Варенн, поднимая нос у каждого особняка и с наивностью ребенка, с самоуглубленным видом философа отыскивая, где живет г. маркиз Рафаэль де Валантен. Борьба жестокой печали с деспотическим характером ясно отпечатлелась на его лице, иссохшем как старый пергамент, который коробится на огне. Если б какой-нибудь художник встретил эту странную фигуру в черном, худую и костлявую, он без сомнения, вернувшись в мастерскую, занес бы ее в свой альбом, подписав под портретом: классический поэт в поисках рифмы. Проверив указанный ему номер, это живое возрождение Роллена тихо постучало у двери великолепного особняка.

— Господин Рафаэль дома? — спросил этот простодушный господин у швейцара в ливрее.

— Маркиз никого не принимает, — ответил лакей, глотая огромный ломоть, который он окунул в чашку кофе.

— Его карета здесь, — ответил старый незнакомец, показывая на блестящий экипаж, который стоял под деревянным навесом, изображавшим палатку из тика и осенявшим ступени подъезда. — Он сейчас выезжает, я подожду его.

— Ах! старичок, так вы можете прождать и до завтрашнего утра, — ответил швейцар. — Карета всегда готова для барина. А вы уходите, прошу вас; я потеряю шестьсот франков пожизненной пенсии, если хоть раз пушу в дом кого-нибудь постороннего без приказа.

В это время высокий старик, по костюму очень похожий на министерского курьера, вышел из передней и быстро пробежал вниз, вглядываясь в изумленного просителя.

— Впрочем, вот г. Ионафан, — сказал швейцар; — поговорите с ним.

Два старика, влекомые друг к другу симпатией или взаимным любопытством, встретились посреди просторного

двора на площадке, где несколько кустиков травы пробилось между плит. Жуткое молчание царило в особняке. Увидав Ионафана, вы захотели бы проникнуть в тайну, которою веяло с его лица, о которой говорил всякий пустяк в этом мрачном доме. Первой заботой Рафаэля, после того как он получил огромное наследство дяди, было отыскать, где жил старый преданный слуга, на привязанность которого он мог положиться. Ионафан заплакал от радости, вновь увидав молодого своего барина, с которым, как ему думалось, они простились навеки; но ничто не могло сравниться с его счастьем, когда маркиз возвел его на высокую должность управляющего. Старый Ионафан стал силой, посредствующей между Рафаэлем и целым миром. Верховный распорядитель над состоянием своего барина, слепой исполнитель неведомого замысла, он был как бы шестым чувством, при посредстве которого волнения жизни доходили до Рафаэля.

— Я хотел бы поговорить с г. Рафаэлем, — сказал старик Ионафану, поднимаясь на несколько ступенек, чтобы укрыться от дождя.

— Поговорить с г. маркизом? — воскликнул управляющий. — Они и меня едва удостоивают словом, меня, своего молочного отца.

— Но ведь и я его молочный отец, — вскричал старик, — если ваша жена некогда кормила его грудью, то я давал ему сосать грудь Муз. Он мой питомец, мое дитя, *carus alumnus* ¹⁾! Я образовал его мозг, я взрастил его разумение, развил его гений, осмеливаюсь сказать, к своей чести и славе. Не один ли он из замечательнейших людей нашей эпохи? Под моим руководством он был в шестом, третьем и по риторике. Я его учитель.

— Ах, вы изволите быть г. Поррикэ?

— Он самый... но...

— Тс! Тс! — пригрозил Ионафан двум поварьям, чьи голоса нарушили монастырское молчание, в которое был погружен дом.

— Но послушайте, — продолжал учитель, — г. маркиз, может быть, болен?

— Ах, дорогой мой, — ответил Ионафан. — Только господь знает, что приключилось с барином. Право, и двух домов таких, как наш, не найдется в Париже. Понимаете? И двух домов! Право слово, не найдется. Они приказали купить этот дом, он прежде принадлежал герцогу, пэру. Они потратили триста тысяч франков на меблировку. Право,

¹⁾ Дорогой питомец.

сумма значительная — триста тысяч франков! Зато всякая вещь в нашем доме — истинное чудо. Хорошо! — сказал я себе, как увидел это великолепие, — это как у их покойного дедушки; весь город и придворных будет принимать молодой маркиз! Отнюдь. Они не пожелали никого видеть. Они ведут чудаческую жизнь, понимаете, г. Поррикэ? Жизнь ни с чем несообразную. Они встают каждый день в том же часу. Кроме меня никто, право, никто не смеет войти в их комнату. Я открываю дверь в семь часов, одинаково, что летом, что зимой. Так чудно установлено. Войдя, я им говорю:

— Извольте проснуться и одеваться.

Они просыпаются и одеваются. Я должен подать халат, всегда шьется он по тому же фасону и из той же материи. Я обязан заменить его новым, когда он не будет годиться, только ради того, чтобы им не было труда спросить о новом халате. Вот выдумают же! А на деле, тысячу франков могут потратить в день, делают что хотят, милое дитяtko. Впрочем, я так его люблю, пусть он даст мне пощечину в правую щеку, я подставляю левую! Прикажет мне сделать что ни на есть трудное, и я сделаю, понимаете? Ну, да столько безделиц мне поручено, что есть чем заняться. Читают газеты, конечно. Приказ — класть их на то же место, на тот же стол. В тот же самый час брею их, сам, и руки не дрожат. Повар потеряет тысячу экю пожизненной пенсии, что ожидают его после кончины барина, если завтрак ни с чем несообразно не будет стоять перед барином каждое утро аккуратно в десять часов, и обед аккуратно в пять. Меню составлено на целый год, изо дня в день. Г. маркизу нечего желать. Когда есть клубника, подают клубнику, и первую же макрель, которую привозят в Париж, кушает маркиз. Карточка напечатана, с утра знают наизусть, что за обедом. Значит, одеваются в том же часу, в то же платье, в то же белье, и кладу я их всегда, — понимаете? — на то же кресло. Я должен еще наблюдать, чтобы и сукно было то же; при надобности, если сюртук, положим, износится, должен заменить его новым, ни слова маркизу не говоря. Когда погода хороша, я вхожу и говорю:

— Не должно ли барину выехать?

Они отвечают: да или нет. Придет в голову проехать, лошадей ждать не приходится, они постоянно запряжены: кучер сидит ни с чем несообразно с бичом в руке, как видите. Вечером после обеда едут сегодня в Оперу, завтра к Италья... ах нет, у Итальянцев они еще не были, я достал ложу только вчера. Потом аккуратно в одиннадцать возвращаются и ложатся. В промежутках, если случится

день, когда они ничего не делают, — так читают, постоянно читают, и видите ли, что им пришло на мысль. Мне приказано прежде них читать Вестник Книготорговли, чтобы покупать новые книги, так что, как только они поступают в продажу, барин уже находят их у себя на камине. Я получил приказ ежечасно входить к ним, присматривать за огнем, за всем прочим взглянуть, не хватает ли чего. Дали мне выучить наизусть книжечку, и там записаны все мои обязанности, уж подлинно катехизис. Летом я должен целыми грудями льда поддерживать температуру на том же градусе свежести и во всякое время ставить всюду свежие цветы. Они богаты! Они могут проедать тысячу франков в день, могут удовлетворять все свои прихоти. Бедняжка долгонько-таки был лишен всего необходимого! Никого они не мучат, мягки как воск, слова никогда не скажут, а, к примеру, — чтоб была полная тишина в доме и в саду! Так что ни единого желания у моего барина не образуется, всё само идет в руки, всё на глазах, и геста! Это правильно: если слуг не держать в руках, всё пойдет в разброд. Я говорю им обо всём, что они должны делать, и они слушаются. Вы не поверите, до какой точки они это довели. Апартаменты идут амф... ам... как это? да, амфиладой. Вот открывают они, положим, дверь комнаты, где у них кабинет, крак! — все двери открываются сами, такой механизм. Значит, можно ходить по дому с одного конца до другого, и ни одной двери закрытой не найдут. По благородному это и удобно, и нам всем приятно! Ну, и стоило это, к примеру сказать!.. И вот, г. Поррикэ, в конце концов и сказали они мне:

— Ионафан, ты будешь заботиться обо мне как о ребенке, которого нужно пеленать. Которого нужно пеленать, да, так и сказали: пеленать!

— Ты за меня будешь думать, что мне нужно...

Я, господин, понимаете? А он как бы слуга. И зачем это? Ах, к примеру сказать, вот чего никто на свете не знает, разве только он сам да благой бог. Ни с чем несообразно!

— Он пишет поэму, — вскричал старый учитель.

— Вы думаете, пишет поэму? Так значит это труд каторжный — писать - то. Он часто мне твердит, что хочет жить как растение, растительной жизнью. Не позже, чем вчера, г. Поррикэ, они взглянули на тюльпан и, одеваясь сказали:

— Вот моя жизнь... Живу растительной жизнью, бедный мой Ионафан!

А тем временем другие полагают, что они мономан. Ни с чем несообразно!

— Все доказывает мне, Ионафан, — сказал учитель с ученой важностью, внушившей старому камердинеру глубокое уважение к нему, — что ваш барин занят большим сочинением. Он погружен в пространные размышления и не хочет быть отвлекаемым от них заботами повседневной жизни. Среди умственных трудов человек гениальный забывает обо всем. Однажды знаменитый Ньютон...

— Ах! Ньютон, да... — сказал Ионафан. — Такого не знаю.

— Ньютон, великий геометр, — продолжал Поррикэ, — провел двадцать четыре часа облокотившись на стол; когда он вышел из задумчивости, то думал на следующий день, что это все еще вчера, точно он проспал... Я пойду к нему, к милому моему мальчику, я могу быть ему полезен.

— Погодите! — закричал Ионафан. — Будь вы французским королем — прежним, разумеется! — и то вы вошли бы не иначе, как выломав двери и перешагнув через мой труп. Но вот что, г. Поррикэ, я сбегаю сказать, что вы здесь и спрошу так: нужно их впустить? Ответят да или нет. Я никогда им не говорю: угодно вам? хотите? желаете? Эти слова вычеркнуты из разговора. Раз одно такое слово вырвалось у меня. „Ты уморить меня хочешь!“ сказали они очень разгневавшись.

Ионафан оставил старого учителя в прихожей, сделав ему знак не итти за ним; но вскоре он вернулся с благоприятным ответом и повел заслуженного старика через великолепные апартаменты, все двери которых были открыты. Поррикэ издали заметил своего ученика у камина. Укутавшись в халат с крупными узорами, углубившись в пружинное кресло, Рафаэль читал газету. Крайнюю меланхолию, жертвою которой, казалось, он был, выражала болезненная поза его одряхлевшего тела; она отпечатлелась на лбу, на лице, бледном как зачахший цветок. Какое-то женственное изящество и странности, присущие богатым больным, отличали его. Как у хорошенькой женщины, руки его были белы, мягки и нежны. Белокурые, поредевшие волосы с изысканным кокетством вились на висках. Греческая скуфейка, оттого что шишечка на ней была слишком тяжела по сравнению с мягким кашемиром, из которого была она сшита, съехала на бок. Он уронил под ноги малахитовый с золотом нож, которым разрезал листы книги. На коленях у него был янтарный мундштук великолепной индийской гуки ¹⁾, эмалированные спирали которой как змея легли

¹⁾ Трубка, подобная кальяну, но еще более длинная.

по комнате, и он забыл посасывать ее прохлаждающее благоухание. Однако, общей слабости молодого его тела противоречили голубые глаза, где сосредоточилась, казалось, вся жизнь, где блистало необычайное чувство, поражавшее сразу. Такой взгляд больно было видеть... Одни могли прочесть в нем отчаяние, другие — угадать внутреннюю борьбу, грозную как укоры совести. То был глубокий взгляд бессильного человека, прячущего желания в глубине сердца, или взгляд скупца, мысленно пользующегося всеми наслаждениями, которые могли бы доставить ему его деньги, и отказывающего себе в них, чтобы не уменьшить своих сокровищ; взгляд скованного Прометея или свергнутого Наполеона, когда он в Елисейском дворце узнает в 1815 году о стратегической ошибке неприятеля, требует себе на двадцать четыре часа командования и получает отказ. Настоящий взгляд завоевателя и обреченного, и, еще лучше сказать, взгляд, какой несколько месяцев перед тем бросал Рафаэль на Сену или на последнюю золотую монету, которую он пускал в игру! Он подчинял свою волю, свой разум грубому здравому смыслу старика крестьянина, которого едва приобщила к цивилизации пятидесятилетняя его служба. Почти радуясь тому, что становится подобием автомата, он отказывался от жизни, лишь бы жить, и отнимал у души всю поэзию желаний. Чтобы лучше бороться с жестокой властью чей вызов он, принял, он стал целомудренным на манер Оригена, оскопив свое воображение. На другой день после того, как он, внезапно обогащенный завещанием, заметил сокращение шагреновой кожи, он очутился у своего нотариуса. Там довольно модный врач в серьез рассказывал за десертом, как излечился один швейцарец, больной чахоткой. Он в течение десяти лет не произнес ни слова, дышал только шесть раз в минуту в густой атмосфере хлеба и пищу принимал исключительно пресную. „Я буду таким же человеком!“ — сказал себе Рафаэль, желавший жить во что бы то ни стало. Посреди роскоши он жил подобно паровой машине. Когда старый учитель увидел этот живой труп, он вздрогнул; все показалось ему искусственным в этом слабом, тщедушном теле. Видя, каким пожирающим стал взгляд маркиза, как отягощено мыслями его чело, он не узнал своего ученика, жившего в его памяти со свежим, розовым цветом лица и юношескими членами. Если бы добродушный классик, мудрый критик, хранитель хорошего вкуса читал лорда Байрона, он подумал бы, что увидел Манфреда там, где рассчитывал встретить Чайльд-Гарольда.

— Здравствуйте, отец Поррикэ, — сказал Рафаэль своему учителю, пожимая ледяные пальцы старика своей горячей и влажной рукой. — Как поживаете?

— Я-то, я недурно, — ответил старик в ужасе от прикосновения этой лихорадочной руки. — А вы?

— О, надеюсь остаться в добром здравии.

— Без сомнения, вы работаете над каким-нибудь прекрасным произведением!

— Нет, — отвечал Рафаэль. — „Elegi monumentum“ ¹⁾, отец Поррикэ, я дописал великую страницу и сказал науке: прости навеки. Хорошо не знаю даже, где и рукопись.

— А стиль, конечно, чист? — спросил учитель. — Вы не усвоили, надеюсь, варварского языка новой школы, которая, по ее мнению, наделала чудес, выдумав Ронсара.

— Моя работа — произведение чисто физиологическое.

— О! этим все сказано, — ответил учитель. — В научных работах грамматика должна уступать место требованиям открытий. Тем не менее, дитя мое, стиль ясный, гармонический, язык Массильона, Бюффона, великого Расина, словом, стиль классический не повредят никогда ничему.... Но, другой, — продолжал учитель, прервав самого себя, — я позабыл о цели своего посещения. Посетил я вас по делу.

Слишком поздно вспомнив о словесном изяществе и красноречивых перифразах, к которым многолетнее преподавание приучило его воспитателя, Рафаэль почти раскаивался, что принял его; но как только он готов был пожелать, чтобы тот удалился, он быстро подавил свое тайное желание, украдкой бросив взгляд на шагреновую кожу, висевшую перед ним на белой материи, на которой роковые ее контуры были тщательно обведены точно окаймлявшей ее красной линией. Со времени фатальной оргии Рафаэль заглушал малейший свой каприз и жил так, чтобы не причинить ни малейшего содрогания грозному талисману. Шагреневая кожа была точно тигром, с которым приходилось жить, не пробуждая его свирепости. Итак, он терпеливо выслушивал, как распространялся старый учитель. Целый час потратил отец Поррикэ на рассказ о преследованиях, предметом которых он стал после июльской революции. Добряк, желая сильного правительства, опубликовал патриотическое требование, чтобы бакалейщики оставались за прилавками, люди государственные — при исполнении обязанностей, адвокаты — в суде, пэры Франции — в Люксембурге; но один из популярных министров короля-гражданина лишил его кафедры, обвинив

¹⁾ Слова Горация: „Я памятник себе воздвиг“.

в карлизме. Старик очутился без места, без пенсии и без хлеба. Будучи благодетелем бедного племянника, за пенсион которого в семинарии св. Сульпиция он платил, он пришел не столько ради себя, сколько ради приемного сына, — просить у бывшего своего ученика, чтобы тот похлопотал у нового министра не о восстановлении его в правах, а о месте инспектора в какой-нибудь провинциальной гимназии. Рафаэль был обьят неодолимой дремотой, когда монотонный голос добряка перестал звучать в его ушах. Принужденный из вежливости смотреть в белые, почти неподвижные глаза старика, речь которого была тяжелой и медленной, он был ошеломлен, замагнитизирован необъяснимой силой инерции.

— Хорошо, милый мой отец Поррикэ, — сказал он, сам не зная в точности, на какой вопрос отвечает, — я ничего не могу сделать, решительно ничего. Мое живейшее желание — чтобы вам удалось...

В эту минуту, не замечая, как отразились на желтом, морщинистом лбу старика эти банальные слова, полные эгоизма и беспечности, Рафаэль вскочил как испуганная козуля. Он увидел тоненькую белую линию между краем черной кожи и красным обводом и испустил крик столь ужасный, что старик учитель перепугался.

— Вот, старый скот! — закричал он. — Вас назначат инспектором! И не могли бы вы попросить у меня пожизненной пенсии в тысячу экю, только бы не вызывать убийственного пожелания? Ваше посещение ничего бы мне не стоило. Во Франции сто тысяч должностей, а у меня только одна жизнь! Жизнь человеческая не стоит ли всех должностей в мире?.. Ионафан!

Появился Ионафан.

— Вот что ты наделал, дурак, втройне дурак! Чего ради ты предложил принять его? — сказал он, указывая на окаменевшего старика. — Для того вручил я тебе свою душу, чтобы ты разрывал ее? Десять лет существования оторвал ты за эту минуту! Еще одна такая же ошибка, и ты сведешь меня в то жилище, куда я свел своего отца! Не лучше ли бы мне обладать красавицей Федорой, чем оказывать одолжение старому скелету, отрепью человеческому? Для него у меня хватило бы золота... Впрочем, даже умри с голоду все Поррикэ в мире, что мне до того?

От гнева лицо Рафаэля побелело; легкая пена бороздила его дрожащие губы, выражение глаз стало кровожадным. От подобного зрелища оба старика были охвачены конвульсивной дрожью, как двое детей при виде змеи. Молодой

человек упал в кресло; какая-то реакция произошла у него в душе, слезы обильно потекли из пламенеющих глаз.

— О, жизнь моя! Прекрасная моя жизнь! — сказал он. — Ни благодетельных мыслей, ни любви! Ничего нет.

Он обернулся к учителю.

— Зло сделано, мой старый друг, — продолжал он мягко. — Я щедро вознагражу вас за ваши заботы, и мое несчастье, по крайней мере, послужит ко благу для доброго, достойного человека.

Такая задушевность была в тоне, каким он произнес эти почти непонятные слова, что оба старика расплакались как плачут, услышав трогательную песенку на чужом языке.

— Он эпилептик! — сказал Поррикэ тихо.

— Я узнаю вашу доброту, — продолжал мягко Рафаэль, — вы хотите найти мне оправдание. Болезнь, это — случайность, а бесчеловечность — порок. Уйдите теперь, — добавил он. — Завтра или после завтра, а может быть сегодня вечером вы получите назначение, ибо сопротивление одержало верх над движением... Прощайте.

Старик удалился, проникнутый ужасом, объятый живой тревогой за душевное здоровье Валентена. Для него в этой сцене было нечто сверхъестественное. Он не доверял себе и допрашивал себя, точно проснулся после тяжелого сна.

— Послушай, Ионафан, — сказал молодой человек, обращаясь к старому слуге. — Постарайся понять задачи, на тебя возложенные!

— Слушаюсь, господин маркиз.

— Я как бы поставлен вне общего закона.

— Слушаюсь, господин маркиз.

— Все радости жизни играют вокруг моего смертного ложа и пляшут передо мной как красавицы; если я позову их, я умру. Во всем смерть. Ты должен быть преградой между миром и мною.

— Слушаюсь, господин маркиз, — сказал старый слуга, осушая капли пота, выступившие на его морщинистом лбу. — Но если вам не угодно видеть красавиц, как же вы нынче вечером поедете к Итальянцам? Английское семейство, уезжая в Лондон, уступило мне свой абонемент, у вас прекрасная ложа... о! знатная ложа, в бенуаре.

Впав в глубокую задумчивость, Рафаэль уже не слушал.

Видите ли вы эту пышную карету, по внешнему виду простую, темной окраски, но на дверцах которой блистает герб старинного, знатного рода? Когда карета быстро проезжает, гризетки восторгаются ею, завидуют желтому атласу,

ковру работы Savonnerie ¹⁾, позументу, светлому как рисовая солома, мягким подушкам и зеркальным стеклам. Два лакея в ливреях держатся позади аристократического экипажа; а в глубине на шелку лежит пылающая голова с обведенными глазами, голова Рафаэля, печальная и задумчивая. Фатальный образ богатства. Он мчится по Парижу как ракета, подъезжает ко входу в театр Фавар, подножка откинута, двое лакеев его поддерживают, толпа завистливо смотрит.

— Что сделал он, чтобы стать таким богатым? — говорит бедный студент-юрист, который, за неимением одного экю, не может слушать магических аккордов Россини.

Рафаэль медленно ходил по коридорам вокруг залы; он не надеялся на какое бы то ни было удовольствие от наслаждений, некогда столь желанных. Ожидая второго акта Семирамиды, он прогуливался в фойе, бродил по галереям, не вспоминая о своей ложе, где он еще и не был. Чувства собственности больше не существовало в глубине его сердца. Подобно всем больным, он думал только о своей болезни. Опершись о выступ камина, вокруг которого кишели посередине фойе молодые и старые франты, бывшие и новые министры, пэры, непризнанные или мнимые, какие появились после июльской революции, словом целый мир наблюдателей и журналистов, — Рафаэль в нескольких шагах от себя среди всевозможных лиц заметил фигуру странную и сверхъестественную. Очень дерзко прищутив глаза, он пошел навстречу этому странному существу, чтобы рассмотреть его поближе. „Что за восхитительная живопись!“ — сказал он. Брови, волосы, борода запятой а ля Мазарини, которую чванливо носил незнакомец, были выкрашены в черный цвет; но в применении к волосам, без сомнения, слишком поседевшим, косметика создала лиловатый фальшивый цвет, оттенки которого изменялись соответственно более или менее сильному отражению света. На его узком лице, морщины на котором были замазаны густым слоем красной и белой краски, было выражение за раз хитрое и беспокойное. Кое-где краски не хватало, и там странно проступала дряхлость лица свинцового цвета; поэтому невозможно было не рассмеяться, увидав эту голову с заостренным подбородком, с выпуклым лбом, очень похожую на те чудные фигурки, которых вырезают из дерева немецкие пастухи в часы досуга. Если бы наблюдатель всмотрелся поочередно в этого старого Адониса и в Рафаэля, он признал бы, что у маркиза —

¹⁾ Знаменитая французская фабрика ковров, основанная Дюпоном в 1604 г.

глаза молодого человека под маской старика, а у незнакомца — тусклые стариковские глаза под маской молодого человека. Валентен старался вспомнить, при каких обстоятельствах он встречал этого старичка, сухого, в отличном галстуке, в высоких сапогах, который позванивал шпорами и скрещивал руки, точно ему оставалось еще истратить все силы пылкой молодости. Ничего принужденного и искусственного не было в его походке. Элегантный фрак, тщательно застегнутый на все пуговицы, казалось, прикрывал по-старинному крепкую фигуру, придавая статность старому фату, который следует еще моде. Для Рафаэля в этом подобии куклы, исполненной жизни, были все чары призрака, и он смотрел на него как на старого, законченного Рембрандта, когда его только-что реставрируют, кроют лаком и вставляют в новую раму... Это сравнение дало ему возможность обрести след истины в смутных своих воспоминаниях: он узнал торговца редкостями, человека, которому был обязан своим несчастьем. В ту же минуту у этого фантастического персонажа вырвался беззвучный смех, обозначившись на его холодных губах, обтянувших фальшивые зубы. Этот смех открыл живому воображению Рафаэля поразительное сходство его с той идеальной головой, какую живописцы придают Мефистофелю Гёте. Тысячи суеверий овладели сильной душой Рафаэля, он поверил в эту минуту в могущество демона, во все колдовства, о которых сообщают средневековые легенды и которыми воспользовались поэты. В ужасе отвергая участь Фауста, он вдруг воззвал к небу, горячо, как это бывает у умирающих, поверив в бога и в деву Марию. Лучезарный и яркий свет позволил ему увидеть небо Микель-Анджело и Санцио Урбинского: облака, старца с седой бородой, окрыленные головы, прекрасную женщину, восседающую в ореоле. Теперь он понимал, усваивал те удивительные произведения, почти человеческие фантазии которых изъясняли ему происшедшее с ним, позволяя еще ему надеяться. Но когда взор его вновь упал на фойе Итальянского театра, то вместо девы он увидел очаровательную девушку, ненавистную Евфрасию, танцовщицу с телом гибким и легким, в платье блистающем, покрытом восточным жемчугом; нетерпеливо подошла она к своему нетерпеливому старику и бесстыдная, с смело поднятым челом, с искрящимися очами показывалась свету завистливому и наблюдательному с тем, чтобы засвидетельствовать, как безгранично богатство купца, чьи сокровища она расточала. Рафаэль вспомнил о шутовском пожелании, с каким он принял от старика фатальный дар и вкушал все наслаждения мщенья, смотря на глубокое

унижение высшей мудрости, падение которой прежде казалось невозможным. Погребальная улыбка столетнего старика была обращена к Евфрасии, которая ответила любовными словами; он предложил ей свою иссохшую руку, два — три раза обошел с нею фойе, с радостью принимал страстные взоры и комплименты, которые толпа бросала его возлюбленной, не видя презрительных улыбок, не слыша едких насмешек, направленных на него.

— На каком кладбище эта молодая обжора нашла подобный труп? — вскричал элегантнейший из всех романтиков.

Евфрасия в ответ улыбнулась. Насмешник был белокурый молодой человек, с глазами голубыми и блестящими, тонкий, с усами, в коротком фраке, со шляпой на бок, скорый на ответ, с речью в определенном стиле!

— Сколько стариков, — сам себе сказал Рафаэль, — свою честную, трудовую, добродетельную жизнь увенчивают безрассудством! У него уже ноги холодеют, а он занят любовью... Послушайте! — крикнул Валантен, останавливая купца и взглядом заигрывая с Евфрасией, — вы уже не вспоминаете о суровых правилах вашей философии?

— Ах! — ответил торговец надорванным голосом. — Теперь я счастлив как юноша. Я превратно понимал существование. В одном часе любви — целая жизнь.

В это время, заслышав звонок, зрители стали покидать фойе, направляясь к своим местам. Старик и Рафаэль растались. Войдя к себе в ложу, маркиз увидел Федору по другую сторону залы, как-раз против него. Очевидно, только что приехав, она отбрасывала назад шарф, открывая шею, и делала массу не поддающихся описанию движений, как кокетка, усаживающаяся на показ: все взгляды сосредоточились на ней. Ее сопровождал молодой пэр Франции; она попросила у него лорнет, который дала ему нести. По ее жесту, по манере ее смотреть на нового своего спутника Рафаэль угадал, как тиранически подчинила она себе его заместителя. Без сомнения, зачарованный, каким и он был когда-то, одураченный как он и как и он всею силою подлинной любви борясь с холодными расчетами этой женщины, молодой человек должен был испытывать те муки, от которых счастливо отказался Валантен. Невыразимая радость оживила лицо Федоры, когда, наведя лорнет на все ложи и быстро осмотрев туалеты, она пришла к сознанию, что ее убором и ее красотой побеждены самые хорошенькие, самые элегантные женщины Парижа; она принялась смеяться, чтобы показать свои белые зубы, поворачивала голову, украшенную цветами, чтобы ею восхищались, с ложи на ложу переходил

ее взгляд, насмехаясь над неловко сдвинутым на лоб беретом у одной русской княгини или над неудачной шляпой, очень плохо украшавшей дочь банкира. Вдруг она побледнела, встретив пристальный взгляд Рафаэля; пренебреженный ею любовник поразил ее невыносимо-презрительным взглядом. В то время как никто из изгнанных ею любовников не отвергал ее власти, Валантен, один только в целом свете, был вне влияния ее чар. Власть, которой бравируют безнаказанно, близка к гибели. Это правило глубже запечатлено в сердце женщины, чем в голове королей. И вот, Федора увидела в Рафаэле смерть своему обаянию и кокетству. Сказанная им вчера в опере острота стала уже популярной в парижских салонах. Острие этой ужасной эпиграммы нанесло графине неизлечимую рану. Во Франции мы научились прижигать язву, но мы не знаем еще лекарства от вреда, причиняемого одной фразой. В тот момент, когда все женщины смотрели поочередно то на маркиза, то на графиню, Федора хотела бы ввергнуть его в казематы Бастилии, ибо, несмотря на ее талант скрытности, соперницы угадали ее страдания. Наконец, ускользнуло от нее и последнее утешение. Отрадные слова „я всех красивее!“, эта вечная фраза, усмирявшая все горести ее тщеславия, стала ложью. При начале второго акта какая-то дама села в соседней с Рафаэлем ложе, которая до сих пор оставалась пустой. По всему партеру пронесся шопот восхищения. По морю лиц человеческих поднялись волны внимания, глаза всех взглянули на незнакомку. Юноши и старцы шумели так долго, что во время поднятия занавеса музыканты из оркестра обернулись, дабы призвать толпу к тишине; но и они присоединились к ее восторгам и тем увеличили невнятный шум. Оживленные разговоры завязались по всем ложам. Дамы вооружились биноклями, помолодевшие старики кожей своих перчаток стали протирать стекла лорнетов. Постепенно энтузиазм утих, пение раздалось со сцены, все вернулось к порядку. Порядочное общество, застыдившись того, что уступило естественному движению, вновь обратилось к аристократической холодности хороших манер. Богатые стараются ничему не удивляться, они обязаны при первом же взгляде на прекрасное произведение отыскивать в нем недостаток, который избавит от удивления, чувства вульгарного. Впрочем, некоторые из мужчин остались недвижимы и не слушали музыки, забывшись в наивном восхищении, занятые созерцанием соседки Рафаэля. Валантен заметил в бенуаре, рядом с Акилиной, плебейское, налитое кровью лицо Тайфера, посылавшего ему гримасу одобрения. Потом увидел Эмиля, который, стоя у оркестра, казалось,

говорил ему: „Взгляни же на прекрасное создание, что возле тебя“. Наконец, Растиньяк, сидя около г-жи Нюсинген и ее дочери, теребил свои перчатки как человек, который в отчаянии от того, что прикован к месту и не может подойти к божественной незнакомке. Жизнь Рафаэля зависела от договора, еще не нарушенного, который он заключил с самим собой: он обещал себе никогда внимательно не смотреть ни на одну женщину, и, чтобы избежать подобного искушения, он носил лорнет, микроскопические стекла которого, искусной выделки, уничтожали гармонию прекраснейших черт, придавая им отвратительный вид. Будучи еще во власти ужаса, охватившего его утром, когда из-за обыкновенного вежливого пожелания талисман так быстро сжался, Рафаэль твердо решил не поворачиваться к соседке. Сидя как герцогиня, он оперся спиной об угол ложи и нагло заслонял половину сцены от незнакомки, делая вид, что презирает ее и даже не хочет признавать, что позади него находится хорошенькая женщина. Соседка в точности копировала позу Валентена: она облокотилась о край ложи и, обернувшись в три четверти, смотрела на певцов так, словно позировала перед художником. Они оба напоминали двух поссорившихся любовников, которые дуются, поворачиваются друг к другу спиной, а потом обнимутся при первом же слове любви. Минутами легкие перья или волосы незнакомки касались головы Рафаэля, причиняя ему сладострастное ощущение, с которым он храбро боролся; вскоре он почувствовал нежное прикосновение рюша блонд, украшавших воротник ее платья, слышался женственный шелест складок самого платья, легкая дрожь, исполненная мягкого волшебства, наконец, не приметное движение, дыханием сообщенное груди, спине, одежде красивой дамы, и вся ее сладостная жизнь передались Рафаэлю как электрическая искра; тюль и кружева, пощекотав плечо, с верностью передали приятную теплоту ее белой, нагой спины. По капризу природы, эти два существа, разлучаемые хорошим тоном, отделяемые безднами смерти, дышали вместе и, может быть, думали друг о друге. Проникновенное дыхание индийского нарда окончательно опьянило Рафаэля. Его возбужденное препятствием, от помех ставшее еще более предприимчивым, быстро, огненными чертами нарисовало ему женщину. Он резко обернулся. Оскорбленная, без сомнения, тем, что очутилась в соприкосновении с чужим человеком, незнакомка сделала подобное же движение; их лица, одушевляемые одной и той же мыслью, встретились.

— Полина!

— Г-н Рафаэль!

Окаменевшие и тот, и другая, они мгновение смотрели друг на друга молча. Рафаэль увидел Полину одетой в простое, но хорошего вкуса платье. Сквозь газ, целомудренно прикрывавший грудь, опытные глаза могли различить лилейную белизну, могли угадать формы, которым подивилась бы женщина. Затем, это была все та же девственная скромность, та же небесная чистота, та же изящная поза. Материя ее рукава выдала дрожание, от которого всё тело ее билось как сердце.

— О! приходите завтра, — сказала она, — приходите в гостиницу Сен-Кантэн, возьмете ваши бумаги. Я буду там в полдень. Будьте аккуратны.

Она стремительно встала и исчезла. Рафаэль хотел последовать за Полиной, но побоялся скомпрометировать ее, остался, посмотрел на Федору и нашел, что она безобразна; но, не в силах постигнуть ни единой музыкальной фразы, задыхаясь в этой зале, с переполненным сердцем, он вышел и вернулся к себе.

— Ионафан, — сказал он старому слуге, когда лег в постель, — дай мне пол-капли лауданума на кусочке сахара и завтра разбуди только в двенадцать без двадцати.

— Хочу быть любимым Полиной! — вскричал он на утро, глядя на талисман с невыразимой тоской.

Никакого движения не было на коже; казалось, она потеряла способность сокращаться. Без сомнения, она не могла осуществить уже исполнившегося желания.

— Ах! — вскричал Рафаэль, чувствуя, что он точно освобождается от свинцового плаща, который носил с того самого дня, когда ему был подарен талисман, — ты лжешь, ты не повинешься мне, договор нарушен! Я свободен, я буду жить. Так все это злая шутка?..

Произнося эти слова, он не осмеливался поверить своей собственной мысли. Он оделся так же просто, как одевался прежде, и решил идти пешком в свое бывшее жилище, пытаться мысленно перенестись в те счастливые дни, когда он безопасно предавался ярости желаний, когда он еще не оценил всех человеческих удовольствий. Он шел и видел уже не Полину из гостиницы Сен-Кантэн, а вчерашнюю Полину, совершенную возлюбленную, столь часто являвшуюся ему в мечтах, молодую, умную девушку, любящую, художницу, которая понимает поэтов, понимает поэзию и живет в роскоши; словом, Федору, но одаренную прекрасной душой, или Полину, но ставшую графиней и дважды миллионершей как Федора. Когда он очутился на потертом пороге, на расколотой плите у двери, где столько раз бывали у него мысли, полные отчаяния, из залы вышла старуха и сказала ему:

— Вы не г. Рафаэль де Валантен?

— Да, матушка, — сказал он.

— Вы знаете вашу прежнюю квартиру, — продолжала она, — вас там ожидают.

— Гостиницу все еще содержит г-жа Годэн? — спросил Рафаэль.

— О, нет. Г-жа Годэн теперь баронесса. Она живет в прекрасном собственном доме на том берегу. Ее муж возвратился. Да! привез он с собой тысячи и сотни... Говорят, она могла бы купить весь квартал Сен-Жак, если бы хотела. Она мне даром отдала имущество и гостиницу до конца контракта. Ах! Она все такая же добрая женщина! Ничуть не более горда сегодня, чем вчера.

Рафаэль медленно поднялся к себе на мансарду и, когда он взошел на последние ступеньки лестницы, он услышал звуки фортепиано. Полина была там, скромно одетая в перкалевое платье, но по фасону платья, по перчаткам, шляпе и шали, небрежно брошенным на постель, было видно ее богатство.

— Ах! Вот и вы наконец! — вскричала Полина, повернув голову и вставая движением наивно-радостным.

Рафаэль подошел и сел подле нее, краснея, стыдась, счастливый; он смотрел на нее, не говоря ни слова.

— Зачем же вы покинули нас? — продолжала она, опустив глаза в ту минуту, когда вспыхнуло ее лицо. — Что стало с вами?

— Ах, Полина, я был, да и теперь еще — я очень несчастен.

— Увы! — вскричала она, совсем растроганная. — Вчера я угадала вашу участь, видя, что вы хорошо одеты, по внешности богаты, а по существу, не так ли, все обстоит как прежде?

Валантен не смог удержать нескольких слезинок, они покатались из глаз. Он воскликнул:

— Полина!.. Я...

Он не кончил, глаза его блеснули любовью, и сердечность разлилась в его взгляде.

— О! Он любит меня! Он любит меня! — вскрикнула Полина.

Рафаэль кивнул головой, ибо чувствовал, что не в состоянии произнести ни слова. На его движение молодая девушка взяла его за руку, пожала ее и сказала не то смеясь, не то рыдая:

— Богаты, богаты, счастливы, богаты! Твоя Полина богата... А мне, мне нужно бы быть бедной сегодня. Тысячу раз я говорила, что за слова „он меня любит!“ я отдала

бы все сокровища земли. О, Рафаэль мой! у меня миллионы. Ты любишь роскошь, ты будешь доволен; но и сердце мое ты должен любить так же, как полно оно любовью к тебе! Знаешь ли? Отец мой вернулся. Я богатая наследница. Моя мать и он всецело предоставили мне распоряжаться моей судьбой; я свободна, понимаешь?

Охваченный чем-то в роде бреда, Рафаэль держал руки Полины и целовал их так пылко, так жадно, что поцелуй его, казалось, был подобен конвульсии. Полина отняла руки, положила их на плечи Рафаэля и охватила его; они обнялись, прижались друг к другу и поцеловались с тем святым и сладостным жаром, свободным от всякой задней мысли, каким бывает запечатлен один только поцелуй, первый поцелуй, который двум душам дает власть друг над другом.

— Ах! — воскликнула Полина, откидываясь на стул. — Я не хочу больше покидать тебя... Не знаю, откуда взялось у меня столько смелости! — краснея продолжала она.

— Смелости, моя Полина? О! не бойся, это любовь, настоящая любовь, глубокая, вечная, как моя, не правда ли?

— О! Говори, говори, говори! — сказала она. — Твои уста так долго были немы передо мной...

— Так ты любила меня?

— О боже! Любила ли! Сколько раз я плакала вот здесь, убирая твою комнату, оплакивала бедность твою и свою! Я продалась бы демону, лишь бы избавить тебя от печали. Теперь, мой Рафаэль, — ведь конечно ты мой: моя эта прекрасная голова, моим стало твое сердце! О да! Особенно твое сердце, вечное богатство!.. Ну что же, на чем я осталась? — продолжала она, сделав паузу. — Ах, да: у нас три, четыре, пять миллионов, думаю. Будь я бедна, я очень хотела бы, может быть, носить твое имя, чтобы меня звали твоей женой; а теперь я хотела бы пожертвовать ради тебя целым миром, хотела бы попрежнему и всегда быть твоей служанкой. Вот, Рафаэль, я предлагаю тебе свое сердце, самое себя и состояние, я дам теперь нисколько не больше, чем в тот день, когда сюда, — сказала она, показывая на ящик стола, — положила ту монету в сто су. О! Какую боль тогда причинила мне твоя радость!

— Зачем ты богата? — воскликнул Рафаэль. — Зачем нет в тебе тщеславия? Я ничего не могу сделать для тебя!

Он ломал руки от счастья, от отчаяния, от любви.

— Когда ты станешь маркизой де-Валантен, я знаю тебя, душа небесная, и титул и богатство не будут для тебя стоить...

— И одного твоего волоса! — вскричала она.

— И у меня также, и у меня миллионы, но что теперь для нас богатство! Ах! Вот моя жизнь, ее я могу предложить тебе, возьми же ее.

— О! твоя любовь, Рафаэль, твоя любовь стоит целого мира. Как, твоя мысль принадлежит мне! Тогда я счастливейшая из счастливых.

— Нас услышат,—сказал Рафаэль.

— О! тут никого нет,—ответила она, и у нее вырвался жест упрямства.

— Иди же ко мне! — вскричал Валантен, протягивая ей руки.

Она вскочила к нему на колени и обвила своими руками шею Рафаэля:

— Обнимите меня за все огорчения, которые доставили вы мне, чтобы загладить муку, причиненную мне вашими радостями, за все ночи, которые я провела, раскрашивая экраны...

— Экраны?

— Раз мы богаты, сокровище мое, я могу рассказать тебе обо всем. Бедное мое дитя! Как легко обмануть умных людей! Разве могли бы у тебя быть два раза в неделю белые жилеты и чистые сорочки при трех франках в месяц на прачку? А ты выпивал вдвое больше молока, чем сколько можно было купить на твои деньги! Я обманывала тебя на всем: на топливе, масле, даже на деньгах! О, Рафаэль мой, не бери меня в жены,—сказала она со смехом,—я человек очень хитрый.

— Как же ты все это делала?

— Работала до двух часов утра, и половину того, что зарабатывала на экранах, отдавала матери, а половину — тебе.

Мгновение смотрели они друг на друга, и оба ничего не понимали от радости любви.

— О! — воскликнул Рафаэль, — конечно, когда-нибудь мы заплатим за такое счастье ужасающим горем.

— Не женат ли ты? — воскликнула Полина. — Никакой женщине я не хочу тебя уступить.

— Нет, дорогая моя, я свободен.

— Свободен! — повторяла она. — Свободный и мой!

Скользнув, она стала на колени, сложила руки и смотрела на Рафаэля с жаром набожности.

— Я боюсь сойти с ума. Как ты мил! — продолжала она, погружая пальцы в белокурые волосы своего возлюбленного. — Дура она, твоя графиня Федора! Какое наслаждение почувствовала я вчера, видя как все меня приветствовали! Она никогда не видала такого одобрения, она! Скажи,

милый, когда своей спиной я прикоснулась к твоему плечу, я услышала, что какой-то голос во мне закричал: „Он здесь!“ Я обернулась и вижу тебя. О! я убежала, мне ужасно захотелось броситься тебе на шею на глазах у всех.

— Ты очень счастлива, что можешь говорить! — воскликнул Рафаэль. — А у меня сердце сжимается. Я хотел бы плакать и не могу. Не отнимай руки. Кажется, я остался бы всю жизнь смотреть на тебя так и был бы счастлив и доволен.

— Повтори мне эти слова, любовь моя!

— Что для нас слова! — ответил Рафаэль, и горячая слеза его упала на руки Полины. — Со временем постараюсь рассказать тебе о моей любви; теперь я могу только чувствовать.

— О! — воскликнула она, — прекрасная душа, прекрасный гений, сердце, которое так мне знакомо, все это мое, как и я — твоя?

— Навсегда, нежное мое создание, — сказал Рафаэль взволнованным голосом. — Ты будешь моей женой, моим добрым гением. Твое присутствие всегда рассеивало мои горести и освежало мне душу; теперь твоя ангельская улыбка, можно сказать, очистила меня. Верю, что для меня начинается новая жизнь. Жестокое прошлое, мои печальные безумства, все это кажется мне дурным сном. Я становлюсь чистым подле тебя. Чувствую дыхание счастья. О! останься здесь навсегда, — добавил он, с святым чувством прижимая ее к своему бьющемуся сердцу.

— Пусть смерть приходит, когда ей угодно, — вскричала Полина в экстазе, — я жила.

Счастлив тот, кто угадает их радости, — они ему, значит, ведомы.

— Рафаэль мой, — сказала Полина, после того как часы протекли в молчании, — я хотела бы, чтобы в будущем никто не входил на милую нашу мансарду.

— Нужно замуровать дверь, вставить решетку в окно и купить этот дом, — ответил маркиз.

— Это хорошо, — сказала она.

Потом, после минутного молчания:

— Мы забыли немножко поискать твои рукописи.

Они рассмеялись нежно и невинно.

— Ба! Я презираю теперь всякую науку! — воскликнул Рафаэль.

— Ах! А как же слава?

— Ты моя единственная слава.

— Очень ты был несчастлив, вычерчивая эти мушиные лапки? — сказала она, перелистывая бумаги.

— Полина моя...

— Ну да, твоя Полина... В чем дело?

— Где ты живешь?

— Улица св. Лазаря. А ты?

— Улица Варенн.

— Как будет нам далеко друг от друга, вплоть до тех пор...

Она умолкла, взглянув на своего друга кокетливо и лукаво.

— Но, — ответил Рафаэль, — мы будем разлучены самое большее две недели.

— Правда! Через две недели мы поженимся!

Она подпрыгнула как ребенок.

— О! я бесчувственная дочь, — продолжала она, — я не думаю ни об отце, ни о матери и ни о чем на свете! Знаешь, дружок? Мой отец очень болен. Он вернулся из Индии совсем больной. Он едва не умер в Гавре, куда мы поехали его искать. Ах, боже! — вскричала она, взглянув на часы. — Уже три часа! Я должна быть дома при его пробуждении в четыре часа. Я хозяйка в доме: моя мать исполняет все мои желания, отец меня обожает, но я не хочу злоупотреблять их добротой, это было бы нехорошо! Бедный отец, это он послал меня вчера в Итальянский... Ты приедешь завтра повидать его, правда?

— Маркизе де Валантен угодно оказать мне честь принять мою руку?

— Ах! я унесу с собой ключ от этой комнаты, — продолжала она. — Разве это не дворец, не сокровище наше?

— Полина, еще один поцелуй?

— Тысячу! Боже мой, — сказала она, взглянув на Рафаэля, — и всегда будет так? Мне это кажется сном.

Они медленно спустились по лестнице; потом, в тесном единении, идя в ногу, вместе вздрагивая от тяжести одного и того же счастья, прижимаясь друг к другу как два голубка, они дошли до площади Сорбонны, где ожидала карета Полины.

— Я хочу заехать к тебе, — воскликнула она. — Хочу посмотреть на твою комнату, на твой кабинет, посидеть за столом, где ты работаешь. Это будет как прежде, — добавила она краснея. — Жозеф, — сказала она лакею, — я поеду на улицу Варенн, а потом уже домой. Теперь четверть четвертого, дома я должна быть в четыре. Пусть Жорж подгоняет лошадей.

И двое влюбленных через несколько мгновений подъехали к особняку Валентена.

— О, как я довольна, что все здесь осмотрела! — воскликнула Полина, теребя шелк занавесей, драпировавших

постель Рафаэля. — Когда я стану засыпать, в мыслях я буду здесь. Буду представлять себе твою милую голову здесь на подушке. Скажи, Рафаэль, ты ни с кем не советовался, когда меблировал свой дом?

— Ни с кем.

— Правда? А не женщина какая-нибудь...

— Полина!

— Я чувствую, что я страшно ревнива! У тебя хороший вкус. Завтра же хочу достать себе такую же постель.

Пьяный счастьем, Рафаэль обнял Полину.

— Ах! Мой отец... Мой отец!.. — сказала она.

— Я провожу тебя, я хочу как можно меньше оставаться без тебя, — воскликнул Валантен.

— Как ты предупредителен! Я не смела тебе предложить...

— Разве ты не жизнь моя?

Было бы скучно в точности записывать ту страстную любовную болтовню, которой лишь оттенок голоса, взгляд, непередаваемый жест придают настоящую цену. Валантен проводил Полину до дому и вернулся с таким наслаждением в сердце, какое только может почувствовать и вынести человек здесь на земле. Когда он уселся в кресло подле огня, думая о внезапном и полном осуществлении своих надежд, холодная мысль пронизала его душу, как сталь кинжала пронзает грудь: он взглянул на шагреновую кожу, — она слегка сузилась. Он крепко по-французски выругался, не прибегая к иезуитскому молчанию Андюльетской аббатиссы, прислонился головой к креслу и остался недвижим, устремив взор на украшение в форме пантеры, но не видя его.

— Великий бог! — воскликнул он. — Как! Все мои желания, все! Бедная Полина!..

Он взял циркуль, измерил, сколько бытия стоило ему утро.

— Мне осталось только на два месяца! — сказал он.

Ледяной пот выступил у него; вдруг, повинувшись невыразимому движению ярости, он схватил шагреновую кожу, закричав:

— Какой я дурак!

Он вышел, побежал, пересек сад и бросил талисман на дно колодца.

— Плыви, моя галера!.. — сказал он. — К чорту все эти глупости!

Рафаэль предался счастью любви и зажил с Полиной сердце в сердце. Их свадьба, отложенная вследствие затруднений, мало интересных для рассказа, должна была праздно-

ваться в первых числах марта. Они испытали друг друга, не сомневались больше в самих себе, и так как счастье открыло им всю силу их любви, не было двух душ, двух характеров в более совершенном единении, нежели оба они, соединенные страстью. Чем больше узнавали они друг друга, тем больше начинали любить: и с той и с другой стороны та же деликатность, та же стыдливость, то же сладострастие, нежнейшее ангельское сладострастие; ни облачка у них на небе; поочередно желания одного становились законом для другого. Оба они были богаты, и у них не было капризов, которых нельзя было бы удовлетворить, — следовательно, и никаких капризов у них не было. Изысканный вкус, чувство прекрасного, истинная поэтичность оживляли душу супруги; она пренебрегала женскими безделками, и улыбка ее друга казалась ей прекраснее всех ормузских жемчугов, а муслин или цветы были для нее богатейшим убором. Впрочем, Полина и Рафаэль избегали света, уединение было для них таким прекрасным, таким плодотворным. Люди праздные аккуратно каждый вечер видели эту прелестную незаконную чету у Итальянцев или в Опере. Если вначале кое-какие злые словечки и позабавили салоны, то вскоре пронесшийся над Парижем поток событий заставил забыть о безобидных влюбленных; наконец, была объявлена свадьба, оправдание в глазах людей высоконравственных; слуги их случайно оказались скромными, — и таким образом они не были казнены за свое счастье никакой слишком живой злоречивостью.

В конце февраля, когда довольно теплые дни уже позволяют думать о радостях весны, Полина и Рафаэль завтракали вместе в небольшой оранжерее, в роде гостиной, полной цветов, на одном уровне с садом. Мягкое, бледное зимнее солнце, лучи которого пробивались сквозь редкие кусты, согревало уже воздух. Взор веселился резкими контрастами различной листвы, красками цветущих кустарников, всевозможными фантазиями света и тени. В то время как парижане грелись еще у скучных очагов, двое юных супругов смеялись в беседке из камелий, лилий и вереска. Их головы весело поднимались над нарциссами, ландышами и бенгальскими розами. В этой оранжерее, сладострастной и богатой, под ногами лежала африканская циновка, раскрашенная как ковер. На обитых зеленым тиком стенах не было ни малейшего следа сырости. Мебель была деревянная, на вид грубоватая, но ее полированная поверхность сияла чистотой. Котенок, присевший на столе, куда привлек его запах молока, перепачкался в кофе Полины;

она играла с котенком, отставляла сливки, давала только их понюхать, чтобы испытать его терпение и затянуть игру; она порывисто хохотала от каждой его гримасы и рассказывала тысячу глупостей, чтобы помешать Рафаэлю читать газету, которая уже десяток раз падала у него из рук. Полна невыразимого счастья была эта утренняя сцена, как и все естественное и правдивое. Рафаэль делал вид, что все еще читает газету, и украдкой посматривал на Полину, как она схватилась с котенком, на свою Полину, закутавшуюся в длинный пеньюар, который не вполне ее скрывал, на свою Полину, с волосами в беспорядке, и на высунувшуюся ее белую ножку с голубыми жилками, в туфле из черного бархата. Полуодетая, очаровательная, прелестная как фантастические образы Вестгалья, она казалась сразу и молодой девушкой и женщиной, быть может, больше девушкой, чем женщиной, она наслаждалась чистым счастьем и в любви познала только первые ее радости. Как только, совсем погрузившись в тихую мечтательность, Рафаэль забыл про газету, Полина выхватила ее, скомкала, сделала из нее шар, бросила его в сад, и котенок побежал за политикой, которая, как всегда, вертелась вокруг самой себя. Когда Рафаэль, развлекшись этой ребячливой сценой, захотел продолжать чтение и сделал жест, чтобы поднять газету, которой уже не было, раздались взрывы смеха, искреннего, веселого, рождающегося вновь и вновь, как песни птицы.

— Я ревную тебя к газете, — сказала она, вытирая слезы, которые потекли от ее детского смеха. — Разве это не вероломство, — продолжала она, вдруг вновь становясь женщиной, — читать в моем присутствии русские манифесты, предпочитая прозу императора Николая словам и взглядам любви.

— Я не читал, ангел мой, любимая моя, я смотрел на тебя.

В эту минуту возле оранжереи раздались тяжелые шаги садовника, от подкованных башмаков которого скрипел песок на дорожке.

— Прошу прощения, господин маркиз, что помешал вам, и у вас также, барыня, но я принес вам диковинку, какой никогда не видал. Я вытащил сейчас, с вашего разрешения, бадью воды, и вынул это особенное морское растение! Вот оно! Однако нужно же так привыкнуть к воде, — ведь насколько не смокло и не отсырело. Сухо, точно из дерева, и совсем-таки не жирное. Понятно, г. маркиз учение меня, так я и подумал, что нужно им это отнести. Им будет любопытно.

И садовник показал Рафаэлю неумолимую шагреновую кожу, на поверхности которой укладывалось не больше шести квадратных дюймов.

— Спасибо, Ваньер, — сказал Рафаэль. — Вещь очень любопытная.

— Что с тобой, мой ангел? Ты побледнел! — вскричала Полина.

— Ступайте, Ваньер.

— Твой голос пугает меня, — продолжала молодая девушка, — он странно изменился. Что с тобой? Как ты себя чувствуешь? Где у тебя болит? Ты болен! Доктора! — закричала она. — Ионафан, на помощь!

— Полина моя, молчи, — ответил Рафаэль, к которому вернулось самообладание. — Пойдем отсюда. Здесь есть какой-то цветок с неприятным запахом. Быть может, эта вервена?

Полина бросилась на невинный кустарник, схватила его за ствол и выбросила в сад.

— О, ангел! — воскликнула она, сжимая Рафаэля в объятиях, таких же крепких, как их любовь, и с томной кокетливостью подставляя свои алые губы поцелую, — Видя как ты побледнел, я поняла, что не пережила бы тебя: твоя жизнь, это — моя жизнь. Рафаэль мой, проведи рукой по моей спине! Там ощущение в роде смерти, мне холодно. Твои губы горят. А рука твоя?.. Она ледяная, — добавила она.

— Глупости! — воскликнул Рафаэль,

— А зачем эта слеза? Дай я ее выпью.

— Полина, Полина, ты слишком меня любишь.

— В тебе происходит что-то необычайное, Рафаэль... Будь же правдивым, скоро я узнаю твой секрет. Дай мне ее, — сказала она и взяла шагреновую кожу.

— Ты мой палач! — воскликнул молодой человек, бросая взгляд ужаса на талисман.

— Что за перемена в голосе! — произнесла Полина, выронив фатальный символ судьбы.

— Ты любишь меня? — продолжал он.

— Люблю ли, что за вопрос?

— В таком случае оставь меня, уйди!

Бедняжка вышла.

— Как! — вскричал Рафаэль, оставшись один. — В век просвещения, когда мы познали, что алмазы суть кристаллы угля, в эпоху, когда всё стали объяснять, когда полиция привлекла бы к суду нового Мессию, а чудеса отдала бы на рассмотрение Академии Наук, в эти времена, когда мы верим только в росчерк нотариусов, мне верить, мне! — в какой-то Манэ, Факел, Фарес?.. Нет, боже мой! и помыслить

не могу, чтобы высшему существу было приятно мучить скромное свое создание... Надо повидать ученых.

Он вскоре очутился между Винным Рынком, огромным складом бочек, и Соляным двором, огромной семинарией пьянства около лужицы, где плескались утки, замечательные по редкости пород, переливающие краски которых, похожие на витраж кафедрального собора, сверкали в лучах солнца. Утки со всего света были здесь, крякая, куврякаясь, барахтаясь, образуя нечто в роде утиной палаты депутатов, созванной помимо их воли, но по счастью без хартии и принципов политических; они жили здесь, не встречая охотников, на глазах у случайно наблюдавших их натуралистов.

— Вот г. Лавриль, — сказал сторож Рафаэлю, который искал этого великого жреца зоологии.

Маркиз увидел невысокого роста господина, погруженного в какие-то мудрые размышления при виде двух уток. Ученый был средних лет, его приятное лицо еще более смягчалось выражением радушия; но во всем его облике царила преданность науке: под париком, который он беспрестанно почесывал и фантастически подкручивал, была видна прядь седых волос, обличавшая в нем страсть к открытиям, которая, подобно иным страстям, столь властно отрывает нас от предметов нашего мира, что мы теряем сознание своего я. Рафаэль, будучи человеком науки и исследования, пришел в восторг от натуралиста, бессонные ночи которого были посвящены увеличению познаний человеческих, и даже ошибки которого служили к славе Франции; но франтиха рассмеялась бы, без сомнения, над полоской, которая виднелась между брюками и полосатым жилетом ученого, впрочем, стыдливо прикрытой сорочкою, очень сморщившейся от того, что ученый то опускался, то поднимался в зависимости от зоогенетических своих наблюдений.

После первых вежливых фраз Рафаэль счел нужным обратиться к г. Лаврилю с банальным комплиментом по поводу его уток.

— О! утками мы богаты, — ответил натуралист. — Впрочем, этот вид, как вы, без сомнения, знаете, — самый обильный в отделе лапчатоногих. Начиная с лебедей и кончая уткой зензен, он заключает еще в себе сто тридцать семь разновидностей, резко отличающихся друг от друга; у каждой из них свое наименование, свои нравы, свое отечество, своя внешность, и не больше сходства с другой, чем у белого с негром. Поистине, когда мы едим утку, по большей части мы и не подозреваем о распространенности...

Он остановился, увидав красивую уточку, которая лезла по скату от пруда.

— Видите лебедя в галстукe? Бедное дитя Канады издалека явилось к нам, чтобы показать свое коричневатое оперение, свой черный галстучек! Смотрите, чешется... Вот знаменитый пуховый гусь, иначе утка-эйдер, под пухом которой спят наши франтихи; как она красива! Кто не полюбуется на ее брюшко, белое с красным, на зеленый ее клюв! Я только-что был свидетелем, — продолжал он — совокупления, на которое и не надеялся. Брак заключен довольно счастливо, буду с огромным нетерпением ждать результата. Лышу себя надеждой добиться сто тридцать восьмой разновидности, которой, может быть, будет присвоено мое имя. Вот они, новобрачные, — сказал он, показывая на двух уток. С одной стороны, это гусь-хохотун (*anas albifrons*), с другой — большая утка-свистун (*anas ruffina* по Бюффону). Я долго колебался между уткой-свистуном, уткой-белобровкой и уткой-широконосом (*anas cluete*); вот этот широконос, толстый черно-коричневый злодей с зеленоватой кокетливо-радужной шеей. Но утка-свистун была хохлатая, и, вы понимаете, я более не колебался. Нам не хватает здесь только разновидности утки в черной шапочке. Эти господа единогласно утверждают, что она ненужное повторение утки-чирка с загнутым клювом, что же касается меня...

Он сделал жест, достойный удивления, выразивший сразу и скромность и гордость ученого, гордость, полную упрямства, скромность, полную чувства удовлетворения.

— Я не думаю так, — прибавил он. — Видите, мы здесь не забавляемся. Я занят сейчас монографией об утке, как особом виде... Но я к вашим услугам.

Направляясь к красивому дому по улице Бюффона, Рафаэль отдал шагреновую кожу на исследование г. Лаврилю.

— Этот продукт мне знаком, — сказал, наконец, ученый после того, как он осмотрел талисман в лупу; он служил крышкой какого-нибудь ящичка. Шагрень очень старинный! Теперь футлярщики предпочитают употреблять тигрин. Тигрин, как вы, без сомнения, знаете, это — кожа с *raja Sephen*, рыбы из Красного моря.

— А это что, раз вы так чрезвычайно любезны?..

— Это, — продолжал ученый прерывая его, — нечто совсем другое; между тигрином и шагренем такая же разница, как между океаном и землей, рыбой и четвероногим. Однако, рыба кожа прочнее кожи наземного животного. А это, как вы, без сомнения, знаете, один из любопытнейших продуктов зоологии.

— В чем дело? — воскликнул Рафаэль.

— Это, — ответил ученый, усаживаясь глубоко в кресло, — это — кожа осла.

— Знаю, — сказал молодой человек.

— Существует в Персии, — продолжал натуралист, — чрезвычайно редкая порода осла, онагр, у древних *equus asinus*, кулан у татар; Паллас наблюдал его и сделал достоянием науки. Действительно, это животное долгое время слыло фантастическим. Оно, как вы знаете, известно по священному писанию, — Моисей запретил слушать его с сородичами. Но еще более знаменит онагр по разврату, объектом которого он бывал и о котором часто говорят библейские пророки. Паллас, как вы, без сомнения, знаете, сообщает в своих *Act. Petrop.*, том II, что эти странные эксцессы еще и теперь религиозно почитаются у персиян и ногайцев как божественное лекарство от болезни почек и ломоты в бедрах. Мы, бедные парижане, этого и не подозреваем. В нашем Музее нет онагра. Что за великолепное животное! — продолжал ученый. — Оно полно таинственности, его глаза снабжены отражающей оболочкой, которой люди Востока приписывают способность чаровать; кожа у него тоньше и глаже, чем у прекраснейших коней, она вся в полосах ярко или бледно-желтых и очень похожа на кожу зебра. Шерсть у него мягкая, волнистая, жирная на ощупь; его зрение равняется по верности и точности зрению человека; он несколько крупнее лучшего нашего домашнего осла и одарен чрезвычайной храбростью. Если случайно на него нападут, он отбивается с примечательным превосходством от самых свирепых животных; что же касается быстроты его бега, то ее можно сравнить лишь с полетом птицы; онагр на бегу побил бы лучших арабских или персидских коней. По определению отца добросовестного доктора Нибура, недавнюю кончину коего мы, как вы, без сомнения, знаете, оплакиваем, в среднем обычная рысь этих достойных удивления созданий равняется семи географическим милям в час. Наши ослы — выродки и представления не могут дать об этом осле, независимом и гордом. Он проворен, оживлен, взгляд у него умный, тонкий, внешность изящна, движения полны кокетливости! Это — зоологический царь Востока. Суеверия турецкие и персидские приписывают ему таинственное происхождение, и имя Соломона примешивается к повествованиям тибетских и татарских рассказов об удали этих благородных животных. Наконец, прирученный онагр стоит огромных денег; почти невозможно поймать его в горах, где он скачет как козуля и точно летает, как птица. Басни о крылатых конях, о нашем

Пегасе, без сомнения, родились в тех странах, где пастухи могли часто видеть, как онагр прыгает со скалы на скалу. Верховые ослы, которых в Персии добились при помощи случки ослицы с прирученным онагром, красятся в красноватый цвет, согласно незапамятной традиции. Быть может, от этого обычая пошла наша пословица: „зол как красный осел“. В ту эпоху, когда естественная история была во Франции в большом пренебрежении, какой-нибудь путешественник привез, думаю, такое курьезное животное, которое очень плохо переносит рабство. Отсюда и пословица. Предлагаемая вами кожа,—продолжал ученый,—это—кожа онагра. Происхождение ее наименования объясняется различно. Одни полагают, Шагри—слово турецкое, другим угодно думать, что Шагри—город, где эта зоологическая добыча подвергается химической обработке, хорошо описанной у Палласа, придающей ей удивляющую нас зернистость; Мартелленс писал мне, что Шаагри, это—ручей...

— Благодарю вас за разъяснения, по которым какой-нибудь dominus Кальмэ написал бы превосходную заметку, если бы бенедиктинцы еще существовали; но я имею честь обратить ваше внимание на то, что этот кусок первоначально был величиною... вот с эту географическую карту,—сказал Рафаэль, показывая Лаврилю на открытый атлас:—и вот за три месяца он заметно сжался...

— Да,—ответил ученый,—понимаю. Все первоначально организовавшиеся создания подчинены естественному уничтожению, которое легко заметить и ход которого зависит от атмосферических влияний. Даже сами металлы расширяются и сжимаются чувствительным образом, ибо инженеры наблюдали довольно значительные промежутки между большими камнями, которые первоначально были скованы железными полосами. Наука обширна, а жизнь человеческая очень коротка. Итак, мы не претендуем на то, чтобы познать все явления природы.

— Простите меня,—продолжал Рафаэль почти смущенно,—за вопрос, с которым я имею к вам обратиться. Вполне ли вы уверены в том, что эта кожа подчинена общим законам, что она может и расширяться?

— О, разумеется!.. Ах чорт возьми!—сказал г. Лавриль, пробуя растянуть талисман.—Но,—добавил он,—если вам угодно посетить Планшетта, знаменитого профессора механики, он, конечно, найдет средство воздействовать на эту кожу, смягчить ее, растянуть.

— Ах, вы спасаете мне жизнь!

Рафаэль раскланялся с ученым натуралистом и помчался к Планшетту, оставив доброго Лавриля в его кабинете,

наполненном банками и сушеными растениями. Это посещение, без его ведома, открыло ему всю науку человеческую: номенклатура! Добродушный Лавриль был похож на Санчо Пансу: когда тот рассказывал Дон-Кихоту историю коз, он забавлялся тем, что перечислял животных и перенумеровывал их. Дойдя до края могилы, он едва знал малую часть не-соизмеримого числа того великого стада, которое бог разбросал по океану миров с неизвестной целью. Рафаэль был доволен.

— Буду держать своего осла на узде, — вскричал он.

Еще до него Стерн сказал: „Побережем осла, если хотим дожить до старости“. Но скотина так фантастична!

Планшетт был человек сухой, высокий, истинный поэт, затерявшийся в непрестанном созерцании, занятый тем, что постоянно рассматривал бездонную пропасть, движение. Толпа расценивает словом „безумие“ эти высокие умы, этих непонятых людей, которые живут, до удивления не заботясь о роскоши и свете, по целым дням продолжая курить потухшую сигару или входя в гостиную, недостаточно тщательно сочетав пуговицы своих одежд с петлями. Настает день, когда они, долго перед тем измеряя пустое пространство или нагромождая иксы под Аа — Gg, проанализировали какой-нибудь естественный закон и разобрали простейший из принципов, и вдруг, толпа поражена новой машиной или какой-нибудь тележкой, легкое устройство которых нас удивляет и смущает! Скромный ученый улыбается, говоря поклонникам: „Что же я создал? Ничего. Человек не изобретает силу, он направляет ее, и наука состоит в подражании природе“.

Рафаэль застал механика крепко стоящим на обеих ногах, точно повешенный, который упал прямо под виселицу. Планшетт следил за агатовым шариком, катавшимся по поверхности солнечных часов, и ждал, когда он остановится. Бедняга! Ни ордена, ни пенсии у него не было, ибо он не умел расцветить свои исчисления. Счастливый тем, что живет на страже открытия, он не думал ни о славе, ни о свете, ни о самом себе, и жил наукой для науки.

— Это неопределимо! — воскликнул он. — Ах, — продолжал он, заметив Рафаэля, — к вашим услугам. Как поживает ваша матушка? Зайдите к жене.

— Однако, я мог бы и сам жить так! — подумал Рафаэль, который вывел ученого из мечтательности, спросив, каким образом воздействовать на талисман, и подав его ученому.

— Пусть вы посмеетесь над моим легковерием, — сказал в заключение маркиз, — но я не скрою от вас ничего. Мне кажется, эта кожа обладает такой силой сопротивления, которую ничто не может преодолеть.

— Светские люди, — сказал Планшетт, — вольно обращаются с наукой; все они говорят нам почти то же, что некий фронт сказал Лаланду, приведя к нему дам после затмения: „Будьте добры начать снова“. Какое действие угодно вам произвести? Механика имеет целью применить законы движения или нейтрализовать их. Что же касается до движения самого по себе, смиренно объявляю вам, мы бессильны его определить. Согласившись на этом, мы наблюдали некоторые постоянные явления, которые управляют действием твердых и жидких тел. Воспроизводя причины, вызывающие такие явления, мы можем переносить тела, сообщать им двигательную силу в условиях определенной скорости, пускать их, просто делить или до бесконечности, смотря потому, ломаем мы их или дробим; затем крутить их, сообщать им вращательное движение, видоизменять их, сжимать, расширять, растягивать. Наука вся покоится на одном только факте. Видите шарик, — продолжал он. — Он здесь, на этом камне. Теперь он там. Каким именем мы назовем этот акт, физически столь естественный, нравственно столь необыкновенный? Движение, продвижение, перемещение? Что за огромная тщета скрыта в этих словах! Разве наименование есть уже разрешение? Вот, однако, и вся наука. Наши машины используют или разлагают этот акт, этот факт. Этот маловажный феномен, в применении к массам, взорвет Париж. Можем увеличивать скорость за счет силы и силу за счет скорости. Что такое сила и скорость? Наша наука не умеет этого сказать, как не умеет создать движения. Движение, каково бы оно ни было, есть беспредельная энергия, а человек энергий не изобретает. Энергия едина, как и движения, самая сущность энергии. Все есть движение. Мысль есть движение. Природа основана на движении. Смерть есть движение, цели коего нам мало известны. Если бог вечен, поверьте, и он постоянно в движении. Быть может, бог есть движение. Вот почему движение неизъяснимо как он; как он глубоко, безгранично, непостижимо, недостижимо. Кто и когда коснулся движения, постиг и измерил его? Мы ощущаем результаты, не видя их. Мы можем даже отрицать их, как отрицаем бога. Где оно? и где его нет? Откуда исходит? где его начало? где цель? Оно объемлет нас, понуждает и ускользает от нас. Оно очевидно как факт, темно как абстракция, оно заражает действие и причина. Ему, как и нам, нужно пространство, а что такое пространство? Это открывается нам только движением; без движения оно не более, чем слово, лишенное смысла. Проблема неразрешимая; подобно пустоте, подобно творению, бесконечности, движение смущает мысль челове-

ческую, и все, что позволено человеку понять, это то, что он никогда не поймет. Между каждой из точек, последовательно занимаемых в пространстве этим шариком, для разума человеческого находится пропасть, та пропасть, куда упал Паскаль. Чтобы воздействовать на неизвестное вещество, которое вы хотите подчинить неизвестной силе, мы должны сначала изучить это вещество; по свойствам своей природы оно или разломится от толчка, или окажет ему сопротивление; если оно распадется на части, а в ваши намерения не входило делить его, мы не достигнем предположенной цели. Хотите вы сжать его? Надо передать равное движение всем частям вещества, так, чтобы единообразно уменьшить отделяющие их интервалы. Угодно вам растянуть его? Мы должны будем постараться сообщить каждой молекуле равную центробежную силу; ибо, без точного соблюдения этого закона, мы произведем разрывы непрерывности. Существуют бесконечные способы, безграничные комбинации движения. На каком действии вы останавливаетесь?

— Я хочу, — нетерпеливо сказал Рафаэль, — какого-нибудь давления, достаточно сильного для того, чтобы растянуть эту кожу бесконечно...

— Вещество, имея предел, — ответил математик, — не может быть бесконечно растянуто, но сжатие неизбежно расширит протяжение поверхности за счет толщины; оно утончится до того, что материи не хватит...

— Добейтесь такого результата, — воскликнул Рафаэль, — и вы получите миллионы.

— Я украл бы у вас деньги, — сказал профессор флегматично как голландец. — В двух словах я покажу вам, что существует машина, которая раздавила бы бога как муху. Она может довести человека до состояния пропускной бумаги, человека в сапогах, в шпорах, в галстуке, шляпе, с золотом, драгоценностями, со всем...

— Что за ужасная машина!

— Вместо того, чтобы бросать детей в воду, китайцы должны были бы использовать их так, — продолжал ученый, не думая об уважении человека к детям.

Целиком отдавшись своей идее, Планшетт взял пустой цветочный горшок, с дырой на дне, и поставил его на плиту гномона; потом пошел поискать в углу сада немножко горшечной глины. Рафаэль был в восхищении как ребенок, которому кормилица рассказывает чудесную историю. Положив глину на плиту, Планшетт вынул из кармана садовый нож, срезал две ветки бузины и принялся выдалбливать их, насвистывая, точно Рафаэля здесь и не было.

— Вот составные части машины, — сказал он.

Он прикрепил глиной наподобие локтя один из этих деревянных стволиков на дне горшка так, чтобы отверстие в бузине соответствовало отверстию сосуда. Вы сказали бы, что получилась огромная трубка. Размял затем на плите слой глины, придав ему форму лопаты, поставил цветочный горшок широким краем и укрепил веточку бузины на ту часть, которая представляла собой ручку. Прилепив, наконец, комочек глины у края бузинного стволика, он воткнул туда другую выдолбленную веточку совсем прямо, образовав ее соединением с горизонтальной веткой еще подобие локтя, так что воздух или какая-нибудь жидкость могла циркулировать в этой импровизированной машине и бежать к отверстию вертикальной трубки через промежуточный канал в большой, пустой цветочный горшок.

— Этот аппарат, — сказал он Рафаэлю с серьезностью академика, произносящего вступительную речь, — одно из прекраснейших прав великого Паскаля на наше восхищение перед ним.

— Не понимаю...

Ученый улыбнулся. Он отвязал от фруктового дерева бутылочку, в которой аптекарь прислал ему жидкость для собирания муравьев, отбил у нее дно, сделал воронку, тщательно приладил ее к отверстию выдолбленной ветки, вертикально воткнутой в длину, как бы противопоставляя ее большому резервуару, изображаемому цветочным горшком; затем при помощи лейки он налил такое количество воды, какое было необходимо, чтобы держаться на одном уровне и в большом сосуде, и в маленьком кругообразном отверстии бузины...

Рафаэль думал о своей шагреновой коже.

— Вода еще и теперь, — сказал механик, — считается телом несжимаемым, не забудьте этого основного принципа; тем не менее она сжимается, но так незначительно, что мы должны силу ее сжимаемости принимать за нуль. Видите поверхность, которую представляет собой вода, дойдя до краев цветочного горшка?

— Да.

— Так вот, предположите, что эта поверхность в тысячу раз больше отверстия бузинной палочки, через которое я налил жидкость. Вот, я снимаю воронку...

— Так.

— Если каким-нибудь образом я увеличиваю объем этой массы, вводя еще некоторое количество воды через отверстие трубочки, то жидкость принуждена опуститься и подни-

мется в резервуаре, изображаемом цветочным горшком, вплоть до того, что остановится на одном уровне и там и здесь.

— Очевидно, — воскликнул Рафаэль.

— Но разница здесь в том, — продолжал ученый, — что если тонкий столбик воды, добавленной в вертикальную трубочку, представляет собою силу, скажем, равную фунту, то когда ее действие правильно разложится на жидкую массу и окажет давление на все точки поверхности, которая дана в цветочном горшке, — получится тысяча столбиков воды, которые все, стремясь подняться, как если бы они испытывали давление силы, равной той, которая заставляет опускаться жидкость в палочке вертикальной бузины, с неизбежностью произведут здесь, — сказал Планшетт, показывая Рафаэлю на отверстие в цветочном горшке, — энергию, в тысячу раз более значительную, чем та, которая введена туда.

И ученый пальцем указал на деревянную трубочку, прямо воткнутую в глину.

— Все это очень просто, — сказал Рафаэль.

Планшетт улыбнулся.

— Другими словами, — продолжал он с той упрямой логичностью, которая свойственна математикам, — чтобы задержать вторжение воды, нужно бы применить к каждой части большой поверхности силу, равную силе, действующей в вертикальном проводнике, — но с той разницей, что если столбик воды — высотой в фут, тысяча маленьких столбиков большой поверхности поднялись бы очень незначительно. Теперь, — сказал Планшетт, щелкнув по палочкам, — заменим этот смешной аппарат металлическими трубами соответствующей силы и размеров; если вы покроете поверхность жидкости в большом резервуаре прочной и подвижной плоскостью, и если этой плоскости противопоставите другую, за сопротивляемость и прочность которой можно ручаться, если, кроме того, вы дадите мне возможность беспрестанно прибавлять воды к жидкой массе через вертикальную трубку, то предмет, зажатый между двумя прочными плоскостями, должен неизбежно уступить неограниченно сжимающему его мощному действию. Способ вводить непрерывно воду в трубку для механики — пустяки, так же, как передача энергии жидкой массы плоскости. Двух поршней и нескольких клапанов для этого достаточно. Понятно ли вам, дорогой мой, — сказал он, взяв Валантена под руку, — что нет такого вещества, которое, будучи помещено между двумя неограниченными силами сопротивления, не было бы принуждено растянуться?

— Как! Это изобрел автор Провинциальных писем? воскликнул Рафаэль.

— Да, он один. Механика не знает ничего более простого и более прекрасного. Противоположным принципом — расширяемостью воды — создана паровая машина. Но вода расширяема только до известной степени, тогда как ее несжимаемость, будучи в некотором роде силой отрицательной, неизбежно оказывается бесконечной.

— Если эта кожа растянется, — сказал Рафаэль, — обещаю вам воздвигнуть колоссальную статую Блэзу Паскалю, основать премию в сто тысяч франков за решение прекраснейшей проблемы механики периодически в течение десяти лет, дать приданое вашим двоюродным и троюродным сестрам, наконец, построить богадельню, предназначенную для математиков, впавших в слабоумие или в бедность.

— Это было бы очень полезно, — отозвался Планшетт. — Завтра, — продолжал он со спокойствием человека, живущего в среде всецело умственной, — завтра пойдем с вами к Шпиггальтеру. Этот отличный механик только-что построил по моим планам усовершенствованную машину, при помощи которой ребенок может тысячу вязанок сена уложить у себя в шляпе.

— До завтра.

— До завтра.

— Вот и говорите о механике! — вскричал Рафаэль. — Не прекраснейшая ли это из всех наук? Тот со своими онагами, классификациями, утками, видами и банками, полными уродов, самое большее годился бы в маркеры при бильярде в общественном месте.

На следующий день Рафаэль, совсем повеселев, зашел за Планшеттом, и они вместе отправились на улицу Здоровья, — название с благоприятным предзнаменованием. У Шпиггальтера молодой человек очутился в огромной мастерской; взгляд его упал на множество горнов, раскаленных и разъяренных. То был дождь огня, потоп гвоздей, океан поршней, винтов, рычагов, балок, пил, гаек, море чугуна, дерева, клапанов и брусьев стали. От опилок першило в горле. В воздухе было железо, люди были покрыты железом, у железа была жизнь, оно было организовано, приведено в жидкое состояние, оно ходило, думало, принимая все формы, подчиняясь всем прихотям. Сквозь вой мехов, крешендо молотов, свист станков, на которых ревело железо, Рафаэль прошел в большую, чистую и полную воздуха комнату, где мог с удобством осмотреть огромный пресс, о котором говорил ему Планшетт. Он был изумлен толщиной чугунных

досок и железными стойками, которые были соединены неразрушимым стержнем.

— Если вы быстро повернете семь раз вот эту рукоятку, — сказал Шпиггальтер, показывая ему коромысло из полированного железа, — стальная доска разлетится в тысячу брызгов, которые вонзятся к вам в ноги как иголки.

— Чорт возьми! — вскричал Рафаэль.

Планшетт сам всунул шагреновую кожу между двумя плоскостями превосходнейшего пресса и, полный той уверенности, которую придают научные убеждения, с живостью повернул ручку коромысла.

— Все ложитесь, иначе убьет! — крикнул Шпиггальтер громким голосом, сам падая на землю.

Ужасный свист раздался в мастерских. Вода, которая была заключена в машине, разломала чугуна, брызнула с неизмеримой силой и, по счастью, потекла на старый горн, который она опрокинула, разрушила, вывернула как смерч обвивает дом и уносит его с собой.

— О! — спокойно сказал Планшетт, — шагрень цел и невредим как мои глаза! Господин Шпиггальтер, в чугуне — трещина или в большой трубе — скважина...

— Нет, нет, я знаю свой чугун. Сударь, вы можете унести свою штуку, в ней поселился чорт.

Немец схватил кузнечный молот, бросил кожу на наковальню и со всей силой, которую может придать гнев, нанес по талисману удар, самый ужасный из всех, какой когда-либо раздавался в мастерских.

— На нем и следа нет, — воскликнул Планшетт, поглаживая непокорный шагрень.

Сбежались рабочие. Подмастерье взял кожу и бросил на каменный уголь в горн. Выстроившись полукругом около огня, все ожидали с нетерпением действия огромных мехов. Рафаэль, Шпиггальтер, профессор Планшетт занимали центр в этой черной и внимательной толпе. Смотря на эти белые глаза, на головы в железной пыли, на черные и блестящие одежды, на волосатые груди, Рафаэль подумал, что он перенесся в ночной и фантастический мир немецких баллад. Подмастерье, подержав кожу десять минут в печи, вынул ее щипцами.

— Дайте ее мне, — сказал Рафаэль.

Подмастерье в шутку предложил ее Рафаэлю. Маркиз без труда взял в руки кожу, — она была на ощупь холодной и гибкой. Поднялся крик ужаса, рабочие разбежались. Валантен остался один с Планшеттом в пустой мастерской.

— Положительно, там внутри нечто дьявольское, — воскликнул Рафаэль в отчаянии. — Неужели никакая сила человеческая не может подарить мне и одного лишнего дня?

— Сударь, это моя вина, — ответил математик с сокрушенным видом, — нужно бы подвергнуть эту особенную кожу действию плющильни. Где были мои глаза, когда я вам предложил пресс!

— Я сам попросил о нем, — отозвался Рафаэль.

Ученый вздохнул как обвиняемый, которого двенадцать присяжных признали невиновным. Однако, заинтересовавшись странной загадкой, которую задала ему эта кожа, он подумал минуту и сказал:

— Нужно воздействовать на это неизвестное вещество реактивами. Повидаем Жафэ, — химия, быть может, будет удачливее механики.

Валантен пустил лошадь рысью, надеясь застать знаменитого химика Жафэ в его лаборатории.

— Ну, старый мой друг, — сказал Планшетт, увидав, что Жафэ сидит в кресле и рассматривает осадок, — как поживает химия?

— Уснула. Ничего нового. Впрочем, Академия признала существование салицина, но салицин, аспарагин, вокелин, дигиталин — все это не открытия...

— Будучи не в силах изобретать вещи, — сказал Рафаэль, — вы, кажется, дошли до того, что изобретаете наименования.

— Вот это правда, молодой человек.

— Попробуй-ка, — сказал профессор Планшетт химику, — разложить это вещество; если извлечешь из него какой-нибудь элемент, заранее называю его дьяволин, ибо, желая его сжать, мы только-что сломали гидравлический пресс.

— Посмотрим, посмотрим! — радостно вскричал химик. — Быть может, оно окажется новым простым телом.

— Это просто-напросто кусок ослиной кожи, — сказал Рафаэль.

— Что вы... — важно заметил химик.

— Я не шучу, — ответил маркиз, подавая ему шагреновую кожу.

Барон Жафэ прикоснулся к коже пупырышками своего языка, столь привыкшего пробовать соли, кислоты, щелочи, газы и, несколько раз попробовав, сказал:

— Никакого вкуса! Дадим-ка ему выпить немножко хлористой кислоты.

Когда кожу подвергли действию элемента, столь быстро разлагающего животные ткани, в ней не произошло никаких изменений.

— Это не шагренъ, — воскликнул химик. — Примем таинственного незнакомца за минерал и щелкнем его по носу, положив в огнеупорный тигель, где как нарочно у меня красный поташ.

Жафэ вышел и вскоре вернулся.

— Сударь, разрешите мне взять, — сказал он Рафаэлю, — кусочек этого особенного вещества, оно так необыкновенно.

— Кусочек? — вскричал Рафаэль. — Нет, даже не с волосок. Впрочем, попробуйте! — прибавил он с видом за раз печальным и насмешливым.

Ученый сломал бритву, желая надрезать кожу, пытался разбить ее сильным электрическим током, подверг ее действию вольтовой дуги, и в результате все молнии науки потерпели крах от грозного талисмана. Было семь часов вечера. Планшетт, Жафэ и Рафаэль не замечали как бежит время, ожидая результатов последнего опыта. Шагренъ вышел победителем из ужасного столкновения, которому его подвергли с основательным количеством хлористого азота.

— Я погиб! — воскликнул Рафаэль. — Это дело божье. Я умру.

Он оставил обоих ученых в состоянии изумления.

— Не будем рассказывать об этом происшествии в Академии, иначе коллеги засмеют нас, — сказал Планшетт химику после долгой паузы, в течение которой они смотрели друг на друга, не отваживаясь поделиться мыслями.

Оба ученых были похожи на христиан, которые, выйдя из могил, не обрели бы бога на небе. Наука? Бессильна. Кислоты? Чистая вода. Красный поташ? Честь его потеряна. Вольтова дуга и молния? Обе они игрушки.

— Гидравлический пресс разломился как ломоть хлеба! — добавил Планшетт.

— Я верю в дьявола, — сказал барон Жафэ после минутного молчания.

— А я в бога, — ответил Планшетт.

Оба они были в своей роли. Для механика вселенная — машина, для которой нужен рабочий; для химии, этого все-разлагающего творения демона, мир есть газ, одаренный движением.

— Факта отрицать мы не можем, — продолжал химик.

— Ба! Чтобы утешить нас, гг. доктринеры выдумали туманную аксиому: глупо как факт.

— Твоя аксиома, — ответил химик, — глупа, мне, по крайней мере, так кажется.

Они рассмеялись и пообедали как люди, которые в чуде видят только простое явление.

Вернувшись домой, Валантен был охвачен холодной яростью; теперь он ни во что не верил, мысли перемешались у него в мозгу, они вертелись и шатались, как у человека, который встретился с невозможным фактом. Он охотно поверил бы в какой-нибудь скрытый изъян в машине Шпиггальтера; бессилие науки и огня не удивляло его; но гибкость кожи, когда он держал ее в руках, но твердость ее, когда все находящиеся в распоряжении человека разрушительные средства были направлены на нее, — вот что приводило его в ужас. От этого неопровержимого факта кружилась голова.

— Я сошел с ума, — сказал он себе. — Хотя с утра я ничего не ел, у меня нет ни голода, ни жажды, а в груди, чувствую, меня жжет огонь...

Он снова вставил шагреновую кожу в рамку, в которой она была заключена прежде; и, очертив красными чернилами теперешний контур талисмана, он уселся в кресло.

— Уже восемь часов! — воскликнул он. — День прошел как сон.

Он облокотился на ручку кресла, оперся головой о левую руку и сидел, затерявшись в одном из тех похоронных размышлений, в тех пожирающих мыслях, тайну которых унесли с собой осужденные на смерть.

— Ах! Полина, — воскликнул он, — бедный ребенок, есть пропасти, которых не преодолеть любви, как ни сильны ее крылья.

В эту минуту он очень явственно услышал подавленный вздох и по одной из самых трогательных привилегий страсти признал дыхание Полины.

— О! — сказал он себе, — вот и приговор. Если бы она была здесь, хотел бы я умереть в ее объятиях.

От взрыва смеха, искреннего и очень веселого, он повернул голову к постели и сквозь прозрачные занавеси увидел лицо Полины, которая улыбалась, как ребенок счастливый удавшейся хитростью; ее прекрасные волосы образовали тысячу колец на плечах; она была здесь, подобная бенгальской розе на груди белых роз.

— Я подкупила Ионафана, — сказала она. — Разве эта постель мне не принадлежит, мне, твоей жене? Не ворчи, милый, мне только хотелось уснуть возле тебя, удивить тебя. Прости мне эту глупость.

Движением кошки она выскочила из постели, лучезарная в своем муслине, и уселась на коленях у Рафаэля.

— О какой пропасти говорил ты, любовь моя? — сказала она, и на лбу ее появилось выражение озабоченности.

— О смерти.

— Ты мне делаешь больно, — ответила она. — Есть известные мысли, на которых мы, бедные женщины, не можем останавливаться. Они убивают нас. От силы ли это любви, от недостатка ли мужества, — не знаю. Смерть меня не пугает, — продолжала она со смехом. — Умереть с тобой, завтра утром, вместе, при последнем поцелуе. Это было бы счастьем. Мне кажется, я прожила бы за это время больше ста лет. Что для нас число дней, если в одну ночь, в один час, мы исчерпали всю жизнь мира и любви?

— Ты права, твоими милыми устами говорит небо. Дай, я поцелую тебя, и умрем, — сказал Рафаэль.

— Ну, умрем! — ответила она, засмеявшись.

В девять часов утра свет проник сквозь щели в жалюзи; смягченный муслином занавесей, он все же позволял видеть богатые краски ковра и шелковую мебель в комнате, где покоились влюбленные. Кое-где заискрилась позолота, луч солнца погасал на мягком пуховом одеяле, которое среди игр любви было сброшено на пол. Повешенное на трюмо платье Полины обрисовывалось как туманное привидение. Крохотные туфли валялись далеко от постели. Соловей прилетел на подоконник; от повторявшегося его щелканья, от шума крыльев, вдруг развернувшихся, когда он вспорхнул, Рафаэль проснулся.

— Для смерти, — сказал он, кончая мысль, — нужно, чтобы в моем организме, в механизме из плоти и кости, одушевленном волею, делающем из меня индивидуального человека, было чувствительное повреждение. Врачи должны знать симптомы того, что жизнь в опасности, и могут мне сказать, болен я или здоров.

Он посмотрел на спящую жену, которая тянулась к нему и во сне, выражая таким образом нежную заботливость любви. Прелестная как ребенок, раскинувшись, с лицом, обращенным к нему, Полина, казалось, смотрела еще на него, протягивая ему красивый свой рот, полуоткрытый дыханием чистым и ровным. От ее мелких точно фарфоровых зубов еще краснее становились свежие губы, на которых блуждала улыбка; румянец на лице был еще живее, и белизна была, можно сказать, еще сильнее в этот момент, чем в наиболее любовные часы дня. Ее милая, открытая доверчивость к очарованию любви примешивала достойную поклонения прелесть уснувшего ребенка. Женщины, даже самые естественные, днем еще подчинены известным общественным условностям, сковывающим наивную откровенность их души; но сон точно возвращает их к непосредственности жизни,

которая служит украшением их юного возраста: Полина ни от чего не краснела, как милое небесное создание, которое не задумывается еще при жесте, не хранит во взоре секрета. Ее профиль живо выделялся на тонком батисте подушек; крупные кружевные оборки спутались с растрепавшимися волосами, отчего у нее появился детски-лукавый вид; но она заснула в минуту наслаждения, ее длинные ресницы плотно примкнули к щеке, точно для того, чтобы предохранить ее взор от слишком сильного света или чтобы помочь душе сосредоточиться при ее попытке задержать в себе сладострастие, всецелое, но скоротечное; ее крохотное ухо, белое с румянцем, окаймлявшееся прядью волос и обрисовывавшееся на фоне фландрских кружев, свело бы с ума от любви художника, живописца, старика, быть может, вернуло бы разум безумному. Видеть как ваша возлюбленная засыпает, мирно спит и улыбается под вашей защитой, любит вас даже во сне, когда всякое творение, кажется, перестает существовать, и еще протягивает к вам свои немые уста, которые и во сне говорят вам о последнем поцелуе! Видеть женщину доверчивую, полуодетую, но укутанную в любовь как в плащ, и целомудренную среди беспорядка; любоваться на разбросанные ее одежды, на шелковый чулок, который она быстро сняла вчера, чтобы вам понравиться, на развязанный пояс, свидетельствующий о бесконечном доверии к вам, — разве это не радость, которой нет имени? Разве не целая поэма этот пояс? Охраняемой им женщины больше не существует, она стала вами; отныне изменить ей — значит ранить самого себя. Растроганный Рафаэль посмотрел на комнату, насыщенную любовью, полную воспоминаний, где свет принимал сладострастный оттенок, и вновь обратил взор к этой женщине, формы которой были чисты и юны, которая все еще любила, и — что важнее всего — чувства которой безраздельно принадлежали ему. Он хотел бы жить вечно. Когда взгляд его упал на Полину, она тотчас же открыла глаза, словно луч солнца ударил в них.

— Доброе утро, друг мой, — сказала она улыбаясь. — Как ты красив, злодей!

Эти две головы, запечатленные прелестью, которою они были обязаны любви, молодости, полусвету и молчанию, создавали одну из тех божественных сцен, магия которых проходяща и принадлежит только первым дням страсти, как наивность и чистота суть признаки детства. Увы! этим весенним радостям любви так же, как улыбкам юного нашего возраста, суждено исчезнуть и жить лишь в воспоминании,

чтобы приводить нас в отчаяние или повеять каким-то благоуханием-утешителем, в зависимости от причуд наших тайных размышлений.

— Зачем ты проснулась? — сказал Рафаэль. — Я с таким наслаждением смотрел, как ты спишь, что плакал...

— И я также, — ответила она, — и я плакала сегодня ночью, глядя как ты спишь, только не от радости. Послушай, Рафаэль мой, послушай меня. Когда ты спишь, дыхание у тебя не свободно, что-то отдается у тебя в груди, и мне становится страшно. Во время сна ты слегка сухо покашливаешь, совсем как мой отец, умерший от чахотки. По шуму в легких я узнала странные признаки этой болезни. Потом тебя лихорадит, я в этом уверена, — твоя рука была мокрой и горячей... Дорогой мой! Ты еще молод, — добавила она, вздрогнув, — ты можешь еще вылечиться, если на горе... Но нет, — воскликнула она радостно, — горя нет, эта болезнь заразительна, говорят врачи.

Обеими руками обвила она Рафаэля, поймала дыхание его одним из тех поцелуев, в которых передается душа.

— Я не хочу жить до старости, — сказала она. — Умрем оба молодыми, пойдем на небо с руками, полными цветов.

— Такие намерения принимаются, когда мы бываем вполне здоровы, — ответил Рафаэль, запутывая пальцы в волосах Полины.

Но вслед за тем он ужасно закашлялся, — тем тяжким, звучным кашлем, который исходит точно из гроба, который, затронув все нервы, потрясши тело, истомив спинной мозг, сообщив какую-то тяжесть жилам, покрывает бледностью лицо больных, оставляя их в дрожи и поту. Измученный, бледный Рафаэль медленно улегся, ослабев как человек, который последним усилием истратил всю свою энергию. Полина взглянула на него пристально, глазами, расширившимися от страха, и осталась недвижимая, побледневшая, молчаливая.

— Больше не будем безумствовать, ангел мой, — сказала она, желая утаить от Рафаэля волновавшие ее ужасные предчувствия.

Она закрыла лицо руками, ибо увидела отвратительный скелет смерти. Голова Рафаэля сделалась синеватой и покрытой впадинами, как череп, который извлекли из глубин кладбища для занятий какого-нибудь ученого. Полина вспомнила о восклицании, вырвавшемся вчера у Валантена, и сказала самой себе:

— Да, есть пропасти, которые любовь не может перейти, ей там придется похоронить себя.

Через несколько дней после этой сцены отчаяния Рафаэль в одно из утр месяца марта очутился сидящим в кресле, окруженным четырьмя врачами, которые посадили его на свет, перед окном в его комнате, поочередно щупали ему пульс, трогали его и расспрашивали с видимостью интереса. Больной выслеживал их мысли, истолковывая их жесты и малейшие складки, которые только появлялись у них на лбу. Эта консультация была последней его надеждой. Верховные судьи сейчас произнесут приговор жизни или смерти. Так Валантен, чтобы вырвать у науки человеческой последнее ее слово, созвал оракулов современной медицины. Благодаря его богатству и имени, три системы, между которыми колеблются познания человеческие, были здесь, перед ним. Трое из этих докторов принесли с собой всю медицинскую философию, олицетворяя борьбу, которая ведется спиритуализмом, анализом и — уже не знаю каким, — насмешливым — эклектизмом. Четвертый врач был Гораций Бьяншон, человек будущего и науки, быть может, виднейший из новых врачей, умный и скромный избранник прилежной молодежи, которая готовится принять в наследство сокровища, за пятьдесят лет собранные парижским университетом, и которая, может быть, построит памятник из различных материалов, накопленных предшествующими веками. Друг маркиза и Растиньяка, он уже несколько дней ухаживал за ним и помогал ему отвечать на вопросы трех профессоров и порой, с некоторой настойчивостью, давал объяснения диагноза, обнаружившего, по его мнению, легочную чахотку.

— Без сомнения, у вас было много эксцессов, вы вели рассеянную жизнь? Вы предавались большим умственным трудам? — сказал Рафаэлю тот из трех знаменитых докторов, четырехугольная голова которого, широкое лицо, энергичная фигура, казалось, свидетельствовали о более высоком, чем у его противников, гении.

— Я хотел убить себя кутежом, после того как три года проработал над пространном сочинением, которым, может быть, вы когда-нибудь займетесь, — ответил ему Рафаэль.

Великий доктор кивнул головой в знак удовлетворения и как-будто сказал самому себе: „я так и знал.“ Этот доктор был прославленный Бриссэ, глава органической школы, последователь Кабаниса и Биша, врач ума позитивного и материалистического, который видит в человеке ограниченное существо, подчиненное единственно только законам собственной своей организации, чье нормальное состояние и смертоносные аномалии объяснимы очевидными причинами.

Получив такой ответ, Бриссэ молча посмотрел на человека среднего роста, с багровым лицом и горящими глазами античного сатира, который, прислонившись к углу в амбразуре, внимательно рассматривал Рафаэля, не говоря ни слова. Человек экзальтированный и верующий, доктор Камеристус, глава виталистов, защитник и поэт абстрактных доктрин Ван-Гельмонта, видел в жизни человеческой принцип возвышенный и тайный, необъяснимый феномен, который оставляет в дураках скальпель, обманывает хирургию, ускользает от медикаментов фармацевтики, от алгебраических иксов, от анатомических доказательств и глумится над нашими усилиями; подобие пламени, недоступного ни ощущению, ни зрению, подчиненного какому-то божественному закону, часто пребывающего в теле, по нашим приговорам обреченном, и покидающего самые живучие организмы.

Сардоническая улыбка блуждала на губах у третьего, — доктора Могреди, человека исключительного ума, но поклонника Пиррона и насмешника, который верил только в скальпель, допускал вместе с Бриссэ, что человек цветущего здоровья может умереть, и признавал вместе с Камеристусом, что человек может жить и после смерти. Он находил, что все теории не плохи, не принимал ни одной из них, полагал, что лучшая медицинская система состоит в том, чтобы не иметь никакой системы и придерживаться фактов. Панург факультета, король наблюдения, этот великий исследователь, великий насмешник, готовый на отчаянные попытки, рассматривал шагреневую кожу.

— Очень хотел бы я быть свидетелем совпадения, существующего между вашими желаниями и сокращением кожи, — сказал он маркизу.

— Чего ради? — воскликнул Бриссэ.

— Чего ради? — повторил Камеристус.

— Ах, вы согласны меж собой! — ответил Могреди.

— Что она сжимается, это очень просто, — добавил Бриссэ.

— Это сверхъестественно, — сказал Камеристус.

— Действительно, — отозвался Могреди, принимая важный вид и возвращая Рафаэлю его шагреневую кожу, — затвердение кожи факт необъяснимый, однако, естественный, который с самого начала мира приводит в отчаяние медицину и красивых женщин.

По мере того как Валантен начинал разбираться в трех докторах, он ни в ком из них не обнаружил сострадания к его болезни. Все трое, молчаливые при его ответах, с безразличием осматривали его и расспрашивали без сожаления. Равнодушие сквозило в их вежливости. От уверен-

ности ли, или от задумчивости, но слова их были столь редки, столь ленивы, что по временам Рафаэль готов был счесть их рассеянными. Изредка один только Бриссэ отвечал: „хорошо! так!“ по поводу всех приводящих в отчаяние симптомов, на существование которых указывал Бьяншон. Камеристус пребывал погруженным в глубокую задумчивость, Могреди подходил на автора комедий, который изучает двух чудаков, чтобы верно перенести их на сцену. Лицо Горация выдавало глубокую муку, исполненную печали растроганность. Слишком еще недавно был он врачом, чтобы стать нечувствительным к мучениям и бесстрастно стоять у постели умирающего; он не научился еще сдерживать на глазах слезы, которые препятствуют человеку ясно видеть и схватывать, подобно командующему армией, момент благоприятный для победы, не слыша криков умирающих. Почти полчаса снимая, так сказать, мерку с болезни и с больного как портной снимает мерку для фрака с молодого человека, заказавшего ему подвенечные одежды, они произносили общие места, поговорили даже о делах общественных; потом пожелали пройти в кабинет к Рафаэлю поделиться мыслями и составить приговор.

— Могу ли я присутствовать при ваших дебатах? — спросил Рафаэль.

При этих словах, Бриссэ и Могреди с живостью стали протестовать и, несмотря на настояния больного, отказались вести обсуждение в его присутствии. Рафаэль покорился обычаю, подумав, что ему можно проскользнуть в коридор, и оттуда он легко услышит медицинские рассуждения, которыми сейчас предадутся три профессора.

— Позвольте, — сказал входя Бриссэ, — наскоро высказать мое мнение. Не хочу ни внушать его вам, ни выслушивать его опровержений: во-первых, оно ясно, точно и вытекает из полного сходства между одним из моих больных и субъектом, коего мы приглашены исследовать; затем меня ждут в больнице. Важность дела, которое требует там моего присутствия, будет извинением за то, что я первым взял себе слово. Занимающий нас субъект в равной мере утомлен трудами умственными...

— Над чем это, Гораций, он работал? — сказал он, обращаясь к молодому врачу.

— Над „Теорией воли“.

— Чорт возьми! сюжет пространный. Он утомлен, говорю я, излишествами мысли, нарушением правильного образа жизни, повторным употреблением слишком сильных возбуждающих средств. Повышенная деятельность тела и мозга испортила весь его механизм. Легко, господа, по симптомам

на лице и в теле узнать ужасное раздражение желудка, невроз симпатического нерва, чувствительность надбрюшья и сжатие подреберья. Вы заметили величину и вздутие печени. Наконец, г. Бьяншон, постоянно наблюдавший за пищеварением у больного, сказал нам, что оно протекало с трудом, мучительно. Собственно говоря, желудка больше не существует; человек исчез. Интеллект атрофирован, потому что человек более не переваривает пищи. Прогрессирующее изменение надбрюшья, центра жизни, испортило всю систему. Отсюда постоянные, явные истечения; при посредстве нервного сплетения расстройство дошло до мозга, и отсюда чрезмерная раздражительность этого органа. Появилась мономания. Больной—под гнетом навязчивой идеи. Для него эта шагреновая кожа действительно сокращается, быть может, она всегда была такой, как мы сейчас ее видели; но сжимается она или нет, этот шагренё ¹⁾ для него та муха, которая сидела на носу у некоего великого визирия. Поставьте скорей пиявки на надбрюшие, успокойте раздражительность этого органа, где сосредоточен весь человек целиком, подчините больного режиму, и мономания пройдет. Больше я ничего не скажу доктору Бьяншону; он должен в общем и в частности установить приемы лечения. Быть может, болезнь осложнилась, быть может, дыхательные пути равным образом раздражены; но, я думаю, лечение кишечного аппарата гораздо важнее, необходимее, настоятельнее, чем легких. Упорные занятия абстрактными вещами и некоторые сильные страсти произвели крупное расстройство жизненного механизма; однако время еще не потеряно, чтобы исправить пружины, нет слишком сильных повреждений. Итак, вы легко можете спасти вашего друга, — сказал он Бьяншону.

— Наш ученый коллега действие принимает за причину, — отвечал Камеристус. — Да, изменения, прекрасно им наблюдаемые, существуют у больного, но не от желудка произошли в организме эти истечения, направленные к мозгу подобно тому, как от трещины расходятся по стеклу лучи. Чтобы пробить окно, нужен был удар; этот удар, кто его нанес? Разве мы это знаем? разве мы достаточно наблюдали больного? разве нам известны все случайности его жизни? Господа, жизненный принцип, архэ Ван Гельмонта, поражен у него; сама жизненная сила в существе своем повреждена; божественная искра, посредствующий разум, который

¹⁾ Здесь игра слов, основанная на двойном смысле слова *chagrin*: горе и шагренё.

дает связь машине и порождает волю, науку жизни, перестал регулировать повседневные явления в организме и функции каждого органа: отсюда все расстройства, прекрасно оцененные моим ученым собратом. Движение шло не от надбрюшья к мозгу, а от мозга к надбрюшью. Нет, — сказал он, с силой ударяя себя в грудь, — нет, я не желудок, ставший человеком! Нет, это еще не всё. Я не чувствую в себе смелости сказать, что, если у меня исправное надбрюшье, все остальное вопрос формы... Мы не можем, — продолжал он более мягко, — подчинять одной и той же физической причине и единообразному лечению важные потрясения, постигающие различных субъектов в большей или меньшей степени. Ни один человек не похож на другого. У каждого из нас свои особые органы, различным образом возбуждаемые, различным образом питаемые, способные выполнять различное назначение и решать задачи, необходимые для осуществления неизвестного нам порядка вещей. Часть великого целого, которая высокой волею производит и поддерживает в нас феномен одушевленности, различным образом формулируется в каждом человеке и делает из него существо, по видимости конечное, но которое в одной точке существует с бесконечной причиной. Итак, мы должны каждого субъекта изучать отдельно, проникать в него, познавать, в чем состоит его жизнь, какова его энергия. От мягкости смоченной губки и до твердости пемзы существует бесконечное число оттенков. Вот что такое человек. Между губкообразной организацией лимфатиков и металлической крепостью мускулов у иных людей, предназначенных для долгой жизни, каких ошибок ни совершит единая неумолимая система, начиная с лечения истощением, кончая упадком сил человеческих, которые вы всегда считаете раздраженными! Итак, в данном случае я желал бы лечения, всецело нравственного, углубленного рассмотрения внутреннего существа. Причину болезни будем искать внутри души, а не внутри тела! Врач — существо вдохновенное, одаренное особым гением, ему бог дал возможность читать в жизненных силах, как пророкам он дал очи прозревать будущее, поэту — способность воссоздавать природу, музыканту — располагать звуки гармоническим строем, прототип которого, быть может, там вверху!..

— Вечно он с своей медициной абсолютистской, монархической и религиозной, — пробормотал Бриссэ.

— Господа, — прервал Могреди, с поспешностью заглашая восклицание Бриссэ, — не будем терять из виду больного...

— Итак, вот в чем состоит наука! — печально воскликнул Рафаэль. — Мое излечение колеблется между четками и связкой пиявок, между ножом Дюпюитрена и молитвой князя Гогенлоэ! На границе, отделяющей факт от слова, материю от духа, стоит Могреди со своим сомнением. Человеческие да и нет преследуют меня повсюду. Вечно Каримари — Каримара Раблэ: я болен духом, каримари! или болен телом, каримара! Придется ли мне жить — они не знают. Планшетт, по крайней мере, был более откровенен, сказав мне: „Не знаю.“

В это время Валантен услышал голос доктора Могреди:

— Больной — мономан, ладно, согласен! — воскликнул он. — Но у него двести тысяч ливров доходу: такие мономаны встречаются очень редко, им мы должны, по крайней мере, дать совет. А узнать, надбрюшие ли подействовало на мозг, или мозг на надбрюшие, мы сможем, проверив фактически, когда он умрет. Итак, резюмируем. Он болен, факт неоспоримый. Он нуждается в каком-нибудь лечении. Оставим в стороне доктрины. Поставим пиявки, чтобы успокоить раздражение в кишках и невроз, в наличности которых мы все согласны, потом пошлем его на воды: будем действовать сразу по двум системам. А если это легочное, мы никак не можем его спасти; итак...

Рафаэль быстро покинул коридор и опять уселся в кресло. Вскоре четыре врача вышли из кабинета; Горацию поручили держать речь, и он сказал:

— Врачи единогласно признали необходимым немедленно поставить на желудок пиявки и начать лечение за раз физическое и нравственное. Во-первых, диетический режим, чтобы успокоить раздраженность вашего организма...

Бриссэ сделал знак одобрения.

— Затем режим гигиенический, который управлял бы у вас нравственной стороной. Итак, единогласно советуем вам поехать на воды Э в Савойе, или на воды Мон-Дор в Оверни, если вы их предпочитаете; воздух и природа в Савойе приятнее, чем в Кантале, но вы выбирайте по своему вкусу.

Тут у доктора Камеристуса вырвался жест, что он согласен.

— Врачи, — продолжал Бьяншон, — признав легкие изменения дыхательного аппарата, согласились, что предшествующие мои предписания полезны. Они думают, что излечение ваше не представляет труда и будет зависеть от употребления этих различных средств с мудрым чередованием... И...

— И вот почему немой стала ваша дочь! — сказал Рафаэль, улыбаясь и увлекая Горация к себе в каби-

нет, чтобы передать ему гонорар за эту бесполезную консультацию.

— Они последовательны, — ответил ему молодой врач. — Камеристус чувствует, Бриссэ рассматривает, Могреди сомневается. Разве нет у человека души, тела и разума? Одна из этих первичных причин действует в нас более или менее сильно; наука человеческая всегда будет зависеть от человека. Поверь, Рафаэль, мы не вылечиваем, а помогаем вылечиться. Между медицинами Бриссэ и Камеристуса существует еще медицина выжидательная; но чтобы практиковать успешно, согласно ей нужно бы знать больного десяток лет. В основе медицины лежит отрицание как в основе и всех наук. Итак, постарайся жить благоразумно, попробуй съездить в Савойю; самое лучшее и всегда останется самым лучшим — довериться природе.

Месяц спустя, вернувшись с прогулки в прекрасный летний вечер, кое-кто из съехавшихся на воды в Э собрался в гостиных Кружка. Сидя у окна и повернувшись спиной к собравшимся, Рафаэль долго оставался один, погруженный в ту механическую мечтательность, во время которой мысли рождаются, сцепляются и исчезают, не облекшись в форму, и проходят в нас как легкие, едва окрасившиеся облака. Печаль тогда тиха, радость туманна, и душа почти спит. Отдаваясь такой чувственной жизни, Валантен купался в теплой атмосфере вечера, наслаждаясь чистым и благовонным горным воздухом; он был счастлив не чувствовать никакой боли и привести, наконец, к молчанию угрозы шагреновой кожи. Когда красные оттенки заката погасли на вершинах и воздух посвежел, он встал, захлопывая окно.

— Не будете ли вы любезны, — сказала ему старая дама, — не закрывать окна? Мы задыхаемся.

Эта фраза разорвала барабанную перепонку Рафаэля какой-то своей дисгармонической резкостью; так человек, в чью дружбу хотелось нам верить, безрассудно дает волю слову, которое уничтожает какую-то сладостную иллюзию чувства, обнаруживая эгоистическую бездну. Маркиз бросил на старуху холодный взгляд бесстрастного дипломата, позвал лакея и, когда тот подошел, сказал ему сухо:

— Откройте окно!

При этих словах изумление с живостью блеснуло на лицах у всех. Собравшиеся начали шептаться, поглядывая на больного более или менее выразительно, точно им была допущена какая-то тяжкая дерзость. Рафаэлю, не вполне еще освободившемуся от первоначальной юношеской застенчивости, стало стыдно; но он стряхнул с себя такое оцепене-

ние, вновь обрел в себе энергию и спросил у самого себя отчета в этой странной сцене. Вдруг быстрым движением оживился его мозг, прошлое предстало перед ним в отчетливом видении, где причины внушаемого им чувства обнаружались резко, рельефно как вены на трупe, малейшие ответвления которых натуралисты окрашивают при помощи научной инъекции; он узнал себя в этой беглой картине, проследил свое существование, день за днем, мысль за мыслью; не без изумления увидел он себя мрачным и рассеянным среди смешливого света; постоянно думающим о своей судьбе, занятым своею болезнью, презирающим, казалось, и самую незначительную болтовню; избегающим той краткодневной близости, которая быстро устанавливается среди путешественников, так как, без сомнения, они не рассчитывают еще раз встретиться; мало заботливым по отношению к другим, похожим, наконец, на те утесы, что нечувствительны и к ласкам, и к бешенству волн. Потом благодаря интуиции, редкостной и составляющей особый дар, он смог читать в душах у всех: заметив при мерцании свечи желтый череп и сардонический профиль старика, вспомнил, что выиграл раз у него и не предложил отыгаться; дальше увидел хорошенькую женщину, к кокетству которой остался холоден; на каждом лице был ему упрек за провинности, по видимости необъяснимые, но преступность которых заключается всегда в невидимой ране, нанесенной самолюбию. Невольно задел он тяготевшее к нему мелкое тщеславие всех. Кто бывал гостем у него на празднествах или кому он предлагал своих лошадей, были раздражены на его роскошь; изумленный их неблагодарностью, он избавил их от этого вида унижения: с тех пор они стали считать, что он презирает их, и обвинили его в аристократизме. Проникнув, таким образом, в глубину их сердец, он смог прочесть их наиболее затаенные мысли; он пришел в ужас от общества, его вежливости, его лоска. Оттого, что он был богат и исключительно умен, ему завидовали, его ненавидели; его молчание не оправдало надежд их любопытства, его скромность этим людям мелочным и поверхностным казалась высокомерием. Он угадал, в каком тайном и непростительном преступлении был он виновен по отношению к ним: он ускользал от суда их посредственности. Бунтуя против их инквизиторского деспотизма, он сумел обойтись без них; чтобы отомстить за такую скрытую царственность, все инстинктивно вступили в союз, чтобы заставить его почувствовать их власть, подвергнуть его своего рода остракизму, дать ему понять, что и они также могли обойтись без него. Проникнувшись сна-

чала жалостью к такому облику света, он вздрогнул затем, подумав о гибкой силе, которая приподняла перед ним покров плоти, погребавший природу нравственную, и закрыл глаза как бы для того, чтобы ничего не видеть. Вдруг черный занавес упал на эту мрачную фантазмагорию истины, и он очутился в ужасном одиночестве, ожидающем власти и господства. В это мгновение его схватил сильный приступ кашля. Далекий от того, чтобы подобрать хоть одно из тех слов, безразличных и банальных, но скрывающих подобие, по крайней мере, вежливого сострадания у случайно собравшихся людей порядочного общества, он услышал враждебные возгласы и шопотом произнесенные жалобы. Общество не считало даже нужным гримироваться перед ним, может быть потому, что было разгадано им.

— Болезнь его заразительная...

— Председатель Кружка должен был бы запретить ему входить в гостиную.

— При настоящих порядках, по правде запрещается так кашлять!

— Раз человек так болен, не следует ему приезжать на воды...

— Он меня изгонит отсюда!

Рафаэль поднялся, чтобы скрыться от всеобщей злоречивости, и стал ходить по зале. Ему захотелось найти покровителя, и он подошел к молодой даме, которая никем не была ваяна, к которой он предполагал обратиться с какой-нибудь любезностью; но при его приближении она повернулась спиной и сделала вид, что смотрит на танцующих. Рафаэль побоялся, что за сегодняшний вечер он уже потратил свой талисман; он не ощутил в себе ни желания, ни смелости завязать разговор, вышел из гостиной и стал искать себе убежища в бильярдной. Там никто с ним не заговорил, никто ему не поклонился и не бросил взгляда хоть сколько-нибудь благожелательного. От природы созерцательный, ум его интуитивно открыл ему действительную и всеобщую причину вызываемого им отвращения. Этот мирок, сам того, может быть, не зная, подчинялся великому закону, управляющему высшим обществом, неумолимая мораль которого вся целиком развернулась перед глазами Рафаэля. Ее совершенный тип, оглянувшись назад, он увидал в Федоре. Здесь он и не должен был встретить больше симпатии к своей болезни, чем там — к своим сердечным бедам. Порядочное общество изгоняет из своей среды несчастных, как человек крепкого здоровья удаляет у себя из тела смертоносное начало. Свет гнушается скорбями и несчастиями, стра-

шится их как заразы и никогда не колеблется в выборе между ними и пороком: порок та же роскошь. Как бы ни было величественно злосчастье, общество сумеет умалить его, осмеять в эпиграмме; оно рисует карикатуры, чтобы бросить в голову свергнутых королей оскорбления, будто бы полученные от них; подобно юным римлянам в цирке, оно никогда не знает милости для павшего гладиатора; оно живет золотом и издевательством. Смерть слабым! — вот завет этого как бы всаднического класса, образовавшегося у всех наций на земле, ибо всюду возвышаются богатые, и такое суждение написано в глубине сердец, заквашенных богатством и вскормленных аристократизмом. Вы собираете детей в школу? Это в уменьшенном виде образ общества, но образ тем более правдивый, что он более наивен и более откровенен; и здесь вы всегда найдете бедных рабов, детей страдания и муки, которые непрестанно пребывают между презрением и соболезнованием: евангелием обещаны им небеса. Спуститесь ниже по лестнице организованных существ. Если какая-нибудь птица из тех, что на дворе, заболит, другие преследует ее, заклевывают, ощипывают и убивают. Верный этой хартии эгоизма, свет щедр на строгость к несчастьям, которые достаточно смелы, чтобы явиться нарушить его праздник и досадить его наслаждениям. Если кто болеет телом или душой, нуждается в деньгах или во власти, тот — изгой. Пусть его остается у себя в пустыне! Перейдя за ее границу, всюду находит он зиму, холод взглядов, холод манер, слов, сердца; счастье его, если он не пожнет еще оскорбления там, где должно бы расцвести для него утешение! — Умирающие, оставайтесь покинутыми у себя на ложе. Старики, будьте одиноки у ваших холодных очагов. Бедные девушки-бесприданницы, мерзните и сгорайте на ваших уединенных чердаках. Если свет терпим к несчастью, то не для того ли, чтобы приспособить его себе на употребление, извлечь из него пользу, навьючить его, взнуздать, покрыть чепраком, сесть на него и сделать из него себе удовольствие? Своенравные компаньонки, стройте веселое лицо; терпите вспыльчивость той, которая считает себя вашей благодетельницей; таскайте ее собачонок, соперничая с ними, забавляйте ее, угадывайте ее желания, а потом — молчать! И ты, король лакеев без ливреи, наглый паразит, оставь свой характер дома; переваривай пищу, когда переваривает твой амфитрион, плачь его слезами, смейся его смехом, считай его эпиграммы за удовольствие; если хочешь позлословить о нем, дожидайся его падения. Так свет почитает несчастье: убивает его или гонит, унижает или казнит.

Эти размышления вскипели в сердце Рафаэля с быстротою поэтического вдохновения; он взглянул вокруг себя и ощутил тот мрачный холод, который общество источает, чтобы удалить бедствия, и который охватывает душу быстрее, чем декабрьский ветер леденит тело. Он скрестил руки на груди, прислонился к стене и впал в глубокую меланхолию. Он думал о том, как мало счастья достается свету от этого ужасающего благочиния. Что это такое? Развлечения без наслаждения, увеселения без радости, праздники без веселья, бред без сладострастия — в конце концов дрова в камине или пепел без искорки пламени. Когда он поднял голову, то увидал, что он один. — игроки разбежались.

— Чтобы они стали обожать мой кашель, мне было бы достаточно открыть им мою мощь! — сказал он себе.

При этой мысли он как плащ набросил на себя презрение, закрываясь от мира.

На другой день курортный врач навестил его с видом внимательным, обеспокоенный за его здоровье. Рафаэль почувствовал в себе радостное волнение, когда услышал, что к нему обращаются с дружескими словами. Он нашел, что лицо доктора проникнуто мягкостью и добротой, что букли его белокурого парика дышали человеколюбием, что покрой его фрака, складки его панталон, широкие, как у квакера, башмаки, — все, вплоть до пудры, которая с косички парика сеялась вокруг него на слегка сутулую спину, свидетельствовало о характере апостольском, выражало христианское милосердие, готовность на жертву человека, который ради заботы о больных вынужден играть в вист и триктрак настолько хорошо, что обыгрывает их.

— Господин маркиз, — сказал он после долгой болтовни с Рафаэлем, — без сомнения я рассею вашу печаль. Теперь мне достаточно известно ваше телосложение, и я могу утверждать, что парижские врачи, великие таланты которых я признаю, ошиблись относительно природы вашей болезни. Если не какая-нибудь случайность, господин маркиз, вы можете прожить жизнь Мафусаила. Ваши легкия сильны как кузнечные меха, а ваш желудок посрамит желудок страуса; но если вы будете продолжать жить в горном климате, то рискуете скорейшим и прямейшим образом быть опущенным в матушку-землю. Господин маркиз поймет меня с двух слов. Химия доказала, что дыхание является у человека настоящим горением, большее или меньшее напряжение которого зависит от скопления или разрежения горючего вещества, собираемого организмом, особым у каждого индивидуума. У вас горючего вещества в изобилии; вы, если

позволите так выразиться, сверх-окислорожены пылким сложением человека, предназначенного для великих страстей. Вдыхая воздух живой и чистый, ускоряющий жизненные процессы у мягкокожных людей, вы еще более способствуете горению, и без того слишком быстрому. Одно из условий вашего существования, это, таким образом,—густая атмосфера хлева, долины. Да, животворный воздух для человека, пожираемого гением, можно найти на жирных пастбищах Германии, в Баден-Бадене, в Теплице. Если вас не приводит в ужас Англия, ее туманный воздух успокоит вашу раскаленность; но наши воды, расположенные на тысячу футов выше уровня Средиземного моря, для вас губельны. Таков мой совет,—сказал он, с вырвавшимся у него жестом скромности,—даю его вам в разрез с нашими интересами, так как, если вы ему последуете, мы будем иметь несчастье потерять вас.

Не будь этих последних слов, Рафаэль был бы подкуплен лживой добротой медоточивого врача; но он был слишком глубоким наблюдателем, чтобы в акценте, жесте и взгляде, сопровождавших эту фразу, мягко-насмешливую, укрылось от него то поручение, которое, без сомнения, было дано этому человечку собранием веселых больных. Эти бездельники с цветущими лицами, эти скучающие старухи, кочующие англичане, щеголихи, улизнувшие от мужей с любовниками, предприняли таким способом изгнание бедного умирающего человека, слабого, хилого, по видимости неспособного оказывать сопротивление ежедневному преследованию. Рафаэль принял вызов, предвидя, что эта интрига позабавит его.

— Так как вы были бы огорчены моим отъездом,—ответил он доктору,—постараюсь использовать ваш совет, продолжая жить здесь. С завтрашнего дня я начну строить дом, где мы и видоизменим воздух, согласно вашим предписаниям.

Правильно истолковав горько-насмешливую улыбку, блуждавшую на губах у Рафаэля, врач мог только откланяться, не найдя ни слова в ответ.

Озеро Буржэ, это—большая чаша в горах с зазубренными краями, где блестит, на семи или восьми сотнях футов над Средиземным морем, капля воды такой синей, какой нет больше нигде в мире. С высоты Кошачьего Зуба это озеро точно затерявшаяся бирюза. Эта красивая водная поверхность имеет девять лье в окружности и в некоторых местах до пятисот футов глубины. Очутиться здесь в лодке, на гладкой воде, при ясном небе, слышать только шум весел, видеть на горизонте только горы в облаках, восхищаться

блестящими снегами французской Морьенны; переходить поочередно от гранитных скал, одетых в бархат папортника или карликовых кустарников, к смеющимся холмам; видеть с одной стороны пустыню, с другой — богатую природу: точно бедняк на обеде у богача; эта гармония и эти противоречия составляют зрелище, где все велико и все мало. Вид гор меняется от условий оптических и перспективных; сосна в сто футов кажется вам тростником, широкие долины оказываются узкими как тропинка. Это озеро — единственное, где сердце может признаться сердцу. Здесь мыслишь и здесь любишь. Ни в каком другом месте вы не встретите более совершенного согласия между водой, небом, горами и землей. Здесь найдется бальзам на всякие житейские катастрофы. Это место хранит тайну скорбей, утешает в них, умаляет их, влагает в любовь какую-то значительность, сосредоточенность, что делает страсть глубже, чище. Поцелуй становится возвышеннее. Но более всего это — озеро воспоминаний; к ним оно благосклонно, придавая им оттенок своих волн, зеркала, где все отражается. Только среди этого прекрасного пейзажа мог вынести Рафаэль свое бремя и оставаться беспечным, мечтательным, безжеланным. После посещения доктора он пошел прогуляться и велел перевезти себя на пустынный выступ красивого холма, на котором расположена деревня св. Иннокентия. С этого как бы мыса взор обнимает горы Бюже, у подножия которых течет Рона, и глубины озера; но Рафаэль любил отсюда смотреть на противоположный берег, на меланхолическое аббатство От-Комб, гробницу королей Сардинии, которые расprostались перед горами как пилигримы, дошедшие до конца своих странствий. Легкая и мерная дрожь весел нарушила молчание пейзажа и напомнила ему монотонный голос, каким монахи распевают псалмы. Удивленный встречей с туристами в этой части озера, обычно уединенной, маркиз, не выходя из мечтательности, внимательно посмотрел, кто сидит в лодке, и узнал на корме старую даму, которая с такой жесткой просьбой обратилась к нему накануне. Когда лодка поровнялась с Рафаэлем, ему поклонилась только компаньонка этой дамы, бедная девушка из благородных, которую, казалось ему, он видит впервые. Через несколько мгновений, уже забыв о встреченных им на прогулке и быстро исчезнувших за мысом, он услышал возле себя шелест платья и шум легких шагов. Обернувшись, он заметил компаньонку; по ее жеманному виду он догадался, что ей хочется заговорить с ним, и подошел к ней. Лет тридцати шести от роду, высокая и худая, сухая и холодная, она, как все

старые девы, конфузилась своего взгляда, который не соответствовал уже ее походке, нерешительной, принужденной, лишенной гибкости. Одновременно старая и юная, она выражала некоторым достоинством своих манер, как высоко она ценит свои сокровища и совершенства. Впрочем, у нее были скромные, монашеские жесты женщин, привыкших любить самих себя, без сомнения, ради того, чтобы не быть обманутыми в своей любовной судьбе.

— Ваша жизнь в опасности, не ходите больше в Курзал,— сказала она Рафаэлю, отступив несколько шагов назад, точно добродетель ее была уже скомпрометирована.

— Но, прошу вас,— ответил Рафаэль с улыбкой,— выскажитесь яснее, раз вы удостоили меня притти сюда...

— Ах,— продолжала она,— без важного мотива, который привел меня сюда, я никогда не решилась бы навлечь на себя недовольство графини, потому что, если она когда-нибудь узнает, что я предупредила вас...

— А кто может ей об этом рассказать?— воскликнул Рафаэль.

— Правда,— ответила старая дева, бросая на него дрожащий взгляд совы, выпущенной на солнце.— Но подумайте о себе,— добавила она.— Несколько молодых людей, желающих изгнать вас с вод, дали обещание вызвать вас и принудить драться на дуэли.

Голос старой дамы раздался вдали.

— Я вам признателен,— сказал маркиз.

Его покровительница уже исчезла, слышав голос своей госпожи, снова взвизгнувший на скалах.

„Бедная девушка! Горести одна другую понимают и друг другу помогают всегда“, подумал Рафаэль, сядя под деревом.

Постановка вопроса, бесспорно, есть ключ всякой науки; вопросу: как? мы обязаны значительной частью великих открытий. И мудрость в жизни, быть может, в том и состоит, чтобы по всякому поводу спрашивать: почему? Но эта искусственная предубежденность уничтожает таким образом наши иллюзии. Так и Валантен, сделав, без философских намерений, добрый поступок старой девы предметом своих странствующих мыслей, нашел, что он исполнен желчи.

— Что в меня влюбилась компаньонка,— сказал он себе,— в этом нет ничего необыкновенного: мне двадцать семь лет, у меня титул и двести тысяч ливров доходу! Но что ее госпожа, оспаривающая у кошек пальму первенства в водобоязни, что она прокатила ее в лодке мимо меня, не

странно ли это, не чудно ли? Две дамы, приехавшие в Савойю, чтобы спать здесь как сурки, и в полдень спрашивающие, взошло ли солнце, встали сегодня до восьми часов и, пустившись преследовать меня, отдались на волю случая?

Вскоре старая дева со своей сорокалетней наивностью сделала на его взгляд новым превращением света искусственного и сварливого, низкой хитростью, неловким разговором, женской или поповской колкостью. Была ли дуэль выдумкой, или только хотели его напугать? Наглые и суетливые как мухи, эти мелочные души с успехом затронули его тщеславие, пробудили гордость, вызвали любопытство. Не желая стать их жертвою, ни прослыть трусом, и забавляясь, быть может, этой маленькой драмой, он в тот же вечер пошел в Курзал. Он стал, опершись о мрамор камина, и так и оставался спокойно среди главной гостиной, стараясь никому дешево не отдаться; но он изучал лица и до некоторой степени, благодаря своей осторожности, не доверял обществу. Как уверенный в своей силе дог, он ждал к себе врагов, не лая без пользы. К концу вечера он прогуливался в игровой комнате, ходя от входной двери к двери в бильярдную, куда по временам и бросал взгляды на играющих молодых людей. После нескольких партий он услышал, как кто-то из них произнес его имя. Хотя они разговаривали шопотом, Рафаэль легко угадал, что стал предметом какого-то спора и, наконец, схватил несколько фраз, произнесенных громко:

— Ты?

— Да, я!

— Я тебе не верю!

— Давай держать пари.

— О! он пойдет.

Когда Валантен, любопытствуя узнать, о чем идет пари, подошел, чтобы внимательнее вслушаться в разговор, из бильярдной вышел молодой человек, высокий и сильный, приятной наружности, но со взглядом пристальным и наглым, какой бывает у людей, опирающихся на какую-нибудь материальную силу.

— Милостивый государь, — сказал он спокойным тоном, обращаясь к Рафаэлю, — мне поручили сообщить вам о том, что вам, кажется, еще неизвестно: ваше лицо и вы сами не нравитесь здесь никому, а мне в особенности... Вы достаточно воспитаны для того, чтобы пожертвовать собою ради общего блага, и поэтому прошу вас не являться больше в Курзал.

— Милостивый государь, так шутили во времена Империи во многих гарнизонах, а теперь это стало очень дурным тоном, — холодно ответил Рафаэль.

— Я не шучу, — ответил молодой человек. — Повторяю вам: ваше здоровье может очень пострадать от пребывания здесь; тепло, свет, салонный воздух, общество вредны при вашей болезни.

— Где изучали вы медицину? — спросил Рафаэль.

— Степень бакалавра я получил в тире Лепаж, в Париже, степень доктора у Серизье, короля рапиры.

— Вам остается получить последнюю степень, — отозвался Валантен, — изучите кодекс вежливости, и вы будете вполне достойным человеком.

В этот момент молодые люди, улыбаясь или молча, вышли из бильярдной. Остальные игроки, ставши внимательными, бросили карты, чтобы послушать, как ссорятся, доставляя удовольствие их страстям. Один среди враждебного света, Рафаэль постарался сохранить хладнокровие и не позволить себе ни малейшей ошибки; но когда его противник допустил сарказм, заключавший оскорбление в форме чрезвычайно резкой и остроумной, Рафаэль степенно ответил ему:

— Теперь, милостивый государь, не принято давать пощечину, но я не знаю, каким словом заклеить поведение столь подлое, как ваше.

— Будет, будет, вы объяснитесь завтра, — заговорило несколько молодых людей и бросилось между бойцами.

Рафаэль вышел из гостиной, в положении оскорбителя, с навязанной ему встречей возле замка Бордо на небольшой лужайке у склона, неподалеку от недавно проложенной дороги, по которой победитель мог достигнуть Лиона. Рафаэль неизбежно должен был или оставаться в кровати, или уехать с вод в Э. Общество торжествовало. На завтра в восемь часов утра противник Рафаэля, в сопровождении двух свидетелей и хирурга, первым прибыл на место встречи.

— Нам будет здесь очень хорошо; отличная погода для дуэли! — вскричал он, весело взглянув на голубой свод неба, на воды озера и скалы, без малейшей задней мысли или печали. — Если я задену ему плечо, — продолжал он, — то уложу его в постель на месяц, не так ли, доктор?

— По меньшей мере, — ответил хирург. — Только оставьте в покое вербочку, иначе вы утомите руку и уже не будете владеть оружием. Можете его убить вместо того, чтобы ранить.

Заслышался стук экипажа.

— Вот он, — сказали свидетели и вскоре увидели подъезжавшую дорожную коляску, запряженную четверней, с двумя форейторами на козлах.

— Что за странный прием! — воскликнул противник Валантена, — на почтовых едет на смерть...

На дуэли так же, как при игре, малейшие мелочи влияют на воображение участников, сильно заинтересованных в их исходе; и вот, с каким-то беспокойством ожидал молодой человек, когда подъедет этот экипаж, остановившийся на дороге. Первым тяжело сошел старый Ионафан, чтобы помочь выйти Рафаэлю; он поддерживал его своими слабыми руками, доходя до мелочной заботливости, на какую щедр бывает любовник по отношению к своей возлюбленной. Оба они затерялись на тропинках, отделявших большую дорогу от места, назначенного для поединка, и появились только много времени спустя: они шли медленно. Четверо зрителей этой странной сцены почувствовали глубокое волнение при виде Рафаэля, опиравшегося на руку слуги: бледный, исхудалый, он ступал как паралитик, опустив голову и не говоря ни слова. Вы сказали бы: то два старика, равно разрушенные, один — временем, другой — мыслью; у первого возраст обозначался седыми волосами, у молодого не было определенного возраста.

— Я не мог заснуть, — сказал Рафаэль своему противнику.

Ледяные слова и страшный взгляд, сопровождавшие их, заставили вздрогнуть истинного зачинщика, он почувствовал раскаяние в своем проступке и втайне устыдился своего поведения. В том, как держался Рафаэль, в звуке его голоса и жестах было нечто странное. Маркиз сделал паузу, и все, подобно ему, хранили молчание. Тревога и ожидание достигли предела.

— Еще есть время, — продолжал он, — дать мне удовлетворение; это нетрудно; дайте же его, милостивый государь, не то вы будете убиты. Вы рассчитываете в настоящее время на вашу ловкость, не отступая перед мыслью о поединке, в котором, думаете, преимущество на вашей стороне. И вот, милостивый государь, я великодушен, я предупреждаю вас о моем превосходстве. Я владею грозным могуществом. Чтобы уничтожить вашу ловкость, затуманить взор, чтобы вздрогнула ваша рука и забилось сердце, даже чтобы вас убить, мне достаточно только пожелать этого. Я не хочу быть вынужденным пустить в ход мою силу, — слишком дорого обходится мне пользование ею. Не вам одному придется тогда умереть. Но если вы откажетесь предложить мне свои извинения, ваша пуля полетит

в воду этого водопада, как ни привыкли вы убивать, тогда как моя, хотя бы я и не целился, — прямо вам в сердце.

В это мгновение полные смущения голоса прервали Рафаэля. Произнося такие слова, маркиз неизменно направлял на противника невыносимую ясность пристального своего взора, он выпрямился, лицо его стало бесстрастным подобно тому, как у разозленного сумасшедшего.

— Пусть он замолчит, — сказал молодой человек одному из свидетелей, — голос его сжимает мне внутренности!

— Милостивый государь, кончайте. Ваши речи бесполезны, — закричал на Рафаэля хирург и свидетели.

— Господа, я исполнил свой долг. Не осталось ли молодому человеку отдать каких-нибудь распоряжений?

— Будет! Будет!

Маркиз все стоял неподвижно, ни на минуту не теряя из виду Шарля, своего противника, который, как птичка перед змеей, был во власти у силы, почти магической: вынужденный подчиниться этому убийственному взгляду, он избегал его и снова беспрестанно к нему возвращался.

— Дай мне воды, я хочу пить... — сказал он тому же свидетелю.

— Ты боишься?

— Да, — ответил тот. — Глаза у него горят и околдовывают меня.

— Хочешь перед ним извиниться?

— Поздно.

Обоих противников поставили в пятнадцати шагах друг от друга. Возле каждого из них была пара пистолетов, и, согласно программе этой церемонии, они должны были выстрелить два раза, когда им угодно, но после сигнала, данного свидетелями.

— Что ты делаешь, Шарль? — закричал молодой человек, бывший секундantom у противника Рафаэля. — Ты берешься за пулю, не насыпав пороха!

— Я мертв! — ответил он шопотом. — Вы поставили меня так, что солнце бьет мне в лицо...

— Солнце сзади вас, — сказал ему Валантен голосом важным и торжественным, медленно заряжая пистолет и не беспокоясь ни о том, что сигнал уже дан, ни о том, как старательно целился в него противник.

В этой сверхъестественной уверенности было нечто страшное, охватившее даже почтальонов, которых привело сюда жестокое любопытство. Играя своим могуществом или желая испытать его, Рафаэль разговаривал с Ионафаном и смотрел на него, под выстрелом своего врага. Пуля Шарля отломила

ветку у вербы и рикошетом упала в воду. Выстрелив наудачу, Рафаэль попал противнику в сердце и, не обращая внимания на то, что молодой человек упал, он быстро вытащил шагреновую кожу, чтобы взглянуть, сколько стоила ему жизнь человека. Талисман был не больше маленького дубового листа.

— Ну же, чего вы смотрите, почтальоны? Пора ехать! — сказал маркиз.

В тот же вечер приехав во Францию, он тотчас же отправился по Овернской дороге, направляясь на воды Мон-Дор. Во время этого пути, в сердце у него явилась одна из тех внезапных мыслей, которые падают к нам на душу, как луч солнца падает сквозь густые облака на какую-нибудь темную долину. Печальный свет, неумолимая мудрость! Они освещают уже совершившиеся события, открывают наши ошибки, и без прощенья покидают нас перед самими собой. Он вдруг подумал, что обладание могуществом, как бы ни было оно безгранично, не дает умения пользоваться им. Скипетр — игрушка для ребенка, секира — для Ришелье, а для Наполеона — рычаг, которым можно повернуть мир. Власть оставляет нас такими же, каковы мы обычно, и возвеличивает лишь великих. Рафаэль мог делать все, а он не сделал ничего.

На водах Мон-Дор он вновь нашел общество, которое всегда поспешно от него удалялось, как животные бегут от одного из своих, когда тот упадет мертвым, зачуяв его издали. Эта ненависть была взаимной. Последнее приключение внушило ему глубокое отвращение к обществу. Поэтому первой его заботой было отыскать в окрестностях вод уединенное убежище. Он инстинктивно чувствовал потребность приблизиться к природе, к правдивым движениям души, к той растительной жизни, которой мы так легко предаемся среди полей. На другой день по приезде сюда, он не без труда взобрался на вершину Санси, посетил верхние долины, воздушные местечки, неведомые озера, сельские хижины Дорских гор, суровые, дикие черты которых начинают прельщать кисть наших художников. Порою здесь встречаются восхитительные пейзажи, исполненные изящества и свежести, мощно контрастирующие с мрачным видом этих печальных гор. Почти в полуверсте от деревни Рафаэль очутился в местности, где кокетливая и веселая как ребенок природа, казалось, с наслаждением тайла свои сокровища; увидав это уединенное место, живописное и наивное, он решил поселиться здесь. Жизнь должна была быть здесь спокойная, свободная, плодообразная, как жизнь растения.

Представьте себе опрокинутый конус, но только гранитный и очень расширенный, подобие лохани, края которой изломаны причудливыми извилинами: здесь ровные без растительности поверхности, гладкие голубоватые, по которым как по зеркалу скользят солнечные лучи; там скалы, надрезанные изломами, изборозжденные оврагами, где кусками свисает лавина, падение которой медленно подготавливается дождевыми водами, — часто увенчанные захиревшими деревьями, искривленными от ветров; затем здесь и там темные и свежие изгибы, где букетом поднимаются каштаны, высокие как кедры, или желтоватые гроты, открывающие свою черную и глубокую пасть, поросшую ежевикой, цветами, украшенную ленточкой зелени. На дне этой чаши, быть может, бывшего кратера вулкана, находится небольшое озеро, чистая вода которого блестит как брильянт. Вокруг этого глубокого бассейна, окаймленного гранитом, ивами, шпажником, ясенями и тысячью ароматических растений которые были тогда в цвету, простирался луг, зеленый, как лужайка в английском саду; трава на нем, тонкая и красивая, орошалась водой, струившейся между расщелинами в скалах, и удабривалась растительными остатками, которые беспрестанно бурями сносились вниз с вершин. Неправильно окаймленное волчьими зубами, точно оборка на платье, озеро могло иметь протяжение до трех десятин; в зависимости от того, насколько скалы сближались с водой, луг был шириною в десятину или две; кое-где едва оставалось место пройти коровам. На известной высоте растительность прекращалась. Гранит вырисовывал в воздухе самые причудливые формы и принимал ту туманную окраску, которая придает высоким горам смутное подобие небесных облаков. Кроткому виду долины нагие, лишенные растительности скалы противопоставляли дикие, бесплодные образы покинутости, страшные обвалы, формы такие капризные, как одна из скал, названная Капуцином, — настолько она похожа на монаха. Иногда эти заостренные иглы, смело нагроможденные груды, воздушные пещеры поочередно освещались, следуя течению солнца или фантазиям воздуха, принимали золотые оттенки, окрашивались пурпуром, становились чисто-розовыми, или тусклыми, или серыми. Эти высоты открывали зрелище непрерывное и изменчивое, как игра радужных красок на шее у голубя. Часто между двумя пластами лавы, точно разрубленной топором, проникал ясный луч света, на заре или закате, вплоть до дна этой улыбающейся корзины, и играл на водах бассейна подобно золотой полосе, проникшей сквозь щель ставня в испанскую ком-

нату, тщательно закрытую во время полуденного отдыха. Когда солнце было высоко над старым кратером, который какой-то допотопный переворот наполнил водою, его каменные бока согревались, старый вулкан загорался, от теплоты быстро пробуждались ростки, оплодотворялась растительность, окрашивались цветы и зрели плоды в этом уголке неведомой земли. Когда Рафаэль забрел сюда, он заметил, что на лугу пасутся коровы; пройдя несколько шагов по направлению к озеру, он увидел в том месте, где полоска земли расширялась, скромный дом, выстроенный из гранита, с деревянной крышей. Крышу этой своего рода хижины, в гармонии с самой местностью, украшали мхи, плющ и цветы, изобличая ее глубокую древность. Тонкая струйка дыма, не пугавшая даже птиц, поднималась из полуразрушенной трубы. У двери стояла большая скамья между двумя огромными кустами жимолости, красной от благоухавших цветов. Стен почти не было видно из-за ветвей винограда, гирлянд роз и жасмина, которые росли как придется, на свободе. Не обращая внимания на это сельское убранство, обитатели нисколько о нем не заботились и предоставляли природе развиваться с девственной прелестью. Развешенные на смородиновом кусту пеленки сушились на солнце. Кошка присела на трепальне для конопли, под которой лежал только-что вычищенный желтый котел среди картофельной шелухи. По другую сторону дома Рафаэль заметил изгородь из сухого терновника, без сомнения, предназначавшуюся для того, чтобы помешать курам опустошать сад и огород. Казалось, мир кончается здесь. Жилище было похоже на те птичьи гнезда, которые хитро, с большим искусством и в то же время с какой-то небрежностью, прилеплены к выемке в скале. То была природа наивная и добрая, сельскость истинная, но поэтичная, ибо она расцвела за тысячу верст от нашей жеманной поэзии, без аналогии с какой бы то ни было мыслью, рождаясь из самой себя, — как подлинное торжество случая. Когда Рафаэль подходил, солнце бросало лучи справа налево, и от него сияли краски растительности. выступали рельефом или во всем обаянии света контрасты тени, желтые и сероватые скалы, различного цвета листва, голубые, красные или белые массы цветов, ползучие растения и их чашечки, бархат с отливом мхов, пурпуровые кисти вереска, и особенно скатерть ясной воды, где верно отражались гранитные вершины, деревья, дом и небо. На этой исполненной прелести картине у каждого предмета был свой глянец, начиная с блестящей слюды и вплоть до пучка бледной травы, спрятавшейся в мягкой светотени; все было

гармонично на взгляд: и пестрая с лоснящейся шерстью корова, и хрупкие водяные цветы, как бахрома нависшие над водой во впадине, где жужжали насекомые, одетые лазурью и изумрудом, и корни деревьев, наподобие песочных кудрей увенчавшие бесформенную грудку голышей. От теплого запаха вод, цветов и гротов, благоухавшего в этом уединенном убежище, у Рафаэля появилось ощущение почти сладострастное. Величественное молчание, царившее здесь в леске, который забыт был, быть может, в списке сборщика податей, вдруг нарушил лай двух собак. Коровы повернули головы к долине, показав Рафаэлю свои мокрые морды, и, глупо посмотрев на него, продолжали щипать траву. Повисшие точно по волшебству на скалах коза с козленком прыгнули и остановились на гранитной площадке, неподалеку от Рафаэля, точно расспрашивая его. На тявканье собак выбежал из дома толстый ребенок и стал с раскрытым ртом, потом вышел старик, седой, среднего роста. Оба эти существа были в соответствии с пейзажем, воздухом, цветами и домом. Здоровье било через край у изобильной природы, старость и детство были здесь прекрасны; наконец, достаточно первобытная непринужденность была во всех здешних типах существования, привычное счастье, от которого лживыми становятся наши монашеские философствования, которое излечивает сердце от вздувшихся в нем страстей. Старик принадлежал к излюбленным моделям мужественной кисти Шнетца: то было загорелое лицо, многочисленные морщины которого, казалось, будут грубы на ощупь, прямой нос, скулы выдающиеся, с красными жилками, как на старом виноградном листе, контуры угловатые, все признаки силы, даже там, где сила исчезла; на мозолистых руках, хотя они уже не работали, сохранился белый, редкий волос; он держался как человек действительно свободный, так что можно бы предполагать, что в Италии, может быть, он стал бы разбойником ради любви к драгоценной свободе. У ребенка, настоящего горца, были черные глаза, которыми он мог смотреть на солнце не щурясь, коричневый цвет лица, темные растрепанные волосы. Он был ловок, решителен, естествен в движениях как птица; одет он был плохо, сквозь дыры в платье виднелась белая, свежая кожа. Оба они стояли молча, один возле другого, с одним и тем же чувством, выражая своими лицами совершенную тождественность своей жизни, равным образом праздной. Старик перенял игры у ребенка, а ребенок — настроение у старика, по своего рода договору между двумя родами слабости, между силой кончающейся и силой развивающейся.

Вскоре женщина лет тридцати появилась на пороге двери. Она сучила нитку на ходу. То была овернка, со смуглой кожей, с веселым видом, с лицом открытым, с белыми зубами; лицо овернки, стан овернки, платье и прическа овернки, полная грудь овернки и такая же манера говорить; полное олицетворение страны, трудолюбивые нравы, невежество, бережливость, сердечность — все здесь было.

Она поклонилась Рафаэлю; завязался разговор. Собаки успокоились; старик сел на скамью на солнышке, а ребенок следовал за матерью всюду, куда бы она ни пошла, молча, но прислушиваясь, пристально смотря на чужого человека.

— Вы не боитесь здесь, голубушка?

— А чего нам бояться? Когда загородим вход, кто сюда может притти? О, у нас совсем нет страху! Да к тому же, — сказала она, приглашая маркиза войти в большую комнату в доме, — что вора и взять у нас?

Она показала на почернелые от дыма стены, на которых единственным украшением были расцвеченные голубой, красной и зеленой красками картины: Конец Доверию, Страсти Христовы и Гренадеры императорской гвардии; далее в комнате были старая ореховая кровать с колонками, стол с кривыми ножками, скамьи, квашня, свиное сало, подвешенное к потолку, соль в горшке, печка и на полке очага — пожелтевшие, раскрашенные гипсовые фигуры. Выйдя из дому, Рафаэль заметил среди скал мужчину с мотыкой в руке, который, нагнувшись, с любопытством посматривал на дом.

— Это хозяин, — сказала овернка, и у нее скользнула обычная для крестьянок улыбка. — Он там работает.

— А старик — ваш отец?

— Простите, это дед нашего хозяина. Как видите, ему сто два года. И, поверите ли, он на днях сводил нашего мальчишку пешком в Клермон! Он был силачом, а теперь только и делает, что спит, пьет да ест. Постоянно играет с мальчишкой. Иной раз тот тащит его в горы, и уж он идет за ним как-нибудь.

Тотчас же Валантен решил поселиться вместе со стариком и ребенком, подышать их воздухом, поесть их хлеба, попить их воды, поспать их сном, влить их крови в свои жилы. Причуды умирающего! Стать улиткой этих скал, на несколько лишних дней сберечь свою раковину, сделав нечувствительным приближение смерти, стало для него основным типом личной морали, подлинной формулой существования человеческого, прекрасным идеалом жизни, единственной жизнью, настоящей жизнью. В сердце вошла глубоко эгоистическая

мысль и поглотила вселенную. На его взгляд, вселенной больше не было, вся вселенная сосредоточилась в нем. Для больных мир начинается у изголовья и кончается у спинки их ложа. Это местечко стало ложем Рафаэля.

Кто, хоть раз в жизни, не следил за движениями и поступками муравья, скользнувшего с соломинки в единственное отверстие, через которое дышит бескрайняя улитка; кто не изучал фантазий легкокрылой стрекозы, не восхищался тысячью жилок, ярких как розетка готического собора, выделяющихся на красноватом фоне дубовых листьев? Кто с наслаждением, подолгу не наблюдал за эффектами дождя и солнца на темной черепице крыши, не созерцал капель росы, лепестков цветов, разнообразных обрезов их чашечек? Кто не погружался в эти материальные мечтания, беспечные и прилежные, бесцельные и, тем не менее, приводящие к какой-то мысли? Кто, наконец, не жил жизнью ребенка, жизнью ленивой, жизнью дикаря, только без его работ? Так прожил Рафаэль несколько дней, без забот, без желаний, чувствуя себя заметно лучше, ощущая необыкновенное благополучие, которое успокоило его тревоги, утишило его страдания. Он взбирался на скалы и усаживался где-нибудь на вершине, откуда взор охватывал пейзаж огромного протяжения. Там он оставался по целым дням, как растение на солнце, как заяц в логовище. Или, породившись с явлениями растительной жизни, с переменами на небе, он следил за ходом всех дел на земле, на водах и в воздухе. Он попытался проникнуться внутренним движением природы, как можно полнее отождествить себя с ее пассивной покорностью, чтобы подпасть под закон деспотический и охранительный, который правит инстинктивным существованием. Он больше не хотел быть в тягость самому себе. В древние времена преступники, преследуемые правосудием, считались спасшимися, если достигали тени алтаря; так и Рафаэль пытался проникнуть в святилище жизни. Он достиг того, что стал составной частью широкого и могучего плодотворения; он исчерпал всякую переменчивость погоды, побывал во всех расщелинах скал, узнал нравы и привычки всех растений, изучил законы вод, их русла, свел знакомство со всеми животными; наконец, он в таком совершенстве слился с одушевленной землей, что в некотором роде постиг ее душу и проник в ее тайны. Для него бесконечные формы всех царств были развитием одной и той же сущности, комбинациями одного и того же движения, огромным дыханием одного беспредельного существа, которое действовало, мыслило, двигалось, возрастало и вместе с которым

хотел он возрастать, двигаться, мыслить и действовать. Он фантастически смешал свою жизнь с жизнью скалы, он врос в нее. Благодаря этому таинственному просветлению, мнимому выздоровлению, подобному тому благодетельному бреду, который дарует природа как отдых от боли, Валантен вкушал наслаждения вторичного детства в первое время пребывания среди этого улыбающегося пейзажа. Он ходил в поисках за пустяками, предпринимая тысячу дел и не кончал ни одного из них, на завтра забывая вчерашние свои планы; не зная забот, он был счастлив, считал себя спасшимся. Раз утром он случайно пролежал в постели до полудня, погрузившись в мечтательность, сотканную из яви и сна, которая придает реальности фантастическую видимость и химерам рельефность бытия, как вдруг в первый раз услышал отчет о своем здоровье, который хозяйка давала Ионафану, пришедшему за ним, как делал он каждый день. Овернка, без сомнения, думала, что Валантен еще спит, и не уменьшила диапазона горного своего голоса.

— Не лучше и не хуже, — говорила она. — Еще кашлял эту ночь, точно богу душу отдавал. Кашляет, харкает барин наш дорогой, так что жалость берет. Я себя спрашиваю, я и хозяин, откуда только силы хватает так кашлять. Прямо сердце рвется. Какая это проклятая у него болезнь! Совсем нехорошо! Так и боюсь всегда, что утром найду его на постели кончившимся. Бледен он, поистине, как Иисус восковой! Да! Вижу его, когда он встает, худой, бедняжка, как гвоздь. А он и не чувствует ничего. Ему все едино, тратится на беготню, точно здоровья на продажу осталось. Очень он бодрится, чтобы не жалели его. И то правда, в земле ему лучше было бы, чем на лугу; мучится он как господь на кресте. А мы этого и не желаем, не в наших интересах. А если б и не дарил столько, сколько дарит, любили бы его не меньше: не из-за интереса держим его. Ах, боже ты мой! — продолжала она. — Только у парижан и бывают такие собачьи болезни! Откуда они их только берут? Бедняжка молодой человек! Уж, верно, это хорошо не кончится. Лихорадка эта, видите ли, уж она его подкапывает, долбит, портит! А он ничуть о том не думает, ничуть того не знает. Ничего он не видит... Плакать об этом не надобно, господин Ионафан! Надо сказать, и счастлив же он будет, когда перестанет мучиться. Вам бы девятину за его здоровье заказать. Видала я, как прекрасно выздоравливают от девятины; да и я свечку поставила бы, только бы спасти такое милое создание божие, такое доброе, ягненок пасхального...

Голос у Рафаэля стал настолько слаб, что он не мог крикнуть и был принужден терпеть эту ужасную болтовню. Но все-таки нетерпение заставило его встать с постели, и он показался на пороге двери:

— Старый негодяй! — закричал он на Ионафана, — ты, значит, хочешь быть моим палачом?

Крестьянка подумала, что появилось привидение, и убежала.

— Запрещаю тебе, — продолжал Рафаэль, — наводить какие бы то ни было справки о моем здоровье.

— Слушаюсь, г. маркиз, — ответил старый слуга, отирая слезы.

— И впредь ты прекрасно сделаешь, если без приказа не будешь сюда являться.

Ионафан подчинился, но прежде чем уйти, он бросил на маркиза взгляд, исполненный преданности и сострадания, в котором Рафаэль прочел себе смертный приговор. Упав духом, он вдруг почувствовал настоящее свое положение. Валантен уселся на пороге двери, скрестил руки на груди и опустил голову. Перепуганный Ионафан приблизился к своему господину:

— Барин...

— Прочь! Прочь! — крикнул на него больной.

На следующее утро Рафаэль взобрался на скалы и уселся в поросшей мхом расщелине, откуда была видна узенькая дорожка, по которой текли воды к его жилищу. Внизу он заметил Ионафана, который снова беседовал с овернкой. Жестокий дар судьбы дал ему понять, что значили покачиванья головой, жесты безнадежности, мрачная наивность женщины, и даже донесла до него по ветру и среди молчания роковые слова. Проникнутый ужасом, он искал убежища на самых высоких вершинах гор и остался там до вечера, не будучи в силах прогнать мрачные мысли, столь злополучно открывшиеся в его сердце, благодаря тому жестокому участию, предметом которого он стал. Вдруг овернка сама быстро появилась перед ним, как тень в вечерней тени; поэтическая игра мысли открыла ему в ее юбке с черными и белыми полосками смутное сходство с иссохшими ребрами скелета.

— Роса уже падает, барин мой дорогой, — сказала она. — Коли останетесь здесь, из вас выйдет ни больше ни меньше как никудышный плод. Пора домой. Не здорово мокнуть в росе, а к тому же вы не ели ничего с самого утра.

— Громы небесные! — закричал он. — Старая колдунья, приказываю вам оставить меня в покое, не то придется мне убираться отсюда! Довольно с вас того, что каждое утро вы

роете мне могилу; по крайней мере, по вечерам не копали бы ее...

— Могилу, барин! Рыть могилу!.. Где это она, ваша могила? Хотела бы я вас видеть упорным как наш отец, а ничуть не в могиле! Могила! Никогда нам не поздно, в могилу-то...

— Будет! — сказал Рафаэль.

— Опирайтесь на мою руку, барин!

— Нет.

Чувство, выносимое человеком с наибольшим трудом, это — жалость, и особенно когда — вы ее заслуживаете. Ненависть — средство укрепляющее, она заставляет жить, она вдохновляет на мщение; но сожаление убивает, оно еще более увеличивает нашу слабость. Это — зло, ставшее лукавым, это — презрение нежности или нежность оскорбления. Рафаэль нашел у столетнего старика сожаление торжествующее, у ребенка — сожаление любопытствующее, у женщины — сожаление суетливое, у ее мужа — корыстное; но в какой форме ни обнаруживалось бы чувство, оно всегда было чревато смертью. Поэт из всего создает стихотворение, соответственно поразившим его образам; его восторженная душа отбрасывает мягкие оттенки и всегда избирает резкие, яркие цвета. Это сожаление сотворило в сердце у Рафаэля ужасную поэму скорби и меланхолии. Он, без сомнения, не подумал о том, как откровенны естественные чувства, когда пожелал приблизиться к природе. Когда он считал, что сидит на дереве в одиночестве, и его охватывал упорный кашель, который он преодолевал, всегда выходя разбитым из этого поединка, он вдруг замечал блестящие, подвижные глаза мальчика, спрятавшегося, как дикарь, в траве, чтобы подкараулить его; мальчик внимательно смотрел на него с тем детским любопытством, в котором столько же насмешливости, сколько и наслаждения, и еще какой-то интерес, смешанный с бесчувственностью. Грозные слова траппистов: брат, пора умирать, казалось, постоянно были написаны в глазах у крестьян, с которыми жил Рафаэль; он не знал, чего ему больше бояться, — наивных ли слов их или их молчания; все у них стесняло его. Раз утром он увидел, что два человека в черном бродили вокруг него, точно обнюхивали и изучали украдкой; потом, сделав вид, что они пришли прогуляться, они обратились к нему с банальными вопросами, на которые он дал краткие ответы. Он признал в них врача и священника с курорта, без сомнения подосланных Ионафаном, или призванных хозяевами, или привлеченных запахом близкой смерти. Он уже начал видеть собственные свои похороны, слышал пение священников, мог сосчитать свечи

и не мог иначе смотреть на красоты богатой природы, на лоне которой он рассчитывал обрести жизнь, как сквозь флёр. Все, некогда возвещавшее ему о долгом существовании, теперь пророчило ему близкую кончину. На другой день он уехал в Париж, вдоволь испив меланхолических и сердечно жалостливых пожеланий, какими провожали его хозяева.

Пропутешествовав всю ночь, он проснулся в улыбающейся долине Бурбоннэ, места и виды которой вихрем пронеслись перед ним как смутные образы сна. Природа развернулась пред его очами как напоказ, в жестокой своей кокетливости. То Аллье развертывал среди богатой перспективы блестящую, текучую свою ленту; то деревушки, скромно спрятавшись в глубине скалистого ущелья, показывали шпицы своих колоколен; то мельницы в долине внезапно открывались после монотонных виноградников; мелькали веселые замки, высоко повисшие деревушки, дороги, обсаженные величественными тополями; наконец, Луара и ее растянувшиеся в брильянтах скатерти заблистали среди золотых песков. Соблазнов без конца! Природа, возбужденная, оживленная как ребенок, с трудом сдерживая любовь и соки месяца июня, роковым образом привлекала к себе угасающие взгляды больного. Он спустил жалюзи и снова принялся спать. К вечеру, когда миновали уже Кон, его разбудила веселая музыка, и он очутился на деревенском празднике. Почтовая станция была расположена возле площади. Пока почтальоны перепрягали лошадей, он смотрел на танцы веселящегося народа, на девушек, украшенных цветами, красивых, здоровых, оживленных молодых людей, на рожи стариков-крестьян, разгульно покрасневшие от вина. Ребятишки резвились, старухи со смехом разговаривали; у всего был свой голос, радость прикрасила даже платья и расставленные столы. У площади и церкви было выражение счастья; крыши, окна, даже двери в деревушке, казалось, празднуют также. Подобно умирающим, которые терпеть не могут ни малейшего шума, Рафаэль не смог подавить в себе мрачного возгласа, желания велеть замолчать скрипкам, уничтожить движение, заглушить крики, рассеять этот наглый праздник. Совсем опечаленный, сел он в экипаж. Когда он снова взглянул на площадь, то увидел, что веселье кто-то спугнул, крестьянки разбегаются, и скамьи опустели. На подмостках для оркестра, один только слепой трубач продолжал играть на кларнете крикливую плясовую. Эта музыка без танцоров, этот одинокий старик с профилем уроды, в лохмотьях, с растрепанными волосами, запрятавшийся под липу, были как бы фантастическим олицетворением пожелания Рафаэля. Потоками полил силь-

нейший дождь, какие вдруг проливаются из насыщенных электричеством облаков месяца июня и так же вдруг кончаются. Это было так естественно, что Рафаэль, увидав, как вихрь несет по небу беловатые тучи, даже не подумал взглянуть на свою шагреновую кожу. Он уселся в угол кареты, которая вскоре покатила по дороге.

На следующий день он был уже у себя дома, в своей комнате, возле камина. Он приказал посильней разложить огонь; ему было холодно. Ионафан принес ему письма. Все они были от Полины. Не спеша вскрыл он первое из них и развернул, точно то была обыкновенная повестка сборщика налогов. Он прочел первую фразу:

„Уехал! но ведь это бегство, Рафаэль... Как? Никто не может мне сказать, где ты? А если я не знаю, кто же тогда знает!“

Не желая узнать, что идет дальше, он холодно взял письма и бросил их в камин, взглядом тусклым, без теплоты посмотрев как играет пламя, как крутит оно надушенную бумагу, как становится она жесткой, переворачивается и распадается на куски.

Обрывки вертелись на пепле, так что можно было увидеть начало фраз, отдельные слова, полусожженные мысли, которые понравилось ему разбирать среди огня ради машинального развлечения.

„Сию у твоей двери... ожида... Каприз... подчиняюсь... Соперница... я, нет!.. твоя Полина... любит... Полины, значит, больше нет?... Если бы ты хотел бросить меня, ты бы не покинул так... Любовь вечная... Умереть...“

От этих слов у него появилось нечто в роде укоров совести: он схватил щипцы и спас от огня последний лоскут письма.

„Я роптала, — писала Полина, — но не жаловалась, Рафаэль. Разлучаясь со мной, ты, без сомнения, хотел скрыть от меня бремя какого-нибудь горя. Когда-нибудь, может быть, ты убьешь меня, но в тебе слишком много доброты, чтобы мучить меня. Но вот что, не уезжай так больше. Пусть будет так, я встречу какую угодно великую муку, но только возле тебя. Горе, если ты его причинил бы, больше уже не горе: у меня в сердце гораздо больше еще любви, чем сколько я показала тебе. Я могу все вынести, только бы не плакать вдали от тебя и не знать, что ты...“

Рафаэль положил на камин эти почернелые от огня остатки письма, потом опять бросил их в огонь. Этот листок был слишком живым образом его любви и роковой его жизни.

— Пойди, пригласи г. Бьяншона, — сказал он Ионафану. Гораций пришел и застал Рафаэля в постели.

— Друг мой, можешь ли ты составить питье с легкой дозой опия, которое поддерживало бы меня непрерывно в состоянии сна, но только так, чтобы постоянное употребление этого лекарства не причинило мне вреда?

— Ничего не может быть легче, — ответил молодой доктор; — но придется все-таки вставать на несколько часов в день, чтобы есть.

— Несколько часов? — прервал его Рафаэль. — Нет, нет! Не хочу вставать больше, чем на один час.

— Какая же у тебя цель? — спросил Бьяншон.

— Спать, это все-таки жить, — ответил больной. — Вели никого не принимать, даже Полины де Вичнау, — сказал Валантен Ионафану, пока врач писал рецепт.

— Что же, г. Гораций, есть какая-нибудь надежда? — спросил старый слуга у молодого доктора, провожая его до подъезда.

— Может протянуть еще долго, а может умереть и сегодня вечером. Шансы жизни и смерти равны у него. Ничего я не понимаю, — ответил врач с жестом сомнения. — Нужно бы ему развлечься.

— Развлечься! Вы его не знаете. Раз он убил человека и даже не охнул! Ничем ему не развлечься!

Рафаэль несколько дней оставался погруженным в небытие искусственного своего сна. Благодаря материальной силе, которой опий действует на нашу нематериальную душу, человек с воображением, столь властно деятельным, опустился до степени тех ленивых животных, которые коснеют в лесах, точно остатки растительности, и шага не делая, чтобы без всякого труда поймать добычу. Он даже погасил свет небесный, у него так и не было дня. Часов в восемь вечера он вставал с постели: не имея ясного сознания своего бытия, он утолял голод и снова ложился. Холодные, морщинистые часы жизни приносили ему только беспорядочные образы, только видимости, светотень на черном фоне. Он похоронил себя в глубоком молчании, в отрицании движения и разума. Раз вечером он проснулся гораздо позже, чем обыкновенно, и обед еще не был подан. Он позвонил Ионафану.

— Можешь уходить со службы, — сказал он. — Я сделал тебя богачом, на старости лет ты будешь счастлив; а я не хочу позволить тебе играть моей жизнью... Как! Негодай, я голоден. Где обед? Отвечай!

У Ионафана проскользнула улыбка удовлетворения, он взял свечу, свет которой дрожал среди глубокой темноты

огромных покоев особняка, повел своего барина, сделавшегося машиной, по широкой галлерее и сразу открыл дверь. Тотчас Рафаэль, затопленный светом, был ослеплен, поражен неслыханным зрелищем. То были люстры, полные свечей, редчайшие цветы его теплицы, художественно расставленные, стол, искрящийся серебром, золотом, перламутром, фарфором; царственный, дымившийся обед, аппетитные блюда которого раздражали нервы на небе. Он увидел, что созваны его друзья, и вместе с ними женщины, разодетые, восхитительные, с нагой грудью, открытыми плечами, прическами, полными цветов, с глазами блестящими, все — по разному красивые, все — возбуждающие своими сладострастными костюмами: одна обтянула свои привлекательные формы ирландской жакеткой, другая надела похотливую андалузскую баскину, та полунагая в костюме Дианы Охотницы, а эта скромная, исполненная любви в костюме де-ла-Вальер, и все они равным образом предались опьянению. Во взглядах всех гостей блистали радость, любовь, наслаждение. В тот момент, когда мертвенное лицо Рафаэля появилось в открывшейся двери, раздалось сразу восклицание, быстрое, яркое как лучи этого импровизированного праздника. Голоса, благоухания, свет, женщины проникновенной красоты поразили его чувства, пробудили его аппетит. Приятная музыка, спрятанная в соседней гостиной, гармоническим потоком покрыла это пьянящее бесчинство и довершило это странное видение. Рафаэль почувствовал, что его руку пожимает ласкающая рука женщины, готовой сжать его своими белыми, свежими объятиями, — рука Акилины. Он понял, что эта картина лишена смутности и фантастичности беглых образов его обесцвеченных снов, испустил мрачный крик, резким движением запер двери и заклеил старого своего слугу ударом по лицу.

— Чудовище! Значит, ты поклялся убить меня, — воскликнул он.

Потом, весь дрожа от только-что избегнутой опасности, он нашел в себе силы, чтобы дойти до своей комнаты, выпил сильную дозу снотворного и улегся.

— Что за чорт! — сказал Ионафан, поднимаясь. — А между тем, г. Бьяншон приказал мне развлечь его...

Было около полуночи. В этот час Рафаэль, по какому-то физиологическому капризу, приводившему в удивление и отчаяние медицинскую науку, сиял красотой во время сна. Живой румянец окрашивал его бледные щеки. Прелестный, как у юной девушки, лоб выражал гениальность. Жизнь цвела на спокойном, отдыхающем его лице. Вы сказали бы:

то юное дитя заснуло под защитой матери. Сон его был настоящим сном, из алых губ выходило ровное, чистое дыхание, он улыбался, наверное, перенесенный сном в прекрасную жизнь. Быть может, он достиг ста лет, быть может, внуки желали ему многих лет; быть может, с сельской скамьи, в лучах солнца, сидя под деревом, видел он, как пророк с высоты гор, обетованную землю, в блаженной дали!..

— Наконец-то!

Эти слова произнес серебристый голос, они рассеяли туманные образы его снов. При свете лампы он увидал, что у него на постели сидит его Полина, только Полина, похорошевшая от разлуки и горя. Рафаэль был изумлен, увидав лицо, белое как лепестки водяного цветка, которое от длинных черных волос казалось еще более в тени. Слезы прочертили у нее на щеках блестящую дорожку и повисли, готовые упасть при малейшем усилии. Одетая в белом, со склоненной головой, едва касаясь постели, она была как ангел, сошедший с небес, как видение, которое от одного дуновения может исчезнуть.

— Ах! Я все забыла! — воскликнула она, когда Рафаэль открыл глаза. — Мне хватит голоса, чтобы только сказать тебе: я твоя. Да, сердце мое полно любви. Ах! никогда, ангел жизни моей, ты не был так прекрасен. Глаза твои как молнии... А я обо всем догадалась, да! Ты искал без меня здоровья, ты боялся меня... Ну, что ж...

— Беги, беги! Оставь меня! — наконец, ответил Рафаэль глухим голосом. — Иди же. Если ты останешься, я умру. Ты хочешь видеть меня мертвым?

— Мертвым! — повторила она. — Разве ты можешь умереть без меня? Умереть? Но ведь ты молод! Умереть? Но ведь я люблю тебя! Умереть! — добавила она голосом глубоким, грудным, и в порыве безумия схватила его руки... — Холодные! — сказала она. — Или это только кажется?

Рафаэль вытащил из-под подушки лоскут шагреновой кожи, ломкий и маленький как лист барвинки, и показал ей:

— Полина, прекрасный образ прекрасной моей жизни, скажем друг другу прости! — сказал он.

— Прости? — повторила она с изумлением.

— Да. Вот талисман, выполняющий мои желания и изображающий мою жизнь. Смотри, сколько мне остается. Взглянешь еще, и я умру...

Молодая девушка подумала, что Валантен сошел с ума; она взяла талисман и пошла к лампе. В колеблющемся свете, падавшем и на Рафаэля и на талисман, она стала очень вни-

мательно рассматривать и лицо своего возлюбленного, и последнюю частицу магической кожи. Видя, как прекрасна Полина от ужаса и любви, он не мог владеть своей мыслью: воспоминания о сценах, полных ласки, о бредовых радостях его страсти восторжествовали в душе, так долго дремавшей, и пробудились как не вполне погашенный огонь очага.

— Полина, иди сюда!.. Полина!..

Страшный крик вырвался из горла молодой девушки, глаза ее расширились; ее брови, насильственно сжатые неслыханной болью, от ужаса раздвинулись, в глазах Рафаэля она читала яростное желание, некогда составлявшее ее славу; но по мере того как возрастало желание, кожа, сжимаясь, щекотала ей руку. Не отдавая себе отчета, она убежала в соседнюю гостиную и заперла за собой дверь.

— Полина! Полина! — кричал умирающий, бросившись за ней. — Люблю тебя, обожаю, хочу тебя!.. Проклянута, если не откроешь! Хочу умереть с тобой!

С исключительной силой, последней вспышкой жизни, он опрокинул дверь на землю и увидел, что его возлюбленная, полу-нагая, катается на диване. Тщетно Полина пыталась разорвать себе грудь, и, чтобы умереть скорее, она старалась задушить себя шалью.

— Если я умру, он будет жив! — говорила она, сиюсь затащить сделанный ею узел.

Волосы ее растрепались, плечи обнажились, платье было в беспорядке, и в этой борьбе со смертью, со слезами на глазах, с лицом воспламененным, скручиваясь в ужасном отчаянии, она явила Рафаэлю, опьяневшему от любви, тысячу красот, от которых возрос его бред; он бросился на нее с легкостью хищной птицы, разорвал шаль и хотел схватить ее в объятия.

Умирающий искал слов, чтобы выразить желание, пожирившее все его силы; но только сдавленный хрип нашелся у него в груди, каждое дыхание которой, прорываясь всё глубже, казалось, выходило из самой его внутренности. Наконец, не в силах больше испускать звуки, он укусил Полину в грудь. Явился Ионафан, весь в ужасе от криков, которые он услышал, и пытался оторвать молодую девушку от трупа, над которым она скорчилась в углу.

— Что вам нужно? — сказала она. — Он мой, я его убила, разве я этого не предсказывала!

ЭПИЛОГ

— А что же стало с Полиной?

— Ах, Полина? Так вот. Иной раз, тихим зимним вечером, сидели ли вы перед домашним камином, сладострастно отдавшись воспоминаниям о любви или о юности, созерцая, как огонь проводит полосы по дубовому полену? Здесь от горения обрисовываются красные клеточки шашечной доски, там отливает бархат, синие огоньки пробегают, скачут и играют на пылающем фоне. Приходит неведомый живописец, пользуясь этим пламенем, с неповторимым искусством чертит он среди огневых, лиловатых, пурпуровых оттенков лицо, сверхъестественное, неслыханной нежности, явление мгновенное, которое случай никогда больше не повторит, — то женщина с волосами, развеваемыми ветром, чей профиль дышит от радной страстью: огонь в огне. Она улыбается, она исчезает, вы ее больше не увидите. Прощай, цветок пламени! Прощай, начало несовершенное, нежданное, пришедшее слишком рано или слишком поздно для того, чтобы стать прекрасным алмазом!

— А Полина?

— Так вы не слушаете? Я начинаю снова. Место, место! Вот она появляется, она здесь, царица иллюзий, женщина, проходящая как поцелуй, женщина, живая как молния, как она опаляющая с неба, существо несозданное, вся дух, вся любовь! Она облеклась в какое-то пламенное тело, или ради нее пламя на мгновение одухотворилось! Линии ее форм так чисты, что для вас ясно ее небесное происхождение. Не блистает ли она как ангел? Не слышите ли вы воздушного шелеста ее крыльев? Легче птицы опускается она подле вас, и грозные очи ее чаруют; ее тихое, но могучее дыхание с магической силой влечет к себе ваши губы; она убегает и увлекает вас за собой, и вы не слышите больше земли. Вы хотите хоть единый раз вашей осязающей рукой провести по этому телу из снега, смять ее волосы, поцеловать искрящиеся глаза. Туман опьяняет вас, волшебная музыка очаровывает вас. Вы вздрагиваете всеми нервами, вы целиком —

желание, целиком — страдание. О, несказанное счастье! Губами коснулись вы этой женщины; но вдруг пробуждаетесь от жестокой боли. Ах! Ах! Вы ударились головой об угол кровати, вы поцеловали потемневшее красное дерево, холодную позолоту, или бронзу медного амура.

— Ну, а Полина?

— Еще? Так слушайте. Прекрасным утром, покидая Тур, молодой человек сел на пароход Город Анжер. В его руке была рука красивой женщины. Соединенные так, оба они долго любовались вместе, над широкими водами Луары, на белую фигуру, которая с таким искусством возникла в тумане, как плод воды и солнца, или как причуда облаков и воздуха. Поочередно ундина и сильфида, это текучее создание парило в воздухе как слово, которого тщетно ищешь, которое пробегает в памяти, и не схватишь его; она блуждала между островами, она качала головой сквозь высокие тополя, потом она стала гигантом, засияли тысячи складок ее платья или заблестел ореол, описанный солнцем вокруг ее лица; она парила над деревушками, над холмами, казалось, запрещая пароходу пройти мимо замка Юссэ. Вы сказали бы: это призрак Прекрасной Дамы хочет защищать свою страну от вторжения современности.

— Хорошо, я понимаю, это о Полине. А Федора?

— О! Федора, с ней вы встретитесь... Вчера она была в Буффоне, сегодня вечером будет в Опере, она повсюду. Она, если угодно, это — общество.

Перевел с французского

Б. Грифцов.

Париж. 1830 — 31.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТРАН.
Предисловие М. Шагинян	7
I. Талисман	13
II. Женщина без сердца	70
III. Агония	156
Эпилог	230





